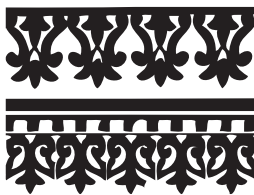




томская
классика





Николай Клюев

Избранное

Томск-2015

УДК 821.161.1-32 Николай Клюев
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К52

Николай Клюев. Избранное. Книжная серия «Томская классика» — Томск, 2015. — 348 с. Составитель и автор послесловия А. Казаркин.

Книжная серия «Томская классика»
выходит при поддержке губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

Томская писательская организация благодарит
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»
Андрея Андреевича Чуркина,
Леонида Викторовича Ющенко,
Владимира Николаевича Хорошилова,
Фёдора Николаевича Халецкого
за финансирование издательского проекта
«Томская классика»

Николай Алексеевич Клюев (1884—1937), один из самых оригинальных художников слова, лидер крестьянских поэтов, прошедший школу символизма, и глубокий знаток фольклора, — литератор трагической судьбы, жертва после-революционного террора. После долгих лет забвения он возвращается в звании классика.

ISBN 5-902350-01-8
ISBN 5-902350-10-7

© А. Казаркин: составление, 2015
© Томская писательская
организация: переиздание, 2015

Стихотворения

*Узнает изумлённый внук,
Что дед недаром клад копил
И короб песенный зарыл,
Когда дуванили дуван.
Но прошлое — как синь туман...*

* * *

Широко необъятное поле,
А за ним чуть синеющий лес.
Я опять на просторе, на воле
И люблюсь красою небес.

В этом царстве зелёном природы
Не увидишь рыданий и слёз;
Только в редкие дни непогоды
Ветер стонет меж сучьев берёз.

Не найдёшь здесь душой пресыщённой
Пьяных оргий, продажной любви,
Не увидишь толпы развращённой
С затаённым проклятьем в груди.

Здесь иной мир — покоя, отрады.
Нет суетных волнений души;
Жизнь тиха здесь, как пламя лампы,
Не колеблемой ветром в тиши.

1904

* * *

«Безответным рабом
Я в могилу сойду,
Под сосновым крестом
Свою долю найду».
Эту песню певал
Мой страдалец-отец
И по смерти завещал
Допевать мне конец.

Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землёй пролетит.
Не безгласным рабом,
Проклиная жизнь,
А свободным орлом
Допою я её.

1905

ПЛОВЕЦ

*Нужны цари из истинного Града,
Умеющие Башню различать.*

Данте

Посвящается А. Блоку

В страну пророков и царей
Я чёлн измученный направил
И на безбрежности морей
Творца Всевидящего славил.

Рукою благостной Господь
Развеял сумрак непогодный
И дал мне светлую милоть
И пояс, радуге подобный.

Молниевиден стал мой лик
И ясновидящ взор туманный,
Прозрев за далью материк
Земли, пловцу обетованной...

Но сон угас, как зори мая,
Надводным холодом дыша,
И с той поры о дивном крае
Томится падшая душа.

Ей снятся солнечные стены
Нерукотворных городов,
И в ледяном мерцаньи пены
Сиянье чудится венцов.

Как будто в сумраке далече,
За гранью стынувшей зари,
Пловцу отважному навстречу
Идут пророки и цари.

1908

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

1

Верить ли песням твоим —
Птицам морского рассвета, —
Будто туманом глухим
Водная зыбь не одета?

Вышли из хижины мы,
Смотрим в морозные дали:
Духи метели и тьмы
Взморье снегами сковали.

Тщетно тоскующий взгляд
Скал испытует граниты, —
В них лишь родимый фрегат
Грудью зияет разбитой.

Долго ль обветренный флаг
Будет трепаться так жалко?..
Есть у нас зимний очаг,
Матери мерная прялка.

В снежности синих ночей
Будем под прялки жужжанье
Слушать пролёт журавлей,
Моря глухое дыханье.

Радость незримо придёт,
И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжёт
Зорь незакатное пламя.

2

Я болен сладостным недугом —
Осенней, рдяною тоской.
Нерасторжимым полукругом
Сомкнулось небо надо мной.

Она везде, неуловима,
Трепещет, дышит и живёт:

В рыбачьей песне, в свитках дыма,
В жужжанье ос и блеске вод.

В шуршанье трав — её походка,
В нагорном эхе — всплески рук,
И казематная решётка —
Лишь символ смерти и разлук.

Её ли косы смоляные,
Как ветер, смех, мгновенный взгляд...
О, кто Ты: Женщина? Россия?
В годину чёрную собрат!

Поведай: тайное сомненье
Какою казнью искупить,
Чтоб на единое мгновенье
Твой лик прекрасный уловить?

1910

ПОЭТ

Наружный я и зол, и грешен,
Неосязаемый — пречист,
Мной мрак полуночи кромешен,
И от меня закат лучист.

Я смехом солнечным младенца
Пустыню жизни оживлю
И жажду душ из чаши сердца
Вином певучим утолю.

Так на рассвете вдохновенья
В слепом безумье грезил я,
И вот предтечею забвенья
Шипит могильная змея.

Рыдает колокол усопший
Над прахом выветренных плит,
И на кресте венки поблещки
Улыбкой солнце золотит.

1908 или 1909

ЗАВЕЩАНИЕ

В час зловещий, в час могильный
Об одном тебя молю —
Не смотри с тоской бессильной
На восходную зарю.

Но, верна словам завета,
Слёзы робости утри
И на проблески рассвета
Торжествующе смотри.

Не забудь за далью мрачной,
Средь волнующих забот,
Что взошёл я новобранно
По заре на эшафот.

Что, осилив злое горе,
Ложью жизни не дыша,
В заревое пала море
Огнекрылая душа.

1908

* * *

Горние звёзды как росы.
Кто там в небесном лугу
Точит лазурные косы,
Гнёт за дугою дугу?

Месяц, как лилия, нежен,
Тонок, как профиль лица.
Мир неоглядно безбрежен,
Высь глубока без конца.

Слава нетленному чуду,
Перлам, украсившим свод,
Скоро к голодному люду
Пламенный вестник придёт.

К зрячим нещадно суровый,
Милостив к падшим в ночи.
Горе кующим оковы,
Взявшим от царства ключи.

Будьте ж душой непреклонны
Вы, кому свет не погас,
Ткут золотые хитоны
Звёздные руки для вас.

1908

* * *

Ты всё келейнее и строже,
Непостижимее на взгляд...
О, кто же, милостивый боже,
В твоей печали виноват?

И косы пепельные глаже,
Чем раньше, стягиваешь ты,
Глухая мать сидит за пряжей
На поминальные холсты.

Она нездешнее постигла,
Как ты, молитвенно строга...
Блуждают солнечные иглы
По колесу от очага.

Зимы предчувствием объяты,
Рыдают сосны на бору;
Опять глухие казематы
Тебе приснятся ввечеру.

Лишь станут сумерки синее,
Туман окутает реку, —
Отец, с верёвкой на шее,
Придёт и сядет к камельку.

Жених с простреленною грудью,
Сестра, погибшая в бою, —
Все по вечернему безлюдью
Сойдутся в хижину твою.

А Смерть останется за дверью,
Как ночь, загадочно темна.
И до рассвета суеверью
Ты будешь слепо предана.

И не поверишь яви зрячей,
Когда торжественно в ночи
Тебе — за боль, за подвиг плача —
Вручатся вечности ключи.

1908

* * *

Я надена чёрную рубаху
И вослед за мутным фонарём
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.

Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрёму паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин,

Луговин поёмные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:

Узкая полосынька
Клинышком сошлась —
Не вовремя косынька
На две расплелась!

Развилась по спинушке,
Как льняная плеть, —
Не тебе, детинушке,
Девушкой владеть!

Деревца вилавого
Смаху не срубить —
Парня разудалого
Силой не любить!

Белая берёзонька
Клонится к дождю...
Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою!

Не прервут куранты крепостные
Песню-думу боем роковым...
Бред души! То заводи речные
С тростником поют береговым.

Сердца сон, кромешный, как могила!
Опустил свой парус рыбарь-день.
И слезятся жалостно и хило
Огоньки прибрежных деревень.

1908

* * *

Вы, белила-румяна мои,
Дорогие, новокупленные,

На меду-вине развоженные,
На бело лицо положенные,

Разгоритесь зарецветом на щеках,
Алым маком на девических устах,

Чтоб пригоже меня, краше не было,
Супротивницам-подруженькам назло.

Уж я выйду на широкую гульбу —
Про свою людям поведаю судьбу:

«Вы не зарьтесь на жар-полымя румян,
Не глядите на парчовый сарафан.

Скоро девушку в полон заполонит
Во пустыне тихозвонный, белый скит».

Скатной ягоде не скрыться при пути —
От любви девке сердца не спасти.

1909

* * *

Не оплакано бывшее,
За любовь не прощено.
Береги, дитя, земное,
Если неба не дано.

Об оставленном не плачь ты,
Впереди чудес земля,
Устоят под бурей мачты,
Грудь родного корабля.

Кормчий молод и напевен,
Что ему бурун, скала?
Изо всех морских царевен
Только ты ему мила —

За глаза из изумруда,
За кораллы на губах...
Как душа его о чуде,
Плачет море в берегах.

Свой корабль за мглу седую
Не устанет он стремить,
Чтобы сказку ветровую
Наяву осуществить.

1909

* * *

Костра степного взвивы,
Мерцанье высоты,
Бурьяны, даль и нивы —
Россия — это ты!
На мне бойца кольчуга,
И, подвигом горя,
В туман ночного луга
Несу светильник я.
Вас, люди, звери, гады,
Коснётся ль вещей крик:
Огонь моей лампы —
Бессмертия родник!
Всё глухо. Точит злаки
Степная саранча...
Передо мной во мраке
Колеблется свеча,
Роняет сны-картинки
На скатерчатый стол —
Минувшего поминки,
Грядущего символ.

1910

* * *

В златотканые дни сентября
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.
Ветер-сторож следы старины
Заметает листвою шелестящей.
Распахни узорчье сосны,
Промелькни за берёзовой чащей!
Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой...
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звёзд за решёткой.
Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!
В поминальные дни сентября
Вы сыновнюю тайну узнайте
И о той, что погибла любя,
Небесам и земле передайте.

1911

ПАХАРЬ

Вы на себя плетёте петли
И наостряете мечи.
Ищу вотще: меж вами нет ли
Рассвета алчущих в ночи?
На мне убогая сермяга,
Худая обувь на ногах,
Но сколько радости и блага
Сквозит в поруганных чертах.
В мой хлеб мешаете вы пепел,
Отраву горькую в вино,
Но я, как небо, мудро-светел
И неразгадан, как оно.
Вы обошли моря и сушу,
К созвездьям взвили корабли,
И лишь меня — мирскую душу,
Как жалкий сор, пренебрегли.
Работник родины свободной
На ниве жизни и труда,
Могу ль я вас, как тёрн негодный,
Не вырвать с корнем навсегда?

1911

* * *

Я был прекрасен и крылат
В богоотеческом жилище,
И райских кринов аромат
Мне был усладою и пищей.
Блаженной родины лишён
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
Молитвословящий пустыне.
Лишь одного недостаёт
Душе в подветренной юдоли, —
Чтоб нив просторы, лоно вод
Не оглашались стоном боли,
Чтоб не стремил на брата брат
Враждою вспыхнувшие взгляды,
И ширь полей, как вертоград,
Цвела для мира и отрады.
И чтоб похитить человек
Венец Создателя не тщился,
За то, отверженный навек,
Я песнокрылия лишился.

1911

* * *

Весна отсияла... Как сладостно больно,
Душой отрезвися, любовь схоронить.
Ковыльное поле дремуче-раздольно,
И рдяна заката огнистая нить.

И серые избы с часовней убогой,
Понурые ели, бурьяны и льны
Суровым безвестьем, печалию строгой —
«Навеки», «Прощаю», — как сердце, полны.

О мать-отчизна, какими тропами
Бездольному сыну укажешь пойти:
Разбойную ль удаль померить с врагами,
Иль робкой былинкой кивать при пути?

Былинка поблѣкнет, и удаль обманет,
Умчится, как буря, надежды губя, —
Пусть ветром нагорным душа моя станет
Пророческой сказкой баюкать тебя.

Баюкать безмолвье и бури лелеять,
В степи непогожей шуметь ковылѣм,
На спящие сѣла прохладю веять,
И в окна стучаться дозорным крылом.

1911

* * *

Тучи, как кони в ночном,
Месяц — грудок пастушонка.
Вся поросла ковылём
Божья святая сторонка.

Только и русла, что шлях —
Узкая, млечная стёжка.
Любо тебе во лесах,
В скрытой избе, у окошка.

Светит небесный грудок
Нашей пустынной любви.
Гоже ли девке платок
Супить по самые брови?

По сердцу ль парню в кудрях
Никнуть плакучей раkitой?
Плыть бы на звонких плотах
Вниз по Двине ледовитой!

Чуять, как сказочник-руль
Будит поддонные были...
Много б Устеш и Акуль
Кудри мои полонили.

Только не сбыться тому, —
Берег кувшинке несносен...
Глянь-ка, заря бахрому
Весит на звонницы сосен.

Прячется карлица-мгла
То за ивняк, то за кочку.
Тысяча лет протекла
В эту пустынную ночьку.

1912

ПОСАДСКАЯ

Не шуми, трава шелкова,
Бел призорник, зарецвет,
Вышиваю для милова
Левантиновый кисет.

Я по алу левантину
Расписной разброшу стѣг,
Вышью гору соколину,
Белокаменный острог.

Неба ясные упеки
Наведу на уголки,
Бирюзой занижу реки,
С Беломорьем — Соловки.

Оторочку на кисете
Литерами обовью:
«Люди» с титлою «Мыслете»
Объявилось: «Люблю».

Ах, недаром на посаде
Грамотеей я слыву...
Зелен ветер в палисаде
Всколыхнул призор-траву.

,Не клонись, вещунья-травка,
Без тебя вдомѣк уму.
Я — посадская чернавка,
Мил жирует в терему.

У милого — кунья шуба,
Соколиной масти конь,
У меня — сахарны губы,
Косы чалые в ладонь.

Не окупит мил любви
Четвертиной серебра...
Заревейте на обнове,
Расписные литера!

Дорог камень бирюзовый,
В стѣг мудрёный заплетись,
Ты, муравонька шелкова,
Самобранкой расстелись.

Не завихрился бы в поле
Подкопытный прах столбом,
Как проскачет конь гоголий
С зарнооким седоком.

1912

ПЛЯСЕЯ

Девка-запевало:

Я вечер, млада, во пиру была,
Хмелен мёд пила, сахар кушала,
Во хмелю, млада, похвалялася
Не житьём-бытьём — красной удалю.

Не сосна в бору дрожмя дрогоула,
Топором-пилой насмерть ранена,
Не из невода рыба шалая,
Извиваючись, в омут просится, —

Это я пошла в пляску походом:
Гости-бражники рты разинули,
Домовой завыл — крякнул под полом,
На запечье кот искры выбрызнул:

Вот я — Плесейя —
Вихорь, прах летучий,
Сарафан — синь-туман,
Косы — бор дремучий!
Пляс — гром,
Бурелом,
Лешева погудка,
Под косою —
Луговой
Цветик незабудка!

Парень-припевало:

Ой, пляска приворотная,
Любовь — краса залётная,
Чем вчуже вами маяться,
На плахе белолиповой
Срубить бы легче голову!

Не уголь жжёт мне пазуху,
Не воск — утроба топится.
О камень — тело жаркое,
На пляс — красу орлиную —
Разбойный ножик точится!

1912

* * *

Я обещаю вам сады...

К. Бальмонт

Вы обещали нам сады
В краю улыбчиво-далёком,
Где снедь — волшебные плоды,
Живым питающие соком.

Вещали вы: «Далёких зла,
Мы вас от горестей укроем,
И прокажённые тела
В ручьях целительных омоем».

На зов пошли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,
С лица — вампиры, по наречью —
В глухом ущелье водопад.

За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли, —
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.

За пришлецами напоследок
Идём неведомые Мы, —
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.

Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы — валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

1912

Я пришёл к тебе, сыр-дремучий бор,
Из-за быстрых рек, из-за дальних гор,
Чтоб у ног твоих, витязь-схимнице,
Подышать лесной древней силищей!

Ты прости, отец, сына нищего,
Песню-золото расточившего,
Не кудрявичем под гусярный звон
В зелен терем твой постучался он!

Богатырь душой, певник розмыслом,
Раздружился я с древним обликом,
Променял парчу на сермяжину,
Кудри-вихори на плешь-лысину.

Поклонюсь тебе, государь, душой —
Укажи тропу в зелен терем свой!
Там, двенадцать в ряд, братовья сидят —
Самоцветней зорь боевой наряд..

Расскажу я им, баснослов-баян,
Что в родных степях поредел туман,
Что сокрылися гады, филины,
Супротивники пересилены,

Что крещёный люд на завалинах —
Словно вешний цвет на прогалинах...
Ах, не в руку сон! Седовласый бор
Чуда-терема сторожит затвор:
На седых щеках слезовая смоль,
Меж бровей-трусщоб вещей думы боль.

1912

* * *

Галка-староверка ходит в чёрной ряске,
В лапотках с оборой, в сизой подпояске.
Голубь в однорядке, воробей в сибирке,
Курица ж в салопе — клёваные дырки.
Гусь в дублёной шубе, утке ж на задворках
Щеголять далось в дедовских опорках.

В галочки потёмки, взгромоздясь на жёрдки,
Спят, нахохлив зобы, курицы-молодки,
Лишь петух-кудесник, запахнувшись в саван,
Числит звёздный бисер, чует травный ладан.

На погосте свечкой теплятся гнилушки,
Доплетает леший лапоть на опушке,
Верезжит в осоке проклятый младенчик...
Петел ждёт, чтоб зорька нарядилась в венчик.

У зари нарядов тридевять укладок...
На ущербе ночи сон куриный сладок:
Спят монашка-галка, воробей-горошник...
Но едва забрезжит заревой кокошник —

Звездочёт крылатый трубит в рог волшебный:
«Пробудитесь, птицы, пробил час хвалебный,
И пернатым брашно, на бугор, на плёсо,
Рассыпает солнце золотое просо!».

1914 или 1915

* * *

За лебединой белой долей,
И по-лебяжьему светла,
От васильковых меж и поля
Ты в город каменный пришла.

Гуляешь ночью до рассвета,
А днём усталая сидишь
И перья смятого берета
Иглой неловкою чинишь.

Такая хрупко-испитая
Рассветным кажешься ты днём,
Непостижимая, святая, —
Небес отмечена перстом.

Наедине, при встрече краткой,
Давая совести отчёт,
Тебя вплетаю я украдкой
В видений пёстрый хоровод.

Панель... Толпа... И вот картина,
Необычайная чета:
В слезах лобзает Магдалина
Стопы пречистые Христа.

Как ты, раскаяньем объята,
Янтарь рассыпала волос, —
И взором любящего брата
Глядит на грешницу Христос.

1911

СТАРУХА

Сын обижает, невестка не слушает,
Хлебным куском да бездельем корит;
Чую — на кладбище колокол ухает,
Ладаном тянет от вешних раки.

Вышла я в поле, седая, горбатая, —
Нива без прясла, кругом сирота...
Свесила верба серёжки мохнатые,
Мёда душистей, белее холста.

Верба-невеста, молодка пригожая,
Зеленю-платом не засти зари!
Аль с алоцветной красою не схожа я —
Косы желтее, чем бус янтари.

Ал сарафан с расписной оторочкою,
Белый рукав и плясун-башмачок...
Хворым младенчиком, всхлипнув над кочкою,
Звон оголосил пролесок и лог.

Схожа я с мшистой, заплаканной ивою,
Мне ли крутиться в янтарь-бахрому...
Зой-невидимка узывней, дремливее,
Белые вербы в кадильном дыму.

1912

* * *

Прохожу ночной деревней,
В тёмных избах нет огня,
Явью сказочною, древней
Потянуло на меня.

В настоящем разуверюсь,
Стародавних полон сил,
Распахнул я лихо ферязь,
Шапку-соболь заломил.

Свистнул, хлопнул у дороги
В удаleckую ладонь,
И, как вихорь, звонконогий
Подо мною взвился конь.

Прискакал. Дубровным зверем
Конь храпит, копытом бьёт, —
Предо мной узорный терем,
Нет дозора у ворот.

Привязал гнедого к тыну.
Будет лихо али прок,
Пояс шёлковый закину
На точёный шеломок.

Скрипнет крашенная ставня...
«Что, разлапушка, — не спишь?
Неспроста повесу-парня
Знают Кама и Иртыш!

Наши хаживали струги
До Хвалынщины подчас, —
Не иссякнут у подруги
Бирюза и канифас...»

Прояснились избёнки,
Речка в утреннем дыму.
Гусли-морок, всхлипнув звонко,
Искрой канули во тьму.

Но душе, как хмель, струится
Вещих звуков серебро —
Отлетевшей жаро-птицы
Самоцветное перо.

1912

* * *

Недозрелую калинушку
Не ломают и не рвут, —
Недорощена детинушку
Во солдаты не берут.

Придорожну скатну ягоду
Топчут конник, пешеход, —
По двадцатой красной осени
Парня гонят во поход.

Раскудрявьтесь, кудри-вихори,
Брови — чёрные стрижи.
Ты, размыкушка-гармоника,
Про судьбину расскажи:

Во незнаемой сторонушке
Красовита ли гульба?
По страде свежит ли прохолодь,
В стужу греет ли изба?

Есть ли улица расхожая,
Девка-зорька, маков цвет,
Али ночка непогожая
Ко сударке застит след?

Ах, размыкушке-гармонике
Поиграть не долог срок!..
Придорожную калинушку
Топчут пеший и ездок.

1912

* * *

Запечных потёмок чурается день,
Они сторожат наговорный кистень, —
Зарыл его прадед-повольник в углу,
Приставя дозором монашенку-мглу.

И теплится сказка. Избе лет за двести,
А всё не дождётся от витязя вести.
Монашка прядёт паутины кудель,
Смежает зеницы небесная бель.

Изба засыпает. С узорной божницы
Взирают Микола и сёстры Седмицы,
На матице ожила карлиц гурьба,
Топтыгин с козой — избяная резьба.

Глядь, в горенке стол самобранкой накрыт,
На лавке разбойника дочка сидит,
На ней пятишовка, из гривен блесня,
Сама же понурей осеннего дня.

Ткачиха-метель напевает в окно:
«На саван повольнику ткися, рядно,
Лежит он в логу, окровавлен чекмень,
Не выведал ворог про чудо-кистень!».

Колотится сердце...Лесная изба
Глядится в столетье, темна, как судьба,
И пестун былин, разоспавшийся дед,
Спросонок бормочет про тутошний свет.

1912

ОСИНУШКА

Ах, кому судьбинушка
Ворожит беду:
Горькая осинушка
Ронит лист-руду.

Полымем разубрана,
Вся красным-красна,
Может быть, подрублена
Топором она.

Может, червоточина
Гложет сердце ей,
Чёрная проточина
Въелась меж корней.

Облака по просини
Крутятся в кольцо,
От судины-осени
Вянет деревцо.

Ой, заря-осинушка,
Златоцветный лёт,
У тебя детинушка
Разума займёт!

Чтобы сны стожарные
В явь оборотить,
Думы — листья зарные —
По ветру пустить.

1913

* * *

Мне сказали, что ты умерла
Заодно с золотым листопадом
И теперь, лучезарно светла,
Правишь горним, неведомым градом.

Я нездешним забыться готов,
Ты всегда баснословной казалась
И багрянцем осенних листов
Не однажды со мной любовалась.

Говорят, что не стало тебя,
Но любви иссякаемы ль струи:
Разве зори — не ласка твоя,
И лучи — не твои поцелуи?

1913

* * *

На припёке цветик алый
Обезлиствел и поблэк —
Свет-детина разудалый
От зазнобушки далёк.

Он взвился бы буйной птицей,
Цепи-вороги крепки,
Из темницы до светлицы
Перевалы далеки.

Призапала к милой стёжка,
Буреломом залегла.
За окованным окошком —
Колокольная игла.

Всё дозоры да запоры,
Каземат — глухой капкан...
Где вы, косы — тёмны боры,
Заряница — сарафан?

В белоструганой светёлке
Кто призарился на вас,
На фату хрущата шёлка,
На узорный канифас?

Заручился кто от любви
Скатным клятвенным кольцом:
Волос — зарь, малина — губы,
В цвет черёмухи лицом?..

Захолонула утроба,
Кровь, как цепи, тяжела...
Помяни, душа-зазноба,
Друга — сизого орла!

Без ножа ему неволя
Кольца срезала кудрей,
Чтоб раздольней стало поле,
Песня-вихорь удалей.

Чтоб напева ветророва
Не забыл крещёный край...
Не шуми ты, мать-дуброва,
Думу думать не мешай!

1913

* * *

Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая лесная!
Привет вам, братья-зеленя,
Потёмки дупел, синь живая!

Я не с железом к вам иду,
Дружась лишь с посохом да рясой,
Но чтоб припасть в слезах, в бреду
К ногам берёзы седовласой,

Чтоб помолиться лику ив,
Послушать пташек-клирошанок
И, брашен солнечных вкусив,
Набрать младенческих волвянок.

На мху, как в зыбке, задремать
Под «баю-бай» осиплой ели...
О, пуща-матерь, тучки прядь,
Туман пушистее кудели,

Как сладко брагою лучей
На вашей вечере упиться,
Прозрев, что веткою в ручей
Душа родимая глядится!

1915

* * *

Не верьте, что бесы крылаты, —
У них, как у рыбы, пузырь,
Им любы глухие закаты
И моря полночная ширь.

Они за ладью акулой,
Прожорливым спрутом плывут;
Утёсов подводные скулы —
Гееннскому духу приют.

Есть бесы молчанья, улыбки,
Дверного засова, и сна...
В гробу и в младенческой зыбке
Бурлит огневая волна.

В кукушке и в песенке пряхи
Ныряют стада бесенят.
Старушки, костлявые страхи —
Порука, что близится ад.

О, горы, на нас упадите,
Ущелья, окутайте нас!
На тле, на воловьем копыте
Начертан громовый рассказ.

За брашном, за нищенским кусом
Рогатые тени встают..
Кому же воскрылья с убрусом
Закатные ангелы ткнут?

1916

* * *

Обозвал тишину глухоманью,
Надругался над белым «молчи»,
У креста простодушною данью
Не поставил сладимой свечи.

В хвойный ладан дохнул папиросой
И плевком незабудку обжѐг.
Зарябило слезинками плѐсо,
Сединою заиндевел мох.

Светлый отрок — лесное молчанье,
Помолясь на заплаканный крест,
Закатилось в глухое скитанье
До святых, незапятнанных мест.

Заломила черѐмуха руки,
К норке путает след горностаи...
Сын железа и каменной скуки
Побирает берестяный рай.

1914

* * *

Я ко любушке-голубушке ходил,
Голубую однорядку износил,
Шубу беличью повыволочил,
Коробейку мелких денег издержал,
Разлюбезной воркованьем докучал:
Я куплю тебе гостинец — скатну нить,
Буду баско оболоченной водить.
Разлюби ты дёгтегона-лесника,
Лаптевяза да Мирона-резчика,
Не подмигивай торговому в ряду,
Не обранивай платочка на ходу,
Протопопу белой ручкой не маши,
Не заглядывай в рыбачьи шалаши,
У калачника не мешкай в куреню,
Не давай овса гонецкому коню,
На гонца крутую бровь не наводи,
Чтобы сердце не кровавилось в груди!
У гонца не застоялая душа, —
В торбе ложка и походная лапша.
Он тебя за белояровый овёс
Доведёт до неуёмных горьких слёз,
Что ль до зыбки — непотребного лубка,
До отцовского глухого кулака,
Будет зыбочка поскрипывать,
Красна девушка повздыхивать!

1914

* * *

На селе четыре жителя,
Нет у девки уважителя, —
Как у Власа-то савраса борода,
У Никиты нос подбитый завсегда,
У Савелья от безделья чернота —
Не выводится сигарка изо рта,
У Ипата кудревата голова,
Да пронесена недобрая молва:

Будто ночью Ипатушка
Загубил свою разлапушку —
Вышибал ей печень чёрную
За повадку непокорную,
За орехи, за изюмные стручки,
За ручные мелкотравчатые платки,
На платочках красны литеры —
Подарил купец из Питера...

Кабы я Ипату любушкой была,
Не такое бы бесчестье навела,
Накурила бы вина позеленей,
Напекла бы колобов погорячей,
Угостила б супостата-миляша,
Чтобы вышла из постылого душа!..

Ах, тальянка медноборчатая,
Голосистая, узорчатая,
Выдай погрецы детинушке —
Ласкослову сиротинушке,
Чтобы девку не сушила сухота,
Без жалобного не сгибла б красота,
Не палила б мои кречетьи глаза
Неуёмная капучая слеза!

1914

* * *

Просинь — море, туча — кит,
А туман — лодейный парус.
За окнищем моросит
Не то сыр, не то стеклярус.

Двор — свиное крыло,
Весь в глазастом узорочье.
Судомойня — не село,
Брань — не щёкоты сорочьи.

В городище, как во сне,
Люди — тля, а избы — горы.
Примерещилися мне
Беломорские просторы.

Гомон чаек, плеск весла,
Вольный промысел ловецкий:
На потух заря пошла,
Чуден остров Соловецкий.

Водяник прядёт кудель,
Что волна, то пасма пряжи...
На извозчичью артель
Я готовлю харч говяжий.

Повернёт небесный кит
Хвост к теплу и водополью.
Я — как невод, что лежит
На мели, изъеден солью.

Не придёт за ним помор —
Пододонный полоняник...
Правят сумерки дозор,
Как ночлег — бездомный странник.

1914

* * *

Луговые потёмки, омежки, стога,
На пригорке ракета — сохачьи рога,
Захлебнулась тальянка горячею мглой,
Голосит, как в поминок семья по родной:
«Та-ля-ля, та-ля-ля, ти-ли-ли...
Сенокосные зори прошли,
Август-дед — бородача снопом —
Подарил гармониста ружьём.
Эхма, старый, не грызла б печаль,
Да родимой сторонушки жаль.
Чует медное сердце моё,
Что погубит парнюгу ружьё,
Что от пули ему умереть,
Мне ж поминные приплачки петь!..».
Луговые потёмки — как плат;
Будет с парня пригожий солдат,
Только стог-бородач да поля
Не услышат ночного «та-ля»...
Медным плачем будя тишину,
Насулила тальянка войну.

1914

* * *

Я люблю цыганские кочевья,
Свист костра и ржанье жеребят,
Под луной, как призраки, деревья,
И ночной железный листопад.

Я люблю кладбищенской сторожки
Нежилой, пугающий уют,
Дальний звон и с крестиками ложки,
В чьей резьбе заклатья живут.

Зорькой тишь, гармонику в потёмки,
Дым овина, в росах коноплю...
Подивятся дальние потомки
Моему безбрежному «люблю».

Что до них? Улыбчивые очи
Ловят сказки теми и лучей...
Я люблю остожья, грай сорочий,
Близь и дали, рощу и ручей.

1914

РОЖЕСТВО ИЗБЫ

От кудрявых стружек тянет смолю,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.

Тёпел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудянкой выпестрен конёк.

По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сонь мерещились — легки.

Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа — как письмена:
Запоёт резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.

И когда очёсками кудели
Над избой взлохматится дымок —
Сказ пойдёт о красном древоделе
По лесам, на запад и восток.

1915

* * *

Льянокудых тучек бег —
Перед вёдреным закатом.
Детским телом пахнет снег,
Затенённый пнём горбатым.

Луч — крестильный образок —
На валежину повешен,
И ребячий голосок
За кустами безутешен.

Под берёзой зыбки скрип,
Ельник в маревных пелёнках..
Кто родился иль погиб
В льянокудых сутемёнках?

И кому, склонясь, «козу»
Строит зорька-повитуха?..
«Поспрошай куму-лозу», —
Шепчет пихта, как старуха.

И лоза, рядясь в кудель,
Тайну светлую открыла:
«На заранке я апрель
В снежной лужице крестила».

1916

ИЗБЯНЫЕ ПЕСНИ

Памяти матери

1

Четыре вдовицы к усопшей пришли...
(Крича, бороздили лазурь журавли,
Сентябрь-скопидом в котловин сундуки
С сынком-листодёром ссыпал медяки.)
Четыре вдовы в поминальных платках:
Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной в руках.
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебёдка, бела и тепла,
Как допрежь, сытовые хлебы пекла.
Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец, на погост,
Хрущатой рядниной покрыли скамью,
На одр положили родитель мою.
Как ель под пилою, вздохнула изба,
В углу зашепталася теней гурьба,
В хлевушке замукал сохатый телок,
И вздулся, как парус, на грядке платок...
Дохнуло молчанье... Одни журавли,
Как витязь — победу, трубили вдали:
«Мы матери душу несём за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселём, словно кипень, белы.
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас,
Креститель-Иван с енды расписной
Их поит живой иорданской водой!...».
Зарделось оконце... Закат-золотарь
Шасть в избу незванный: принёс-де стихарь —
Умершей обнову — за песни в бору,
За думы в рассветки, за сказ ввечеру,
А вынос блюсти я с собой приведу
Сутёмки, зарянку и внучку-звезду,
Скупцу ж листодёру чрез мокреть и гать
Велю золотые ширинки постлать.

2

Лежанка ждёт кота, пузан-горшок хозяйку —
Объявятся они, как в солнечную старь,
Мурлыке будет блин — а печку-многознайку

Насытят щаный пар и гречневая гарь.
В окне забрезжит луч — волхвующая сказка,
И вербой расцветёт ласкающий уют;
Запечных бесенят хихиканье и пляска,
Как в заморозки ключ, испуганно замрут.
Увы, напрасен сон. Кудахчет тщетно рябка,
Что крошек нет в зобу, что сумрак так уныл —
Хозяйка в небесах, с мурлыки сшита шапка,
Чтоб дедовских седин буран не леденил.
Лишь в предрассветный час

лесной, снотворной влагой
На избяную тварь нисходит угомон,
Как будто нет Судьбы, и про блины с котягой,
Блюда печной дозор, шушукает заслон.

3

Осиротела печь, заплаканный горшок
С таганом шепчутся, что умерла хозяйка,
А за окном чета доверчивых сорок
Стрекочет: «Близок май,
про то, дружок, узнай-ка!
Узнай, что снегири в лесу справляют свадьбу,
У дятла-кузнеца облез от стука зоб,
Что, вверивши жуку подземную усадьбу,
На солнце вылез крот — угрюмый рудокоп,
Что тянут журавли, что проболталась галка
Воришке-воробью про первое яйцо...».
Изжаждалась бадья; вихрастая мочалка
Тоскует, что давно не моется крыльцо.
Теперь бы плеск воды с весёлою уборкой,
В окне кудель лучей и сказка без конца...
За печкой домовой твердит скороговоркой
О том, как тих погост для нового жильца,
Как шепчутся кресты о вечном, безымянном,
Чем сумерк паперти баюкает мечту.
Насупилась изба, и оком оловянным
Уставилось окно в капель и темноту.

4

«Умерла мама» — два шелестных слова.
Умер подойник с чумазым горшком,
Плачется кот, и понура корова,
Смерть постигая звериным умом.
Кто она? Колокол в сумерках пегих,
Дух живодёрни, ведун-коновал,
Иль на грохочущих пенных телегах

К берегу жизни примчавшийся шквал?
Знает лишь маковка ветхой церквушки, —
В ней поселилась хозяйки душа...
Данью поминною — рябка в клетушке
Прочит яичко, соломой шурша.
В пёстрой укладке повойник и бусы
Свадьбою грезят: «Годов пятьдесят
Бог насчитал, как жених черноусый
Выменял нас — молодой в наряд».
Время, как шашель, в углу и за печкой
Дерево жизни буравит, сосёт...
В звёзды конёк и в потёмки крылечко
Смотрят и шепчут: «Вернётся... придёт...».
Плачет каплями вечер соловый;
Крот в подземелье и дятел в дупле...
С рябкиной дремою ангел пуховый
Сядет за прялку в кауровой мгле.
«Мама в раю, — запоёт веретёнце, —
Нянюшкой светлой младенцу Христу...»
Как бы в стихи, золотые, как солнце,
Впрямь волхованье и песенку ту?
Строки и буквы — лесные коряги,
Ими не вышить желанный узор...
Есть, как в могилах, душа у бумаги —
Алчущим перьям глубинный укор.

5

Шесток для кота — что амбар для попа,
К нему не заглохнет кошачья тропа:
Зола как перина — лежи, почивай, —
Приснятся снетки, просяной каравай.
У матери-печи одно на уме:
Теплынь убережь да всхрапнуть в полутьме;
Недаром в глухой, свечеревшей избе,
Как парусу в ведро, дремотно тебе.
Ой, вороны-сны, у невесты моей
Не выклевывать вам беспотёмных очей!
Летите к мурлыке, на тёплый шесток,
Куда не заглянет прожорливый рок,
Где странники-годы почили золой,
И бесперечь хнычет горбун-домовой;
Ужели плакида, запечный жилец,
Почуял разлуку и сказки конец?
Кота ж, лежебока, будите скорей,
Чтоб был настороже у чутких дверей,

Мяукал бы злобно и хвост распушил,
На смерть трясогузую когти острил!

6

Весь день поучатися правде Твоей,
Как вешнюю озимь, ждать светлых гостей,
В раю избяном и в затишье гумна
Поплакать медово, что будет «она».
Задремлетя деду, лучина замрёт —
Бесплотная гостья в светёлку войдёт,
Поклонится Спасу, погладит внучат,
Как травка лучу, улыбнётся на плат:
Висит, дескать, сырый, хозяйке взамен
Повыкован венчик из облачных пен:
Очелье — алмаз, по бокам — изумруд,
Трёх отроков пещных и ангелов труд.
Петух кукарекнет, забрезжит светец,
В дверях засияет Медостов венец,
Пречудный святитель войдёт с посошком,
В пастушьих лапотцах, повитый лучом.
За ним, умеряючи крыл паруса,
Предстанет Иван — грозовая краса:
Он с чашей крестильной, и голубь над ним.
Всю ночь поучаюсь я тайнам Твоим.
Заутро у бурой полнее удой,
У рябки яичко, и весел гнедой,
А там, где святые рососою прошли,
С курлыканием звонким снуют журавли:
Чтоб сизые крылья и клюв укрепить,
Им надо росы благодатной испить.

7

Хорошо ввечеру при лампадке
Погрустить и поплакать втишок,
Из резной низколобой укладки
Недовязанный вынуть чулок.
Ненаеую-гостем за кружкой
Усадить на лежанку кота
И следить, как лучи над опушкой
Догорают виденьем креста,
Как бредёт позад дремлющих гумен,
Оступаясь, лохмотница-мгла...
Всё по-старому: дед — как игумен,
Спит лохань, и притихла метла.
Лишь чулок — как на отмели верши,
И с котом раздружился клубок.

Есть примета: где милый умерший,
Там пустует кольцо иль чулок,
Там божничные сумерки строже.
Дед безмолвен, провидя судьбу,
Глубже взор и морщины... О боже —
Завтра год, как родная в гробу!

8

Заблудилось солнышко в корбах темнохвойных,
Износило лапчатый золотой стихарь:
Не бежит ли красное от людей разбойных,
Не от злых ли кроется в сутемень да в марь?
Али корба хвойная с бубенцами шишек,
С рушниками-зорями — просини милей,
Красики с волвянками слаще звёздных пышек
И громов размычливей гомон журавлей?
Эва, на валежине, словно угли в жарнике,
Половеет лапчатый золотой стихарь...
Потянули за море витлюки-комарники,
Нижет перелесица бляшки да янтарь.
Сядь, моя жадобная, в сарафане сборчатом,
В камчатом накольнике, за послушный лён, —
Постучится солнышко под оконцем створчатым,
Шлёт-де вестку матушка с тутошних сторон.
Мы в ответ: «Радёхоньки говору то-светному,
Ходоку от маминой праведной души,
Здынься по крылечику к жарнику приветному,
От росы да мокрети лапти обсуши!».
Полыхнувши золотом,

прянет гость в предызбицу,
Краснобайной сказкою пряху улестит...
Как игумен в куколе, вечер, взяв кадьницу,
Складню роц финифтяных ладаном кадит.
В домовище матушка... Пасмурной округою
Водит мглу незрячую поводырка-жуть,
И в рогожном кузове, словно поп за ругою,
В сторону тусветную солнце правит путь.

9

От сутёмок до звёзд и от звёзд до зари
Бель берёсты, зыбь хвой и смолы янтари,
Переключка гагар, вод дремучая дремь,
И в избе, как в дупле, рудо-пегая темь,
От ловушек и шкур лисий таежный дух,
За оконцем туман, словно гагачий пух,
Журавлиный полёт, ропот ливня вдали,

Над поморьем лесов облаков корабли,
Над избою кресты благосенных вершин...
Спят в земле дед и мать, я в потёмках один.
Чую, сеть на стене, самопрялка в углу,
Как совята с гнезда, загляделись во мглу.
Сиротеют в укладе шушун и платок,
И на отмели правит поминки челнок,
Ель гнусавит псалом: «Яко воск от огня...».
Далеко до лесного железного дня,
Когда бор, как кольчужник, доспехом гремит —
Королевну-зарю полонить норовит.

10

Бродит темень по избе,
Спотыкается спросонок,
Балалайкою в трубе
Заливается бесёнок:
«Трынь, да брынь, да тере-рень...».
Чу! Заутренние звоны...
Богородицына тень,
Просияв, сошла с иконы.
В дымовище сгинул бес,
Печь, как старица, вздохнула,
За окном бугор и лес
Зорька в сыту окунула.
Там, минуючи зарю,
Ширь безвестных плоскогорий,
Одолеть судьбу-змею
Скачет пламенный Егорий.
На задворки вышел Влас
С вербой, в венчике сусальном.
Золотой, воскресный час,
Просиявший в безначальном.

11

Зима изгрызла бок у стога,
Вспорола скирды, но вдомёк
Бурёнке пегая дорога
И грай нахохленных сорок.
Сороки хохлятся — к капели,
Дорога пега — быть теплу.
Как лещ наживку, ловят ели
Луча янтарную иглу.
И луч бежит в переполохе,
Ныряет в хвои, в зыбь ветвей...
По вечерам коровьи вздохи

Снотворней бабкиных речей:
«К весне пошло, на речке глыбко,
Бурёнка чует водополь...».
Изба дремлива, словно зыбка,
Где смолкли горести и боль.
Лишь в поставце, как скряга — злато,
Теленье числя и удой,
Подойник с крынкою щербатой
Тревожат сумрак избяной.

12

В селе Красный Волок пригожий народ:
Лебёдушки девки, а парни — как мёд,
В моленных рубахах, в белёных портах,
С малиновой речью на крепких губах;
Старухи в долгушках, а деды — стога,
Их рассказы внукам милей пирога:
Вспушатся усищи, и киноварь слов
Выводит узоры пестрей теремов.
Моленна в селе — семискатный навес:
До горнего неба семь нижних небес,
Ступенчаты крыльца, что час, то ступень,
Всех двадцать четыре — заутренний день.
Рундук запорожный — пречудный Фавор,
Где плоть убелится, как пена озёр.
Бревенчатый короб — утроба кита,
Где спасся Иона двуперстьем креста.
Озёрная схима и куколь лесов
Хоронят село от людских голосов.
По Пятничным зорям на хартии вод
Всевышние притчи читает народ:
«Сладчайшего гостя готовьтесь принять!
Грядёт он в ночи, яко скимен и тать;
Будь парнем женатый, а парень — как дед...».
Полощется в озере маковый свет,
В пеганые глубы уходит столбом
До сердца земного, где праотцов дом.
Там, в саванах бледных, соборы отцов
Ждут радужных чаек с родных берегов:
Летят они с вестью, судьбы бирючи,
Что попрана Бездна и Ада ключи.
В ржаном золотистом сиянье
Коврига лежит на столе,
Ножу лепеча: «Я готова
Себя на закланье принести».
Кусок у малютки в подоле —

В затоне рыбачий карбас:
Поломана мачта, пучиной
Изгрызены днище и руль, —
Но светлая радость спасенья,
Прибрежная тишь после бурь
Зареют в ребяческих глазках,
Как ведренный, синий июль.

13

Коврига свежа и духмяна,
Как росная пожня в лесу,
Пушист у кормилицы мякиш,
И бел, как берёста, испод.
Она — избяное светило,
Лучистее детских кудрей,
В чулан загляни ненароком —
В лицо тебе солнцем пахнёт.
И в час, когда сумерки вяжут,
Как бабка, косматый чулок,
И хочется маленькой Маше
Сытового хлебца поесть —
В ржаном золотистом сиянье
Коврига лежит на столе,
Ножу лепеча: «Я готова
Себя на закланье принести».
Кусок у малютки в подоле —
В затоне рыбачий карбас:
Поломана мачта, пучиной
Игрызены днище и руль, —
Но светлая радость спасенья,
Прибрежная тишь после бурь
Зареют в ребяческих глазках,
Как ведренный, синий июль.

14

Вешние капли, солнпоёк и хмара,
На соловом плёсе первая гагара,
Дух хвои, берёсты, проглянувший щербень,
Темью сонь-липуша, рассказы да гребень.
Тихий, мерный ужин, для ночлега лавка,
За оконцем месяц — божья камилавка,
Сон сладимей сбитня, петухи спросонок,
В зыбке снегирёнком пискнувший ребёнок,
Над избой сутёмки — дедовская шайка,
И в углу божничном с лестовкою бабка,
От печного дыма ладан пущ сладимый,

Молвь отшельниц-елей: «Иже херувимы!..».
Вновь капелей бусы, солнопёка складень,
Дум — гагар пролётных — не исчислить за день.
Пни — лесные деды, в дуплах гуд осиный,
И от лыж пролужья на тропе лосиной.

15

Ворон грает к теплу, а сорока — к гостям,
Ель на полдень шумит — к звероловным вестям.
Если полоз скрипит, конь ушами прядёт —
Будет в торге урон и в кисе недочёт.
Если прыскает кот и зачесется нос —
У зазнобы рукав полиняет от слёз.
А над рябью озёр прокричит дребезда —
Полонит рыбака душегубка-вода.
Дятел угол долбит — загорится изба,
Доведёт до разбоя детину гульба.
Если девичий лапоть ветшает с пяты —
Не доесть и блина, как наедут сваты.
При запалке ружья в уши кинется шум —
Не выглаживай лыж, будешь лешему кум.
Семь примет к мертвецу, но про них не теперь —
У лесного жилья зааминена дверь,
Под порогом зарыт «богородицын сон»,
От беды-худобы нас помилует он.

1914—1915

* * *

О ели, родимые ели,
Раздумий и ран колыбели,
Пир брачный и памятник мой.
На вашей коре отпечатки,
От губ моих жизней зачатки,
Стихов недомысленный рой.

Вы грели меня и питали
И клятвой великой связали —
Любить Тишину-Богомать.
Я верен лесному обету,
Баюкаю сердце: не сетуй,
Что жизнь — как болотная гать,

Что умерли юность и мама,
И ветер расхлябанной рамой,
Как гроб забивают, стучит,
Что скуден заплаканный ужин,
И стих мой под бурей простужен,
Как осенью листья раки, —

В нём сизо-багряные жилки
Запёкшейся крови — подпилки
И критик её не сотрут.
Пусть давят томов Гималаи, —
Ракиты рыдают о рае,
Где вечен листвы изумруд.

Пусть стол мой и лавка-кривуша —
Умершего дерева души —
Не видят ни гостя, ни чаш, —
Об Индии в русской светёлке,
Где все разноверья и толки,
Поёт, как струна, карандаш.

Там юных вселенных зачатки —
Лобзаний моих отпечатки —
Предстанут как сонмы богов.
И ели, пресвитеры-ели,
В волхвующей хвойной купели
Омоют громовых сынов.

1916

БЕЛАЯ ИНДИЯ

На дне всех миров, океанов и гор
Хоронится сказка — алмазный узор,
Земли талисман, что всевышний носил
И в Глуби Глубин, наклонясь, обронил.
За ладанкой павий летал Гавриил
И тьмы громокрылых взыскующих сил, —
Обшарили адский крошечный сундук
И в Смерть открывали убийственный люк,
У Времени-скряги искали в часах,
У Месяца в ухе, у Солнца в зубах;
Увы! Схоронился «в нигде» талисман,
Как Господа сердце — немолчный таран!..

Земля — Савафовых брашен кроха,
Где люди уютятся средь терний и мха,
Нашла потеряшку и в косу вплела,
И стало Безвестное — Жизнью Села.

Земная морщина — пригорков мозоли,
За потную пашней — дублёное поле,
За полем лесок, словно зубья гребней, —
Запуталась тучка меж рябых ветвей,
И небо — Микулов бороздчатый глаз
Смежает ресницы — потёмочный сказ;
Реснитчатый пух на деревню ползёт —
Загадок и тайн золотой приворот.
Повыйди в потёмки из хмарой избы —
И вступишь в поморье Господней губы,
Увидишь Предвечность — коровой она
Уснула в пучине, не ведая дна.
Там ветер молочный поёт петухом,
И Жалость мирская маячит конём,
У Жалости в гриве овечий ночлег,
Куриная пристань и отдых телег:
Сократ и Будда, Зороастр и Толстой,
Как жилы, стучатся в тележий покой.
Впусти их раздумьем — и въявь обретёшь
Ковригу Вселенной и Месячный Нож —
Нарушай ломтей, и Мирская душа
Из мякиша выйдет, крылами шурша.
Таинственный ужин разделите вы,
Лишь Смерти не кличьте — печальной вдовы..

В потёмки деревня — Христова брада,
Я в ней заблудиться готов навсегда,

В живом чернолесье костёр разложить
И дикое сердце, как угря, варить,
Плясать на углях, и себя по кускам
Зарыть под золою в поминок векам,
Чтоб Ястребу-духу досталась мета —
Как перепел алый, Христовы уста!
В них тридцать три зуба — жемчужных горы,
Язык—вертоград, железа же — юры,
Где слюнные лоси, с крестом меж рогов,
Пасутся по взгорьям иссопных лугов...

Ночная деревня — преддверие Уст...
Горбатый овин и ощеренный куст
Насельников чудных, как струны, полны...
Свершатся ль, Господь, огнепальные сны!
И морем сермяжным к печным берегам
Грома-корабли приведёт ли Адам,
Чтоб лапоть мозольный, чумазый горшок
Востеплили очи — живой огонёк,
И бабка Маланья, всем ранам сестра,
Повышла бы в поле — ясней серебра —
Навстречу Престолам, Началам, Властям,
Взывающим солнцам и трубным мирам!..

О, ладанка божья — вселенский рычаг,
Тебя повернёт не железный Варяг,
Не сводня-перо, не сова-звездочёт —
Пяту золотую повыглядел кот,
Колдунья-печурка, на матице сук!..
К ушам прикормить бы зиждительный звук,
Что вяжет, как нитью, слезинку с луной,
И скрип колыбели — с пучиной морской,
Возжечь бы ладони — две павьих звезды,
И Звук зачерпнуть, как пригоршню воды,
В трепещущий гром, как в стерляжий садок,
Уста окунуть, и причастьем молок
Насытиться всласть, миллионы веков
Губы не срывая от звёздных ковшов!..

На дне всех миров, океанов и гор
Цветёт, как душа, алмазный бор, —
Дорога к нему с Соловков на Тибет,
Чрез сердце избы, где кончается свет,
Где бабкина пряжа — пришельцу веха:
Нырни в веретёнце, и нитка — лиха
Тебя поведёт в Золотую Орду,

* * *

Где рай финифтяный, и Сирин
Поёт на ветке расписной,
Где Пушкин говором просвирен
Питает дух высокий свой,

Где Мей яровчатый, Никитин,
Велесов первенец Кольцов,
Туда бреду я, ликом скрытен,
Под ношей варварских стихов.

Когда сложу свою вязанку
Сосновых слов, медвежьих дум?
«К костру готовьтесь спозаранку», —
Гремел мой прадед Аввакум.

Сгореть в метельном Пустозерске
Или в чернилах утонуть?
Словопоклонник богомерзкий,
Не знаю я, где орлий путь.

Поёт мне Сирин издалече:
«Люби — и звёзды над тобой
Заполыхают красным вечем,
Где сердце — колокол живой».

Набат сердечный чует Пушкин —
Предвечных сладостей поэт...
Как яблоновые макушки,
Благоухает звукоцвет.

Он в белой букве, в алой строчке,
В фазаньи пёстрой запятой.
Моя душа, как мох на кочке,
Пригрета пушкинской весной.

И под лучом кудряво-смуглым
Дремуча глубь торфяников.
В мозгу же, росчерком округлым,
Станицы тянутся стихов.

1916

* * *

В избе гармоника: «Накинув плащ, с гитарой...».
А ставень дедовский провидяще грустит:
Где Сирин — красный гость,
Вольга с Мемелфой старой,

Божниц рублёвский сон, и бархат ал и рыт?
«Откуля, доброхот?» — «С Владимира-Залеска...»
— «Сгорим, о братия, телес не посрашим!..»
Махорочная гарь, из ситца занавеска,

И оспа полуслов: «Валета скозырим».
Под матицей резной (искусством позабытым)
Валеты с дамами танцуют «вальц-плезир»,
А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым,

Щипля сусальный пух и сетуя на мир.
Кропилом дождевым смывается со ставней
Узорчатая быль про ярого Вольгу,
Лишь изредка в зрачках у вольницы недавней
Пропляшет царь морской и сгинет на бегу.

1918

ЛЕНИН

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казённый.
Народный испод шевеля,
Несётся глагол краснозвонный.

Нам красная молвь по уму:
В ней пламя, цветенье сафьяна, —
То Чёрной Неволи басму
Попрала стопа Иоанна.

Борис, златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.

Есть в Смольном потёмки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.

«Куда схоронить мертвеца?» —
Толкует удалых ватага...
Позёмкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.

Спросить бы у туки, у звёзд,
У зорь, что румянят ракиты...
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережёт
В глухих преисподних могилах...
О чём же толкует народ
В напевах татарско-унылых?

1918

* * *

Меня Распутиным назвали:
В стихе расстригой, без вины,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны,
Что души-печи и телеги
В моих колдующих зрачках,
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженческих стихах,
Что васильковая поддѣвка
Меж коленкоровых мимоз,
Я пугачѣвскою верѣвкой
Перевязал искусства воз.
Картавит дружба: «Святотатец».
Приятство: «Хам и конокрад»,
Но мастера небесных матиц
Воздвигли вещему Царьград.
В тысячестолпную Софию
Стекутся зверь и человек.
Я алконостную Россию
Запрятал в дедовский сусек.
У Алконоста перья — строчки,
Пушинки — звѣздные слова;
Умрут Кольцовы-одиночки,
Но не лесов и рек молва.
Потомок бога Китовраса,
Сермяжных Пудов и Вавил,
Угнал с Олимпа я Пегаса
И в конокрады угодил.
Утихомирился Пегаска,
Узнав полѣты в хомуте...
По Заонежью бродят сказки,
Что я женат на Красоте,
Что у меня в суставе — утка,
А в утке — песня-яйцо...
Сплелись с кометой незабудка
В бракоискусное кольцо.
За евхаристией шаманов
Я отпил крови и огня,
И не обѣрточный Романов,
А вечность жалует меня.
Увы! Для паюсных умишек
Невнятен Огненный Талмуд,
Что миллионы чарых Гришек
За мной в поэзию идут.

1917

* * *

Я — посвящённый от народа,
На мне великая печать,
И на чело своё природа
Мою прияла благодать.

Вот почему на речке ряби,
В ракидах ветер-Алконост
Поёт о Мекке и арабе,
Прозревших лик карельских звёзд.

Все племена в едином слиты:
Алжир, оранжевый Бомбей
В кисете дедовском зашиты
До золотых, воскресных дней.

Есть в сивке доброе, слоновье
И в елях финиковый шум, —
Как гость в зырянское зимовье,
Приходит пёстрый Эрзерум.

Китай за чайником мурлычет,
Чикаго смотрит чугуном...
Не Ярославна рано кычет
На заборале городском, —

То богоносный дух поэта
Над бурной родиной парит,
Она в громовый плащ одета,
Перековав луну на щит.

Левиафан, Молох с Ваалом —
Её враги. Смертелен бой,
Но кроток луч над Валаамом,
Целуясь с ладожской волной.

А там, где снежную Печору
Полою застит небосклон,
В окно к тресковому помору
Стучится дед — пурговый сон.

Пусть кладенечные изломы
Врагов, как молния, разят, —
Есть на Руси живые дрёмы —
Невозмутимый, светлый сад.

Он в вербной слёзке, в думе бабьей,
В Богоявление наяву,
И в дудке ветра об арабе,
Прозревшем Звёздную Москву.

1918

* * *

По мне Пролеткульт не заплачет,
И Смольный не сварит кутью.
Лишь вечность крестом обозначит
Предсмертную песню мою.

Да где-нибудь в пёстром Судане
Нубиец, свершивши намаз,
О раненом солнце-тимпане
Причудливый сложит рассказ!

И будет два солнца на небе —
Две раны в гремящих веках,
Пурпурное — в ленинской требе,
Сермяжное — в хвойных стихах.

Недаром мерещится Мекка
Олонецкой серой избе...
Горящий венец человека
Задуть ли самумной судьбе?!

От смертных песков есть притины
Узорный оазис - изба...
Грядущей России картины —
Арабская вязь и резьба,

В кряжистой тайге — попугай,
Горилла — за вязкой лаптей...
Я грежу о северном рае
Фруктов и газельих очей!

1919

ЛОВЦЫ

Скалы — мозоли земли,
Волны — ловецкие жилы.
Ваши черны корабли,
Путь до бесславной могилы.

Наш буреломен баркас,
В вымпеле солнце гнездится,
Груз — огнезарый атлас —
Брачному миру рядиться.

Спрут и морской однозуб
Стали бесстрашных добычей.
Дали, прибрежный уступ
Помнят кровавый обычай:

С рубки низринуть раба
В снедь брюхоротым акулам.
Наша ли, братья, судьба
Ввериться пушечным дулам!

В вымпеле солнце-орёл
Вывело красную стаю;
Мачты почуяли мол,
Снасти — причальную сваю.

Скоро родной материк
Ветром борта поцелует;
Будет ничтожный — велик,
Нищий в венке запирует.

Светлый восстанет певец,
Звукам прибором научен,
И не изранит сердец
Скрип стихотворных ключин.

1919

* * *

Я потомок лапландского князя,
Калевалов волхвующий внук,
Утолю без настоек и мази
Зуд томлений и пролежни скук.

Клуб земной — с солодягой корчагу —
Сторожит Саваофов ухват,
Но, покорствуя хвойному магу,
Недвижим златорогий закат.

И скуластое солнце лопарье —
Как олений послушный телок.
Тянет жёлтой морошковой гарью
От колдующих тундровых строк.

Стих — дымок над берёстовым чумом,
Где уплыла окунья уха,
Кто прочтёт, станет гагачьим кумом
И провидцем полночного мха.

Льдяный Врубель, горячий Григорьев
Разгадали сонник ягелей;
Их тоска — кашалоты в поморьи —
Стала грузом моих кораблей.

Не с того ль тянет ворванью книга
И смолой — запятых табуны?
Вашингтон, черепичная Рига
Не вместят кашалотной волны.

Уплывём же, собратья, к Поволжью,
В папирусно-тигриный Памир!
Калевала сродни желтокожью,
В чьём венце ледовитый сапфир.

В русском коробе, в эллинской вазе,
Брежжат сполохи, полюсный щит,
И сапфир самоедского князя
На халдейском тюрбане горит.

1919

**ИЗ ЦИКЛА
«ПОЭТУ СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ»**

Изба — святилище земли,
С запечной тайною и раем;
По духу росной конопли
Мы сокровенное узнаем.

На грядке веников ряды —
Душа берёз зеленоустых...
От звёзд до луковой гряды
Всё в вещем шёпоте и хрустах.

Земля, как старище-рыбак,
Сплетает облачные сети,
Чтоб уловить загробный мрак
Глухонемых тысячелетий.

Провижу я: как в верше сом,
Заплещет мгла в мужицкой длани, —
Золотобрёвный отчий дом
Засолнцецвет на поляне.

Пшеничный колос-исполин
Двор осенит целящей тенью...
Не ты ль, мой брат, жених и сын,
Укажешь путь к преображенью?

В твоих глазах дымок от хат,
Глубинный сон речного ила,
Рязанский маковый закат —
Твои певучие чернила.

Изба — питательница слов —
Тебя взрастила не напрасно:
Для русских сёл и городов
Ты станешь Радуницей красной.

Так не забудь запечный рай,
Где хорошо любить и плакать!
Тебе на путь, на вечный май
Сплетаю стих — матёрый лапоть.

1916

* * *

В степи чумацкая зола —
Твой стих гордынею остужен!
Из мыловарного котла
Тебе не выловить жемчужин.

И груз «Кобыльих кораблей» —
Обломки рифм, хромые стопы.
Не с коловратовых полей
В твоём венке гелиотропы, —

Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином...
От оклеветанных голгоф —
Тропа к иудиным осинам.

Скорбит рязанская земля,
Седея просом и гречихой,
Что, перелесицы трепля,
Парит есенинское лихо.

Оно, как стая воронят
С нечистым граем, с жадным зобом,
И опадает песни сад
Над материнским строгим гробом.

В гробу пречистые персты,
Лапотцы с посохом железным, —
Имажинистские цветы
Претят очам многоболезным.

Словесный брат, внемли, внемли
Стихам — берестяным оленям:
Олонецкие журавли
Христосуются с «Голубенем».

«Трерядница» и «Песнослов» —
Садко с зелёной водяницей!
Не счесть певучих жемчугов
На нашем детище — странице.

Супруги мы... В живых веках
Заколосится наше семя,
И вспомнит нас младое племя
На песнотворческих пирах!

1921

* * *

Меня хоронят, хоронят
Построчная тля, жуки
Навозные проворонят
Ледоход словесной реки!

Проглазеют моржа золотого
В половодном разливе строк,
Где ловец — мужицкое слово —
За добычей стремится челнок!

Погребают меня так рано
Тридцатилетним бородачом,
Засыпают книжным гуано
И брюсовским сюртуком.

Сгинь, поджарый! Моя одёжа —
Пестрядь нив и ржаной атлас.
Разорвалась тучами рожа,
Что пасла, как отары, нас.

Я — из ста миллионов первый
Гуртовщик золоторогих слов,
Похоронят меня не стервы,
А лопаты глухих веков!

Нестерпим панихидный запах...
Мозг бодает изгородь лба...
На бревенчатых тяжких лапах
Восплясала моя изба.

Осетром ныряет в оконцах
Краснобрюхий лесной закат, —
То к серпу на солнечных донцах
Пожаловал молот-брат.

И зажглись словесные клады
По запечным дебрям и мхам...
Стихотворные водопады
Претят бумажным жукам.

Не с того ль из книжных улусов
Тянет прелью и кизяком?
«Песнослову» грозитя Брюсов
Изнасилованным пером.

Но ядрён мой рай и чудесен —
В чаще солнца рассветный гусь,
И бадьёю омуты песен
Расплескала поморка-Русь!

1921

* * *

Стариком, в лохмотья одетым,
Притащусь к домово́й о́граде...
Я был когда-то поэтом,
Подайте на хлеб Христа ради!

Я скоротал все просёлки,
Придорожные пни и камни!..
У горничной в плоёной наколке
Боязливо спрошу: «Куда мне?».

В углу шарахнутся трости
От моей обветренной палки,
И хихикнут на деда-гостя
С дорогой картины русалки.

За стеною Кто и Незнаю
Закинут невод в Чужое...
И вернусь я к нищему раю,
Где Бог и Древо печное.

Под смоковницей солодовой
Умолкну, как Русь, навеки...
В моё бездонное слово
Канут моря и реки.

Домовину оплачет баба,
Назовёт кормильцем и ладой...
В листопад рябины и граба
Уныла дверь за оградой.

За дверью пустые сени,
Где бродит призрак костлявый.
Хозяин, Сергей Есенин,
Грустит под шарманку славы...

1922

* * *

Наша русская правда загибла,
Как Алёнушка в чарой сказке...
Забодало железное быдло
Коляду, душегрейку, салазки.

Уж не выйдет на перёные крыльца
В куньей шубоньке
Мелентьевна Василиса,
Утопил лиходей-убийца

Сердце князево в чаре кумыса.
Заливай ордынским напитком,
Тверь-вдовица, кос пепелище,
Твой Михайло в шуйце со свитком

Стал вороньей гнусавой пищей.
И боярыни Морозовой терем
В тощей пазухе греет вьюгу,
На иконе в борьбе со зверем

Стратилат оборвал подпругу.
Так загибла русская доля —
Над речкою белые вербы,
Вновь меж трупов на Косовом поле

Узнают царя Лазаря сербы.
На костях горит мусикия,
Вместо сердца кротовьи ходы...
Отлетела лебедь-Россия

В безбольные тихие воды.
Но сквозь слёзы, звериные муки
Прозревают родину очи:
Забрели по колено буки

В синезёр, до питья охочи.
Ловит солнце лещом матёрым
Стрекозиных телег вереницы,
По-ребячьи лохматят горы

С голубых просонок косицы.
Исцелённый мир смугло-розов,
На кувшинках — гнёзда гагар,
И от вьюг, косматых морозов
Только сосен смолистый жар.

1928

* * *

Деревня — сон бревенчатый, дублёный,
Овинный город, празелень иконы,
Колядный вечер, вьюжный и калёный.

Деревня — жатва в косах и поняве,
С волынкою о бабьей лютой славе,
С болезною кукушкою в дубраве.
Деревня — за кибиткой волчья стая —
Вот-вот настигнет, сердце разрывая,
Ощеренной метелицею лая!

Свекровь лихая — филин избяной,
Чтоб очи выклевать невестке молодой,
Деревня — саван, вытканый пургой,
Для солнца упокойник костяной.

Рученек не разомкнуть,
Ноженек не разогнуть —
Не белы снежки — мой путь!

Деревня — буря, молний наковальня,
Где молот — гром, и тучи — котовальня,
Что треплют шерсть — осинника опальней;
Осинник жгуч, багров и пестр,
Ждёт волчьих зим — седых невест,
С вороньим табором окрест.
Деревня — смертная пурга,
Метелит друга и врага,
Вонзив в неизвестное рога,
Деревня — вепрь и сатана...
Но ронит коробом луна
На нивы комья толокна.
И сладко веет толокном
В родных полях, в краю родном,
Где жаворонок с васильком
Справляют свадьбу голубую.
В республике, как и в России,
Звенят подснежники лесные,
Венчая пчёлку восковую.

Хватит воску на берёзку,
Запряглась луна в повозку,
Чтобы утро привезти
По румянному пути!

1932

СОЛОВКИ

Распрекрасен Соловецкий остров,
Лебединая тишина...
Звенигород, великий Ростов
Баюкает голубизна,
А тебе, жемчужине Поморья,
Крылья чаек навевают сны,
Езера твои и красноборья
Ясными улыбками полны...
Камень и горбатая колода
Золотою дышат нищетой,
По тебе лапотцами народа
Путь углажен к глубине морской...
Глубина ты, глубота морская,
Зыбка месяца, царя-кита,
По тебе скучает пестрядная
Птица, что зовётся «красота»!..
Гей ты, птица, отзовись на песню —
Дерево из капель кровяных!
Глубже море, скалы всё отвесней,
Плачут гуси в сумерках седых...

Распрекрасный остров Соловецкий,
Лебединая Секир-гора,
Где церквушка, рубленая клетцы, —
Облачному ангелу сестра.
Где учился я по кожаной Триоди
Дум прибою, слов колоколам,
Величавой северной природе
Трепетно моляся по ночам...
Где впервые пономарь Авива
Мне поведал хвойным шепотком,
Как лепечет травка, плачет ива
Над осенним розовым Христом.
И Феодора — строителя пустыни,
Как лесную речку, помяну,
Он убит и в лёгкой <белой с>кр<ы>не
Поднят чайками в голубизну...
Помнят смироглазые олени,
Как, доев морошку и кору,
К палачам своим отец Парфений
Из избушки вышел поутру.
Он рассечен саблями на части
И лесным пушистым глухарём
Улетел от бурь и от ненастий

С бирюзовой печью в новый дом...
Не забудут гуси-рыбогоны
Отрока Ивана на колу,
К дитятку слетелись все иконы,
Словно пчёлы к сладкому дуплу;
«Одигитрия» покрыла платом,
«Утоли печали» смыла кровь...
Урожаем тучным и богатым
Нас покрыла песенная новь.
Триста старцев и семьсот собратий
Брошены зубастым валунам.
Преподобные Изосим и Савватий
С кацеями бродят по волнам...
В охровой крещатой ризе
Анзерский Елиазар
Кличет ласточек и утиц сизых
Боронить пустынюшку от кар:
«Ты, пустыня, мать-пустыня,
Высота и глубота!
На ключах — озёрных стынях —
Нету лебеда-Христа!
Студены ручья коленца, —
Наше сердце студеней,
Богородица младенца
Возносила от полей:
«Вы, поля, останьтесь пусты,
Без кукушки дом лесной!».
Грядка белая капусты
Разрыдалася впервой:
«Утоли моя печали!» —
Плачет репа, брюква тож,
Пред тобой виновна в мале,
Как на плаху, никнет рожь!».
Богородица прижухла,
Оперлась на локоток:
«У тебя, беляны пухлой,
Есть ли Сыну уголок?».
— Голубица, у белянки,
Лишь в стогах уснёт трава,
Будет горенка с лежанкой
Для Христова Рождества!

1926 — 1928

КЛЕВЕТНИКАМ ИСКУССТВА

Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню —
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита —
Вы не дали и пригоршни овса
И не пускали в луг, где пьяная роса
Свежила б лебедю надломленные крылья!
Ни волчья пасть, ни дыба, ни копылья
Не знали пытки вероломней, —
Пегасу русскому в каменоломне
Нетопыри вплетались в гриву
И пили кровь, как суховеи ниву,
Чтоб не цвела она золототканно
Утехой брачную республике желанной.
Чтобы гумно, где Пушкин и Кольцов
С Есениным в венке из васильков,
Бодягой поросло, унылым плауном,
В разлуке с песногривым скакуном,
И с молотьбой стиха свежее борозды
И непомернее смарагдовой звезды,
Что смотрит в озеро, как чаша, колдовское,
Рождая струнный плеск и вещей сказок рои!

Но у ретивого копыта
Недаром золотом облиты,
Он выпил сон каменоломный
И ржёт на Каме, под Коломной
И на балтийских берегах!..
Овсянки, явственны ль в стихах
Вам соловьиные раскаты,
И пал ли Клюев бородатый,
Как дуб, перунами сражённый,
С дуплом, где Сирин огневейный
Клад стережёт — бериллы, яхонт?..
И от тверских дублёных пахот
С антютиком лесным под мышкой
Клычков размыкал ли излишки
Своих стихов — еловых почек
И выплакал ли зори-очи
До мёртвых костяных прорех
На грай вороний, чёрный смех?!
Ахматова — жасминный куст,
Обожженный асфальтом серым,
Тропу утратила ль к пещерам,

Где Данте шёл и воздух густ,
И нимфа лён прядёт хрустальный?
Средь русских женщин Анной дальней
Она как облачко сквозит
Вечерней проседью раки!
Полыни сноп, степное юдо,
Полуказак, полукентавр,
В чьей песне бранный гром литавр,
Багдадский шёлк и перлы грудой,
Васильев — омуль с Иртыша.
Он выбрал щуку и ерша
Себе в друзья, — на песню, право,
Чтоб цвесть в поэзии купавой, —
Не с вами правнук Ермака!
На стук степного батожка,
На ржанье сосунка-кентавра
Я осетром разинул жабры,
Чтоб гость в моей подводной келье
Испил раскольничьего зелья,
В легенде став единорогом,
И по родным полынным логам
Жил гривы заревом, отгулами копыт!
Так нагадал осётр, и вспенил перлы кит!

Я гневаюсь на вас, гнусавые вороны,
Что ни свирель ручья, ни сосен перезвоны,
Ни молодость в кудрях, как речка в купыре,
Вас не баюкают в багряном октябре,
Когда кленовый лист лохмотьями огня
Летит с лесистых скал, кимвалами звеня,
И ветер-конь в дождливом чепраке
Взлетает на утёс — вздыбиться налегке,
Под молнии зурну копытом выбить пламя
И вновь низринуться, чтобы клетать орлами
Иль ржать над пропастью потоком пенногривым.
Я отвращаюсь вас, что вы не так красивы!
Что знамя гордое, где плещется заря,
От песен застите крылом нетопыря,
Крапивой полуслов, бурьяном междометий,
Не чужа пиршества столетий,
Как бороды моей певучую грозу,
Базальтовый обвал — художника слезу
О лилии с полей Иерихона!
Я содрогаюсь вас, убогие вороны,
Что серы вы, в стихе не лирохвосты,
Бумажные размножили погосты

И вывели ежей, улиток, саранчу!..
За будни львом на вас рычу
И за мои неожиданные седины
Отмщаю тягой лебединой! —
Всё на восток, в шафран и медь,
В кораллы розы нумидийской,
Чтоб под ракитою российской
Коринфской арфой отзвенеть,
И от Печенеги до Бийска,
Завьюжит песенную цветь,
Где конь пасётся диковинный,
Питаясь ягодой наливной,
Травой-улыбкой, приворотом,
Что по фантазии болотам
И на сердечном глыбком дне
Звенят, как пчёлы по весне!
Меж трав волшебных Анатолий, —
Мой песноглаз, судьба-цветок,
Ему ковёр индийских строк,
Рязанский лыковый уток,
С арабским бисером — до боли!
Чу! Ржёт неистовый скакун
Прибоем слов о гребень дюн
Победно-трубных, как органы,
Где юность празднуют титаны!

1930—1933

**ИЗ ЦИКЛА
«РАЗРУХА»**

II
От Лаче-озера до Выга
Бродяжил я тропой опасной,
В прогалах брезжил саван красный,
Кочевья леших и чертей.
И, как на пытке от плетей,
Стонали сосны: «Горе! Горе!».
Рябины — дочери нагорий —
В крови до пояса... Я брёл,
Как лось, изранен и комол,
Но смерти показав копыта.
Вот чайками, как плат, расшито
Буланым пухом Заонежье
С горою вещью Медвежьей,
Данилово, где Неофиту
Андрей и Симеон, как сыту,
Сварили на премноги леты
Необоримые «Ответы».
О книга — странничья киса,
Где синодальная лиса
В грызне с бобрихою поддонной, —
Тебя прочтут во время оно,
Как братья, Рим с Александрией,
Бомбей и суетный Париж!
Над пригвождённою Россией
Ты сельской ласточкой журчишь,
И, пестун заводи, камыш,
Глядишься вглубь — живые очи, —
Они, как матушка, пророчат
Судьбину — не чумной обоз,
А студенец в тени берёз
С чудотворящим почерпальцем!..
Но красный саван мажет смальцем
Тропу к истерзанным озёрам, —
В их муть и раны с косогора
Забросил я ресниц мережи
И выловил под ветер свежий
Костлявого, как смерть, сига:
От темени до сапога
Весь изъязвлённый пескарями,
Вскипал он гноем, злыми вшами,
Но губы теплили молитву..
Как плахой, поражён ловитвой,

Я пролил вопли к жертве ада:
«Отколь, родной? Водицы надо ль?».
И дрогнули прорехи глаз:
«Я ж украинец Опанас...
Добей зозулю, чоловіче!..».
И видел я: затеплил свечи
Плакучий вереск по сугорам,
И ангелы, злата убором
Лохмотья елей, ржавь коряжин,
В кошницу из лазурной пряжи
Слагали, как фиалки, души.
Их было тысяча на суше
И гатями в болотной води!..
О Господи, кому угоден
Моих ресниц улов зловещий?
А Выго сукровицей плещет
О пленный берег, где медведь
В недавнем милом ладил сеть,
Чтобы словить луну на ужин!
Данилово — котёл жемчужин,
Дамасских перлов, слёзных смазней,
От поругания и казни
Укрылося под зыбкой схимой, —
То Китеж новый и незримый,
То беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тётка Фёкла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слёзы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи.
В немереном горячем скопе
От тачки, заступа и горстки
Они расплавом беломорским
В шлюзах и дамбах высят воды.
Их рассекают пароходы
От Повенца до Рыбьей Соли, —
То памятник великой боли,
Метла небесная за грех
Тому, кто, выпив сладкий мех
С напитком дедовским стоялым,
Не восхотел в бору опалом,
В напевной, кондовой избе
Баюкать солнце по судьбе,
По доле и по крестной страже...
Россия! Лучше б в курной саже,

С тресковым пузырьком в прорубе,
Но в хвойной непроглядной шубе,
Бортняжный мёд в кудесной речи
И блинный хоровод у печи,
По Азии же блин — чурек,
Чтоб насыщался человек
Свирелью, родиной, овином
И звёздным выгоном лосиным, —
А звёзд рога в тяжёлом злате, —
Чем крови шлюз и вошьи гати
От Арарата до Поморья.
Но лён цветёт, и конь Егорья
Меж туч сквозит голубизной
И веще ржёт... Чу! Волчий вой!
Я брёл проклятою тропой
От Дона мёртвого до Лаче.

III

Есть демоны чумы, проказы и холеры,
Они одеты в смрад и в саваны из серы.
Чума с кошницей крыс, проказа со скребницей,
Чтоб утолить колтун палящей огневицей,
Холера же с зурной, где судороги жил,
Чтоб трупы каркали и выли из могил.
Гангрена, вереда и повар-золотуха,
Чей страшен едкий суп и терпка варенуха
С отрыжкой камфары, гвоздичным ароматом
Для гостя-волдыря с ползучей цепкой ватой.
Есть сифилис — ветла с разинутым дуплом
Над жёлчи омутом, где плещет осетром
Безносый водяник, утопленников пестун.
Год восемнадцатый на родину-невесту,
На брачный горноста́й, сидонские опалы
Низринул ливень язв и сукровиц обвалы,
Чтоб дьявол-лесоруб повыщербил топор
О дебри из костей и о могильный бор,
Не считанный никем, непроходимый.
Рыдает Новгород, где тучкою златимой
Грек Феофан свивает пасмы фресок
С церковных крыл — поэту мерзок
Суд палача и черни многоротой.
Владимира червонные ворота
Замкнул навеки каменный архангел,
Чтоб стадо гор блюсти и водопой на Ганге,
Ах, для славянского ль шелома и коня?
Коломна светлая, сестру Рязань обняв,

В заплаканной Оке босые ноги мочит,
Закат волос в крови и выколоты очи,
Им нет поводыря, родного крова нет!
Касимов с Муромом, где гордый минарет
Затмил сияньем крест, вопят в падучей муке
И к Волге-матери протягивают руки.
Но, косы разметав и груди-Жигули,
Под саваном песков, что бесы намели,
Уснула русских рек колдующая пряжа; —
Ей вести чёрные, скакун из Карабаха,
Ржёт ветер, что Иртыш, великий Енисей
Стучатся в океан, как нищий у дверей:
«Впусти нас, бабушка, напои и накорми,
Мы пасмурны от бед, изранены плетью
И с плеч береговых сняты соболя!».
Как в стужу водопад, плачь, русская земля,
С горючим льдом в пустых глазницах,
Где утро — сизая орлица —
Яйцо сносило — солнце жизни,
Чтоб ландыши цвели в отчизне,
И лебедь приплывал к ступеням.
Кошница яблок и сирени,
Где встарь по соловьям гадали, —
Чернигов с Курском! Бык из стали
Вас забодал в чуму и в оспу,
И не сиренью — кисти в роспуск,
А лунным черепом в окно
Глядится ночь давным-давно.
Плачь, русская земля, потопом...
Вот Киев, по усладным тропам
К нему не тянут богомольцы,
Чтобы в печёрские оконца
Взглянуть на песноцветный рай.
Увы, жемчужный каравай
Похитил бес с хвостом коровьим,
Чтобы похлёбкою из крови
Царьградские удобрить зёрна!
Се Ярославль — петух узорный,
Чей жар-атлас, кумач-перо
Не сложит короб на добро
Кудрявый офень... Сгибнул кочет,
Хрустальный рог не трубит к ночи,
Зарю хвоста пожрал бетон,
Умолк сорокоустый звон,
Он, стерлядь, в волжские пески
Запрятался по плавники!

Вы умерли, святые грады,
Без фимиама и лампы
До нестареющих пролетий.
Плачь, русская земля, на свете
Злосчастней нет твоих сынов,
И алмазный засов
У врат лечебницы небесной
Для них задвинут в срок безвестный.
Вот город славы и судьбы,
Где вечный праздник бороньбы
Крестами пашен бирюзовых,
Небесных нив и трав шелковых,
Где князя Даниила дуб
Орлу двуобразному люб. —
Ему от Золотого Рога
В Москву указана дорога,
Чтобы на дебренской земле,
Когда подснежники пчеле
Готовят чаши благовоний,
Заржали бронзовые кони
Веспасиана, Константина...
Скрипит иудина осина
И плещет вороном зобатым,
Доволен лакомством богатым,
О ржавый череп чистя нос,
Он трубит в темь: колхоз, колхоз!
И, подвязав воловий хвост,
На верезг мерзостной свирели
Повылез чёрт из адской щели —
Он весь — мозоль, парша и гной,
В багровом саване, змеёй
По смрадным бёдрам опоясан...
Не для некрасовского Власа
Роятся в притче эфиопы —
Под чёрной зарослью есть тропы,
Бетонным связаны узлом —
Там сатаны заезжий дом.
Когда в кибитке ураганной
Несётся он, от крови пьяный,
По первопутку бед, сарыней,
И над кремлёвскою святыней,
Дрожа успенского креста,
К жилью зловещего кота
Клубит метельную кибитку, —
Но в боль берестяному свитку
Перо, омоченное в лаву,

Я погружу его в дубраву,
Чтоб листопадом в лог кукуший
Стучались в стих убитых души...
Заезжий двор — бетонный череп,
Там бродит ужас, как в пещере,
Где ягуар прядёт зрачками.
И, как плоты по хмурой Каме,
Храня самоубийц тела,
Плывут до адского жерла
Рекой воздушною... И ты
Закован в мёртвые плоты,
Злодей, чья флейта — позвоночник,
Булыжник уличный — построчник
Стихи мостить «в мотюх и в доску»,
Чтобы купальскую берёзку
Не кликал Ладо в хоровод
И песню позабыл народ,
Как молодость, как цвет калины...
Под скрип иудиной осины
Сидит на гноище Москва,
Неутешимая вдова,
Скобля осколком по коростам,
И многопёстрым Алконостом
Иван Великий смотрит в были,
Сверкая златною слезой.
Но кто целящей головнёй
Спалит бетонные отёки:
Порфирный Брама на востоке
И Рим, чей строг железный крест?
Нет русских городов-невест
В запястьях и рублях мидийских...

1934

Есть две страны: одна — Больница,
Другая — Кладбище, меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!

Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку
И заунывною кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:

«Ку-ку! Откройте двери, люди!».
«Будь проклят, полуночный пёс!
Куда ты в глиняном сосуде
Несёшь зарю апрельских роз?!

Весна погибла, в космы сосен
Вплетает вьюга седину»...
Но, слыша скрежет ткацких кросен,
Тянусь к зловещему окну

И вижу: тётушка Могила
Ткёт жёлтый саван, и челнок,
Мелькая птицей чернокрылой,
Рождает ткань, как мерность строк.

В вершинах пляска ветродуев,
Под хрип волчицыной трубы
Читаю нити: «Н. А. Клюев —
Певец олонецкой избы!».

Я умер! Господи, ужели?!
Но где же койка, добрый врач?
И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!

Вот почему в кувшине розы,
И сам ты — мальчик в синем льне!..
Скрипят житейские обозы
В далёкой брэнной стороне.

К ним нет возвратного просёлка,
Там мрак, изгнание, Нарым.

Не бойся савана и волка, —
За ними с лютней серафим!».

«Приди, дитя моё, приди!» —
Запела лютня неземная,
И сердце птичкой из груди
Перепорхнуло в кущи рая.

И первой песенкой моей,
Где, брачной чашею лилея,
Была: «Люблю тебя, Рассея,
Страна грачиных озимей!».

И ангел вторил: «Буди, буди!
Благословен родной овсень!
Его, как розы в сосуде,
Блюдёт Христос на Оный День!»

Томск, 1937

ПОЭМЫ

*Так погибал Великий Сиг
Заставкою из древних книг,
Где Стратилатом на коне
Душа России, вся в огне,
Летит ко граду, чьи врата
Под знаком чаши и креста!*

Четвёртый Рим

Николаю Ильичу Архипову

*А теперь я хожу в цилиндре
и в лаковых башмаках...*

Сергей Есенин

Не хочу быть знаменитым поэтом
В цилиндре и в лаковых башмаках,
Предстану миру в песню одетым,
С медвежьим солнцем в зрачках,
С потёмками хвой в бородище,
Где в случке с рысью рычит лесовик!
Я сплёл из слов, как закат, лаптище,
Баюкать чадо — столетний зык, —
В заклантой зыбке седые страхи,
Колдуньи — Дрёмы, горбун — Низги...
Моё лицо — ребёнок на плахе,
Святитель в гостях у бабы-яги.
А сердце — изба, брёвна сцеплены в лапу,
Там горница — ангелов пир,
И точат иконы рублёвскую вапу,
Молитв молоко и влюблённости сыр.
Там тайны чулан, лавка снов и раздумий,
Но горница сердца лобку не чета:
О, край золотых сенокосов и гумен!
О, ткацкая радуг и вёсен лапта!
К тебе притекают искатели кладов —
Персты мои — пять забубённых парней,
И в рыжем полесье, у жил водопадов
Буравят пласты до алмазных ключей.
Душа — звездопёрый петух на нашесте —
Заслушалась яростных чмоков сверла...
Стихи — огневица о милой невесте,
Чьи ядра — два вепря, два лютых орла.

Не хочу укрывать цилиндром
Лесного чёрта рога!
Седым кашалотам, зубаткам и выдрам
Моих океанов и рек берега!
Есть берег сосцов, знойных ягодиц остров,
Долина пахов, плоскогорье колен;

Для галек певучих и раковин пёстрых
Сюда заплывает ватага сирен,
Но хмурится море колдующей плоти,
В волнах погребая страстей корабли.
Под флейту тритона на ляжек болоте
Полощется леший и духи земли.
О, плоть — голубые нагорные липы,
Где в губы цветений вонзились шмели,
Твои листопады сгребает Архипов
Граблями лобзаний в стихов кошели!
Стихов кошели полны липовым мёдом,
Подковами радуг, лесными ау..
Возлюбленный будет возлюблен народом
За то, что баюкал слезинку мою.
Возлюбленный — камень, где тысячи граней,
В их омуте плещет осётр-сатана,
В змеиной повязке, на серном кабане
Блюдёт сладострастье обители сна,
Возлюбленный — жатва на северном поле,
Где тучка — младенец в венце гробовом,
Печаль журавлиная русских раздолий,
Спрядающих травы и звёзды крестом.
Не хочу цилиндром и башмаками
Затыкать пробоину в барке души!
Цвету я, как луг, избяными коньками,
Улыбкой озёр в песнозвонной тиши.
Да! И верен я зыбке, плакучей, родимой,
Могилушке маминой, лику гумна;
Зато, как щеглята, летят серафимы
К кормушке моей, где любовь и весна.
Зато на моём песнолиственном дубе
Бессмертия птица и стая веков.
Варить Непомерное в черепа сруб
Сошлись колдуны у заклятых котлов.
В котлах — печень мира и солнца вязига,
Безумия перец, укроп тишины..
Как первенец ясный, столикая книга
Лежит на руках у родимой страны.
В той книге страницы — китовьи затоны,
На буквенных скалах лебяжий базар,
И каркают точки — морские вороны,
Почуя стихов ледовитый пожар.
В той книге строка — беломорские сёла
С бревенчатой сказкой изб и дворов,
Где темь-медвежонок и бабы с подола
Стряхают словесных куниц и бобров.

Кукует зегзицею дева-Обида
Над слёзкой России (о, камень драгий!..).
Когда-нибудь хрустнет небесная гнида —
Рябой полумесяц под ногтем стихий.
И зуд утолится, по ляжек болотам
Взойдёт чистоты белоснежный ирис,
Заклятым стихам отдадут, словно сотам,
Мёд глаз ярославец, вогул и киргиз.

Не хочу быть лакированным поэтом
С обезьяньей славой на лбу!
С Ржаного Синая багряным заветом
Связую молот и мать-избу.
Связую думы и сны суслона
С многоязычным маховиком...
Я — Кит Напевов, у небосклона
Моря играют моим хвостом.
Блюду я, вечен и неизменен,
Печные крепи, гумна пята.
Пилою-рыбой кружит Есенин,
Меж ласт родимых ища мету.
Пилою-рыбой прослыть почётно
У сонных крабов, глухих бодяг...
Как дед внучонка, качает вёсны
Паучьей лапой запечный мрак.
И зреют вёсны: блины, драчёны,
Рогатый сырник, пузан-кулич...
Для варки песен — всех стран Матрёны,
Соединяйтесь! — несётся клич...
Котёл бессмертен, в поморьях щаных
Зареет яхонт — Четвёртый Рим:
Ещё немного — и в новых странах
Мы жёлудь сердца Земле вручим.
В родных ладонях прозябнет дубом
Сердечный жёлудь, листва-зрачки...
Подарят саван заводским трубам
Великой Азии пески.
И сядет ворон на череп Стали —
Питомцев праха, судьбы маяк...
Затмит ли колоб на звёздном сале
Сосцы ковриги, — башмачный лак?

Не хочу быть — кобыльим — поэтом,
Влюбленным в стойло, где хмара и кал!
Цветёт в моих снах гееннское лето
И в лязге строк кандальный Байкал.

Я вскормлен гумном, соловецким звоном,
Что вьёт, как напевы, гнёзда в ушах.
Это я плясал перед царским троном
В крылатой поддёвке и злых сапогах,
Это я зловещей совою
Влетел в Романовский дом,
Чтоб связать возмездье с судьбою
Неразрывным красным узлом,
Чтоб метлою пурги сибирской
Замести истории след..
Зырянин с душой нумидийской,
Я — родной, мужицкий поэт.
Черномазой пахоты ухо
Жаворонковый ловит гром —
Не с того ль кряжистый Пантюха
Осняет себя крестом?
Не от песни ль пошёл вприсядку
Звонкодугий лихой Валдай,
И забросил в кашную латку
Многострунный невод Китай?
На улов таращит Европа
Окровавленный жадный глаз,
А в кесе у деда Антропа
Кудахчет павлиний сказ.

Анафема, анафема вам,
Башмаки с безглазым цилиндром!
Пожалкую на вас стрижаю,
Речным плотицам и выдрам.
Попечалюсь родной могилке,
Коту, горшку-замарашке,
Чтоб дьявольские подпилки
Не грызли слезинок бляшки,
Чтоб была, как подойник, щедра
Душа молоком словесным.
Не станут коврижные недра
Калачом поджарым и пресным.

Не будет лаковым Клюев,
Златорог — задорным кутёнком!
Легче сгнуться в песках Чарджуев
С мягкозадым бачой-сартёнком.
В чайхане дремать на циновке,
В полосатом курдском халате,
И видеть, как звёзд подковки
Ныряют в небесной вате,

Как верблюдица-полумесяц
Пьёт у Аллы с ладони...
У мускусных перелесиц
Замедлят времени кони.
И сойду я с певчей кобылы —
Кунак в предвечном ауле...
Ау, Николенька милый, —
Живых поцелуев улей!

Ау! Я далёко, далёко...
Но в срок, как жених, вернуся,
Стихи — жемчуга Востока —
Сложить пред образом Руси.

1921

Мать-Суббота

*Николаю Ильичу Архипову —
моей последней радости!*

Ангел простых человеческих дел
В избу мою жаворонком влетел,
Заулыбались печь и скамья,
Булькнула звонко гусыня-бадя,
Муха впотьмах забубнила коту:
«За ухом, дяденька, смой черноту!».

Ангел простых человеческих дел
Бабке за прялку венчик надел,
Миром помазал дверей косяки,
Бусы и киноварь пролил в горшки.
Посох врачуя, шепнул кошелю:
«Будешь созвучьями полон в раю!..».

Ангел простых человеческих дел
Вечером голуб, в рассветки же бел,
Перед ковригою свечку зажёт,
В бороду сумерек вплёл василёк,
Сел на шесток и затренькал сверчком:
«Мир тебе, нива с горбатым гумном!
Мир очагу, где обильны всегда
Звёздной плотвою годов невода!..».

Невозмутимы луга тишины —
Пастбище тайн и овчинной луны,
Там небеса, как полаты, теплы,
Овцы — оладьи, ковриги — волы;
Пышным отарам вожак — помело,
Отчая кровля — печное чело.

Ангел простых человеческих дел
Хлебным теленьям дал тук и предел.
Судьям чернильным постылы стихи,
Где в запятых голосах петухи,
Бродят коровы по злачным тире,
Строки ж глазасты, как лисы в норе.
Что до того, если дедов кошель —
Луг, где Егорий играет в свирель,

Сивых, соловых, буланных, гнедых
Поют с ладоней соборы святых:
Фрол и Медост, Пантелеймон, Илья —
Чин избяной, луговая семья.

Что до того, если вечер в бадью
Солнышко скликал: «Тю-тю да тю-тю!».
Выведет солнце бурнастых утят
В срок, когда с печью прикурнет ухват,
Лавка постелет хозяйке кошму,
Вычернить косы — потёмок сурьму.

Ангел простых человеческих дел
Певчему суслу взбурлить повелел.
Дремлет изба, как матёрый мошник
В пазухе хвойной, где дух голубик,
Крест соловецкий, что крепче застав,
Лапой бревенчатой к сердцу прижав.
Сердце и Крест — для забвений мета...
Бабкины пальцы — Иван Калита —
Смерти грозятся, узорят молву,
В дебрях суслонных возводят Москву...
Слышите ль, братья, поддонный трезвон
Отчие зовы запечных икон?
Кони Ильи, Одигитрии плат,
Крылья Софии, Попрание врат,
Дух и невеста, Царица предста
В колесе житном отверзли уста!

Ангел простых человеческих дел
В персях земли урожаем вскипел.
Чрево овина и стога крестцы —
Образов деда, прозрений отцы.
Сладостно цепу из житных грудей
Пить молоко первопутка белей,
Зубы вонзать в неневестную плоть —
В темя снопа, где пирует Господь.
Жёрнову зёрна — детине жена,
Лоно посева — квашни глубина,
Вздохи серпа и отжинок тоску
Каменный пуп растирает в муку.
Бабкины пальцы — Иван Калита —
Ставят помолу капкан решета.
В пёстрой макитре вскисает улов:
В чаше агатовой очи миров,
Распятый Лебедь и Роза над ним...

Прочит огонь за невесту калым,
В звонких поленьях зародыши душ
Жемчуг ссыпают и золота куш...
Савское миро, душиста-смугла,
Входит Коврига в Чертоги Тепла.
Тьмы серафимов над печью парят
В час, как хозяйка свершает обряд:
Скоблит квашню и в мочалкин вихор
Крохи вплетает, как дружкин убор.
Сплетницу муху, пройдоху kota
Сказкой дивит междучасий лапта.

Ангел простых человеческих дел
Умную нежить дыханьем пригрел.

Старый баран и провидец-петух,
Сторож задворок — лохматый лопух
Дождик сулят, бородами трепля...
Тучка повойником кроет поля,
Редьке на грядке испить подаёт —
Стала б ядрёна, бела наперёд.
Тучка — к пролетью, к густым зеленым,
К свадьбам коровьим и к спорым блинам...
В горсти запашек в опару пролив,
Селезнем стала кормилица нив.

Зорко избе под сытовым дождём
Просишь клевать, как орлице, коньком.
Нудить судьбу, чтобы рёбра стропил
Перистым тёсом хозяин покрыл,
Знать, что к отлёту седые углы
Сорок воскрылий простёрли из мглы,
И к новоселью в поморья окон
Кедровый лик окунул Елеон,
Лапоть Исхода, Субботу Живых...
Стелют настольник для мис золотых,
Рушают Хлеб для крылатых гостей
(Пуду — Сергунька, Васятке — Авдей).
Наша Суббота озёр голубей!

Ангел простых человеческих дел
В пляске Васяткиной крылья воздел.
Брачная пляска — полёт корабля
В лунь и агат, где Христова Земля.
Море житейское — чёрный агат
Плещет стихами от яростных пят.

Духостиhi — златорогов стада,
Их по удоям не счесть никогда,
Только следы да сиянье рогов
Ловят тенёта захватистых слов.
Духостиhi отдают молоко
Мальцам безудным, что пляшут легко.
Мельхиседек и Креститель Иван
Песеннорогий блюдут караван.

Сладок Отец, но пресладостней Дух, —
Бабьего выводка ястреб — пастух,
Любо ему вожделенную мать
Страсти когтями, как цаплю, терзать,
Девичью печень, кровавый послед
Клювом долбить, чтоб родился поэт.
Зыбка в избе — ястребиный улов —
Матери мнится снопом васильков;
Конь-шестоглав сторожит васильки —
Струнная грива и песня-зрачки.
Сноп бирюзовый — улыбок кошель —
В щебет и грай пеленает апрель,
Льнёт к молодежи: «Сегодня в ночи
Пламенный дуб возгорит на печи,
Ярой пребудь, чтобы соты грудей
Вывели ос и язвящих шмелей:
Дерево-сполох — кудрявый Федот
Даст им смолу и сжигающий мёд!».

Улей двести семьдесят дней
Пестует рой медоносных огней..
Жизнь-пчеловод постучится в леток:
Дескать, проталинка теплит цветок!..
Пасеке зыбок претит пустота —
В каждой гудит, как пчела, красота.
Маковый ротик и глазок слюда —
Бабья держава, моя череда.

Радуйтесь, братья, беременен я
От поцелуев и ядер коня!
Песенный мерин — багряный супруг —
Топчет суставов и ягодиц луг,
Уды мои, словно стойло, грызёт,
Роет копытом заклятый живот, —
Родится чадо — табун жеребят,
Музыка в холках и в ржании лад.

Ангел простых человеческих дел
Гурт ураганный пасти восхотел.
Слава ковриге, и печи хвала,
Что Голубую Субботу спекла,
Вывела лося — цимбалы рога,
Заколыбелить души берега!
Ведайте, други, к животной земле
Едет купец на беляне-орле!
Груз преисподний: чудес сундуки,
Клетки с грядущим и славы тюки!
Пристань-изба упованьем цветёт,
Веще мурлычет подоюнику кот,
Птенчики-зёрна в мышинной норе
Грезят о светлой засевной поре;
Только б привратницу — серую мышь —
Скрипы вспугнули от мартовских лыж,
К зёрнышку в гости пожалует жук,
С каплей-малюткою — лучиков пук.
Пегая глыба, прядя солнпоёк,
Выгонит в стебель ячменный пупок.
Глядь, колосок, как подругу бекас,
Артосом кормит лазоревый Спас...
Ангел простых человеческих дел
В книжных потёмках лучом заалел.
Братья, Субботе Земли
Всякий любезно внемли:
Лишь на груди избяной
Вы обретёте покой!
Только ковриги сосцы —
Гаг самоцветных ловцы,
Яйца кладёт, где таган,
Дум яровой пеликан...
Светел запечный притин —
Китеж Мемёлф и Арин,
Где словорунный козёл
Трётся о бабкин подол.
Там образок Купины —
Чаша ржаной глубины;
Тела и крови Руси,
Брат озаренный, вкуси!
Есть Вседержитель гумна,
Пестун мирского зерна,
Он, как лосиха — телка,
Лижет земные бока,
Пахоту поит слюной
Смуглой Господь избяной.

Перед Ним единым,
Как молокой сом,
Пьян вином овинным,
Исхожу стихом.
И в ответ на звуки
Гомонят улов
Осетры и щуки
Пододонных слов.
Мысленные мрежи,
Слуха вертоград,
Глуби Заонежий
Перлами дарят.
Палеостров, Выгу,
Кизи, Соловки
Выплескали в книгу
Радуг черпаки.
Там псаломогорьем
Звон и чаек крик,
И горит над морем
Мой полярный лик.

Ангел простых человеческих дел
В сердце моё жаворонком влетел.
Видит — светёлка, как скатерть, чиста,
Всюду цветут «ноготки» и «уста»,
Труд яснозубый тачает суму —
Слитки беречь рудокопу Уму,
Девушка Совесть вдевает в иглу
Нити стыда и ресничную мглу...
Ткач пренебесный, что сердце потряс,
Полднем солов, ввечеру синеглаз,
Выткал затон, где напевы-киты
Дремлют в пучине до бурь красоты...
Это — Суббота у смертной черты,
Это — Суббота опосле Креста...
Кровью рудеют России уста,
Камень привален, и плачущий Пётр
В ночи всемирной стоит у ворот...
Мы готовим ароматы
Из берёзовой губы,
Чтоб помазать водоскаты
У Марииной избы.
Гробно выбелим убрusy
И с заранкой-снегирём
Пеклеванному Иусу
Алевастры понесём.
Ты уснул, пшеничноликий,

В васильковых пеленах...
Потным платом Вероники
Потянуло от рубах.
Блинный сад благоуханен...
Мы идём через времена,
Чтоб отведать в новой Кане
Огнепального вина.
Вот и пещные ворота,
Где воркует голубь-сон,
И на камне Мать-Суббота
Голубой допряла лён.

1922

Плач о Сергее Есенине

*Младая память моя железом погибнет,
и тонкое моё тело увядает...*

Плач Василька, князя Ростовского

*Мы своё отбояли до срока —
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в отлёт на родине далёкой
Снежный бор звенит своей кольчугой.*

Помяни, чёртушко, Есенина
Кутьёй из углей да из омылок банных!
А в моей квашне пьяно вспенена
Опара для свадеб да игрищ багряных.
А у меня изба новая —
Полати с подзором, божница неугасимая,
Намёл из подлавочья ярого слова я
Тебе, мой совёнок, птаха моя любимая!
Пришёл ты из Рязани платочком бухарским,
Нестираным, неполосканным, немыленным,
Звал мою пазуху улусом татарским,
Зубы табунами, а бороду филином!
Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка,
Слюной крепил мысли, слова слезинками,
Да погасла зарная свеченька, моя лесная
лампадка,
Ушёл ты от меня разбойными тропинками!
Кручинушка была деду лесному,
Трепались по урочищам берестяные седины,
Плакал дымом овинник, а прясла солому
Пускали по ветру, как пух лебединый.

* * *

Из-под кобылей головы, загиблыми мхами
Протянулась окаянная пьяная стёжка.
Следом за твоими лаковыми башмаками
Увязалась поджарая дохлая кошка.
Ни крестом от неё, ни пестом, ни мукой,
Женился ли, умер — она у глотки,
Вот и острупел ты весёлой скукой
В кабацком буруне топить свои лодки!
А всё за грехи, за измену зыбке,

Запечным богам Медосту и Власу.
Тошнёхонько облик кровавый и глыбкий
Заре вышивать по речному атласу!

* * *

Рожоное моё дитяtko, матюжник милый,
Грoбовая доска — всем грехам покрывка,
Прости ты меня, бoрoвa, что кабаньей силой
Не вcпoил я тебя до златого излишка!
Златой же удел — быть пчелой жировой,
Блюсти тайники, медовые срубы.
Да обронил ты хазарскую гривну —
Побратимовo слово,
Целовать лишь ковригу, солнце да цвет голубый.
С тобой бы лечь вo честной грoб,
Во желты пески, да не с верёвкой на шее!..
Быль иль небыль то, что у русских трoп
Вырастают цветы твоих глаз синее?
Тoлькo мне, горюну, — горынь-тpавa...
Oвдовел я без тебя, как печь без помяльца,
Как без Настеньки горенка, где шелки да канва
Караулят пустые, нешитые п્યાльца!

* * *

Ты скажи, моё дитяtko удатное,
Кого ты сполохался-спужался,
Что вo тёмную могилушку собрался?
Старичища ли с бородою
Аль гумённой бабы с метлою,
Старухи ли разварухи,
Суковатой ли вo играх рюхи?
Знать, того ты сробел до смерти,
Что ноне годочки пошли слезовы,
Красны девушки пошли обманны,
Холосты ребята всё бесстыжи!

* * *

Oтцвела моя белая липа в саду,
Oтзвенел соловьиный рассвет над речкой.
Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду
Изведать ятагана с ханской насечкой!
Умереть бы тебе, как Михаилу Тверскому,
Oпочить по-мужицки — до рук борода!..
Не напрасно по брови родимому дому
Нахлобучили кровлю лихие года.
Неспроста у касаток не лепятся гнёзда,

Не играет котёнок весёлым клубком, —
С воза, сноп-недовязок, в пустые борозды
Ты упал, чтобы грудь испытать колесом.
Вот и хрустнули кости... По жёлтому жнивью
Бродит песня-вдовица — ненастью сестра...
Счастливее ёлка, что зимнею синью,
Окутана саваном, ждёт топора.

Разумнее лодка, дырявые груди
Целящая корпией тины и трав...
О жертве вечерней иль новом Иуде
Шумит молочай у дорожных канав?

* * *

Забудет ли пахарь гумно,
Луна — избяное окно,
Медовую кашку — пчела
И белка — кладовку дупла?
Разлюбит ли сердце моё
Лесную любовь и жильё,
Когда, словно ландыш в струи,
Гляделся ты в песни мои?
И слушала бабка-Рязань,
В малиновой шапке Кубань,
Как их дорогое дитя
Запело, о небе грустя.
Напрасно Афон и Саров
Текли половодьем из слов,
И ангел улыбок крылом
Кропил над печальным цветком.
Мой ландыш берёзкой возник,
Берестяный звонок язык,
Сорокой в зелёных кудрях
Уселись удача и страх.
В те годы Московская Русь
Скидала державную гнусь,
И тщетно Иван золотой
Царь-колокол нудил пятой.
Когда же из мглы и цепей
Встал город на страже полей,
Подпаском, с волынкой щегла,
К собрату берёзка пришла.
На гостью учёный набрёл,
Дивился на шитый подол,
Поведал, что пухом Христос
В кунсткамерной банке оброс.

Из всех подворотен шёл гам:
«Иди, песнолика, к нам!».
А стая поджарых газет
Скулила: «Кулацкий поэт!».
Куда ни стучался пастух —
Повсюду урчание брюх,
Всех яростней в огненный мрак
Раскрыл свои двери кабак.

* * *

На полёте летит лебедь белая,
Под крылом несёт хризопраз-камень.
Ты скажи, лебедь пречистая, —
На пролётах-перемётах недосягнутых,
А на тихих всплавах по озёрышкам
Ты поглядкой-выглядом не выглядела ль,
Ясным смотром-зором не высмотрела ль,
Не катилась ли жемчужина по чисту́ полю,
Не плыла ль злат-рыба по тихозаводью,
Не шёл ли бережком добрый молодец,
Он не жал ли к сердцу певуна-травы,
Не давался ли на родимую сторонушку?
Отвечала лебедь умная:
«На небесных перемётах только соколы,
А на тихих всплавах — сиг да окуни,
На матёрой земле медведь сидит,
Медведь сидит, лапой моется,
Своей суженой дожидается.
А я слышала и я видела:
На реке Неве грозный двор стоит,
Он изба на избе, весь железом крыт,
Поперёк дворище — тыща дымников,
А вдоль бежать — коня загнать.
Как на том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятою чёрной матицей,
Молодой детинушка себя сразил.
Он кидал себе кровь поджильную,
Проливал её на дубовый пол.
Как на это ли жито багровое
Налетали птицы нечистые —
Чирея, Грызея, Подкожница,
Напоследки же птица-Удавница.
Возлетала Удавна на матицу,
Распрядала крыло пеньковое,
Опускала перище до земли.
Обернулось перо удавной петлём...

А и стала Удавна петь-напевать,
Зобом горготать, к себе в гости звать:
«На румяной яблоне Голубочек, —
У серебряна ларца Сторожочек.
Кто отворит сторожец,
Тому яхонтов корец!
На осенней ветице Яблок виден,
— Здравствуй, сокол-зятюшка, —
Муж Снафидин!
У Снафиды перстеньки —
На болоте огоньки!
Угоди-ка вежеством,
Сокол, тётце,
Чтобы ластить павушек
В белой роще!
Ты одень на шеюшку
Золотую денежку!».

Тут слетала я с ясна месяца,
Принимала душу убойную
Что ль под правое тёпло крылышко,
Обернулась душа в хризопраз-камень,
А несу я потеряшку на родину
Под окошечко материнское.
Прорастёт хризопраз берёзынькой,
Кучерявой росной, как Сергеюшко.
Сядет матушка под оконницу
С долгой прялицей, с веретёнышком,
Со своей ли сиротской работушкой,
Запоёт она с ниткой наровне
И тонёхонько, и тихохонько:
«Ты гусыня белая,
Что сегодня делала?
Баю-бай, баю-бай,
Ёлка, чёлкой не качай!
Али ткала, али пряла,
Иль гусёныша купала?
Баю-бай, баю-бай,
Жучка, попусту не лай!
На гусёныше пушок,
Тега мальчик-кудряшок —
Баю-бай, баю-бай,
Спит в шубейке горностаи!
Спит берёзка за окном
Голубым купальским сном —
Баю-бай, баю-бай,
Сватал варежки шугай!

Сон берёзовый пригож,
На Серёженькин похож!
Баю-бай, баю-бай,
Как проснётся невзначай!»

* * *

Мой край, моё Поморье,
Где песни в глубине,
Твои лядины, взгорья
Дозорены Егорьем
На лебеде-коне!
Твоя судьба-гагара
Кашеевым яйцом,
С лучиною стожары,
И повитухи-хмары
Склонились над гнездом.
Ты посвети лучиной,
Синебородый дед!
Гнездо шумит осиною,
Ямщицкою кручиной
С метелицей вослед.
За вьюжною кибиткой
Гагар нескор полёт...
Тебе бы сад с калиткой
Да опашень враскидку
У лебединых вод.
Боярышней собольей
Привиделся ты мне,
Но в сорок лет до боли
Глядеть в глаза сокольи
Зазорно в тишине.
Приснился ты белицей —
По бровь холстинный плат,
Но Алконостом-птицей
Иль вещью зегзицей
Не кануть в струнный лад.
Остались только взгорья,
Ковыль да синь-туман,
Меж тем как редкоборьем
Над лебедем-Егорьем
Орлит аэроплан.

УСПОКОЕНИЕ

Падает снег на дорогу —
Белый ромашковый цвет.

Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет?
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет.
Вижу за окнами прялку,
Песенку мама поёт,
С нитью весёлой вповалку
Пухлый мурлыкает кот,
Мышку-вдову за мочалку
Замуж сверчок выдаёт.
Сладко уснуть на лежанке...
Кот — непробудный сосед,
Пусть забубнит впозаранки
Ульем на странника дед,
Сед он, как пень на полянке —
Белый ромашковый цвет.
Только б коснуться покоя,
В сумке — огниво и трут,
Яблоней в розовом зное
Щёки мои расцветут,
Там, где вплетает левкой
В мамины косы уют.
Жизнь — океан многозвонный
Путнику плещет вослед.
Волгу ли, берег ли Роны —
Всё принимает поэт...
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.

1926

Деревня

Будет, будет стократы
Изба с матицей пузатой,
С лежанкой-единорогом,
В углу с урожайным Богом:
У Бога по блину глазища —
И под лавкой грешника сыщёт,
Писан Бог зографом Климом
Киноварью да златным дымом.
Лавицы — сидеть Святогорам,
Кот с потёмным дозором,
В шелому, чтоб роились звёзды...
Вот они, отчие борозды, —
Посеешь усатое жито,
А вырастет песен сыта!

На обраду баба с пузаном —
Не укрыть извозным кафтаном,
Полгода, а с тёлку весом.
За оконцами тучи с лесом,
Всё кондовым да заруделым...
Будет, будет русское дело —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметёт мужик бороною!
Нам любви Бухары, Алтай —
Не тесно в родимом крае,
Шумит Куликово поле
Ковыльной залётной долей.
По Волге, по ясной Оби,
На всяком лазе, сугробе
Рубили мы избы, детинцы,
Чтоб ели внуки гостинцы,
Чтоб девки гуляли в бусах
Не в чужих косоглазых улусах!
Ах, девки, — калина с малиной,
Хороши вы за прялкой с лучиной,
Когда вихорь синебородый
Заметаёт пути и броды!
Вон Полоцкая Ефросинья,
Ярославна — зегзица с Путивля,

Евдокию — Донского ладу —
Узнаю по тихому взгляду!
Ах, парни, — Буслаевы Васьки —
Жильцы из разбойной сказки,
Всё лететь бы голю на буяны
Добывать золотые кафтаны!
Эво, как схож с Коловратом,
Кучерявый, плечо с накатом,
Видно, у матери груди —
Ковши на серебряном блюде!
Ах, матери, — трудницы наши —
В лапотцах, а яблони краше,
На каждой, как тихий привет,
Почил немерцающий свет!
Ах, деды, — овинов владыки,
Ржаные, ячменные лики,
Глядишь и не знаешь — сыр-бор
Иль лунный в седилах дозор?!
Ты, Рассея, Рассея-матка,
Чаровая, заклятая кадка!
Что там, кровь или жемчуга,
Иль лысого чёрта рога?
Рогатиной иль каноном
Открыть наговорный чан?..
Мы расстались с Саровским звоном
Утолением плача и ран.
Мы новгородскому Никите
Оголили грухлявый срам, —
Отчего же на белой раките
Не поют щеглы по утрам?
Мы тонули в крови до пуза,
В огонь бросали детей, —
Отчего же небесный кузов
На лучи и зори скупей?
Маета как змея одолела,
Голову бы под топор..
И Сибирь, и земля Карела
Чутко слушают вьюжный хор.
А вьюга скрипит заслонкой,
Чернит сажей горшки..
Знаем, бешеной самогонкой
Не насытит волчьей тоски!
Ты, Рассея, Рассея-матка,
На мирской смилосердись гам:
С жемчугами иль с кровью кадка,
Окаянным поведай нам!

На деревню привезен трактор —
Морж в людское жильё.
В волсовете баяли: «Фактор,
Что машина... Она тоё...».
У завалин молчали бабы,
Детвору окутала сонь,
Как в поле межою рябой
Железный двинулся конь.
Желть-пески, расступитесь,
Прошуми напоследках, полынь!
Полюбил стальногрудый витязь
Полевую плакучую синь!
Только видел рыбак Кондратий,
Как, прибрежем, не глядя назад,
Утопиться в окуньей гати
Бежали берёзки в ряд.
За ними с пригорка ёлки
Раздрали ноженьки в кровь...
От ковриг надломятся полки,
Как взойдёт железная новь.
Только ласточки по сараям
Разбили гнёзда в куски...
Видно, к хлебушку с новым раем
Посошку пути не легки!
Ой ты, каша да щи с мозгами, —
Каргопольской ложке родня!
Черноземье с сибиряками
В пупыре захотело огня!
Лучина отплакала смолю,
Ендова показала течь,
И на гостя с тупою болью
Дымоходом воззрилась печь.
А гость, как оса в сетчатке,
В стекольчатом пузыре...
Теперь бы книжку Васятке
О Ленине и о царе.
И Вася читает книжку,
Синеглазый, как василёк.
Пятясь, охая, на сынишку
Избяной дивится Восток.
У прялки сломило шейку,
Разбранились с бёрдами льны,
В низколобую коробейку
Улеглись загадки и сны.
Как белица, платок по брови,
Туда, где лесная мгла,

От полавочных изголовий
Неслышно сказка ушла.
Домовые, нежити, мавки —
Только сор, заскорузлый прах...
Глядь, и дед улёгся на лавке
Со свечечкой в жёлтых перстах.
А гость, как оса в сетчатке,
Зенков не смежит на миг..
Начитаются всласть Васятки
Голубых задумчивых книг.
Ты, Рассея, Рассея-тёща,
Насолила ты лихо во щи,
Намаслила кровушкой кашу —
Насытишь утробу нашу!
Мы сыты, мать, до печёнок,
Душа — степной жеребёнок
Копытом бьёт о грудину, —
Дескать, выпусти на долину,
К резедовым лугам, водопою...
Мы не знаем ныне покою, —
Маета-змея одолела
Без сохи, без милого дела,
Без сусальной в углу Пирогощей.
Ты, Рассея, — лихая тёща!..
Только будут, будут стократы
На Дону вишневые хаты,
По Сибири лодки из кедра,
Олончане песнями щедры,
Только б месяц, рядясь в дымы,
На реке бродил по налимы,
Да черёмуху в белой шали
Вечера, как девку, ласкали!

1926

Погорельщина

Наша деревня — Сиговый Лоб
Стоит у лесных и озёрных троп,
Где губы морские, олень да остяк,
На тысячу вёрст ягелевый желтяк.
Сиговец же — ярь и сосновая зель,
Где слушают зори медвежью свирель,
Как рыба чешуйка, свирель та легка,
Баюкает сказку и сны рыбака.
За неводом сон — лебединый затон,
Там яйца в пуху и кувшинковый звон,
Лосиная шерсть у совихи в дупле,
Туда-то плыву я на певчем весле!
Порато баско весной в Сиговце,
По белым избам на рыбьем солнце!
А рыбе солнце — налимя майка,
Его заманит в чулан хозяйка,
Лишь дверью стукнет — оно на прялке
И с веретёнцем играет в салки.
Арина-баба на пряжу дюжа,
Соткёт из солнца порты для мужа,
По ткани свёкор, чтоб песне длиться,
Доской резною набьёт копытца,
Опосле репки, следцы гагарьи...
Набойки хватит Олёхе, Дарье,
На новоселье и на поминки...
У наших девок пестры ширинки,
У Степаниды, весёлой Насти
В коклюшках кони живых брыкастей,
Золотогривы, огнекопытны,
Пьют дым плетёный и зоблют ситный.
У Прони скатерть синей Онега —
По зыби едет луны телега,
Кит-рыба плещет, и яро в нём
Пророк Иона грозит крестом.
Резчик Олёха — лесное чудо,
Глаза — два гуся, надгубье рудо,
Повысек птицу с лицом девичьим,
Уста закляты потайным кличем.
Когда Олёха тесал долотцем
Сосцы у птицы, прошёл Сиговцем
Медведь матёрый — на шее гривна,

В зубах же книга, злата и дивна.
Заполовели у древа щёки,
И голос хлябкий, как плеск осоки,
Резчик учуял: «Я — Алконост,
Из глаз гусиных напыюся слёз!».
Иконник Павел — насельник давний
Из Мстер великих, отец Дубравне,
Так кличет радость язык рыбачий...
У Павла ощупь и глаз нерпячий —
Как нерпе — сельди во мгле солёной,
Так духовидцу обряд иконный.
Бакан и умбра, лазорь с синелью
Сорочьей лапкой цветут под елью,
Червлец, зарянку, огонь купинный
По косогорам прядут рябины.
Доска от сердца сосны кондовой —
Иконописцу как сот медовый,
Кадит фиалкой, и дух лесной
В сосновых жилах гудит пчелой.

Явление Иконы — прилёт журавля, —
Едва прозвенит жаворонком земля,
Смиренному Павлу в персты и в зрачки
Слетятся с павлинами радуг полки,
Чтоб в роще ресниц, в лукоморьях ногтей
Повывесть птенцов — голубых лебедей, —
Их плески и трубы с лазурным пером
Слывут по Сиговцу «доличным письмом».
«Виденье Лица» богомазы берут
То с хвойных потёмок, где теплится трут,
То с глуби озёр, где ткачиха-луна
За кросном янтарным грустит у окна.
Егорию с селезня пишется конь,
Миколе — с крещатого клёна фелонь,
Успение — с пёрышек горлиц в дупле,
Когда молотьба и покой на селе.
Распятие — с редьки: как гвозди креста,
Так речечный сок опалает уста.
Но краше и трепетней зографу зреть
На птичьих загонах гусиную сеть,
Лукавые мерды и петли ремней
Для тысячи белых кувшинковых шей.
То образ Суда, и метелица крыл —
Тень мира сего от сосцов до могил.
Студёная Кола, Поволжье и Дон
Тверды не железом, а воском икон.

Гончарное дело прехитро зело,
Им славятся Вятка, Опошня-село;
Цветёт Украина румяным горшком,
А Вятка — кунганом, ребячьим коньком.
Сиговец же Андому знает реку,
Там в крынках кукушка — ку-ку да ку-ку,
Журавль-рукомойник — курлы да курлы,
И по сту годов доможирят котлы...
Сиговому Лбу похвала — Силивёрст,
Он вылепил Спаса на Лопский погост,
Украсил сурьмой и в печище обжёт,
Суров и прекрасен глазуревый Бог.
На Лопский погост (лопари, а не чудь)
Укажут куницы да рябчики путь;
Не ешь лососины, и с бабой не спи,
Берестяный пестер молитв накопи,
Волвянок-Варвар, Богородиц-груздей,
Пройдут в синих саванах девять ночей,
Десятые звёзды пойдут на потух,
И Лопский погост — многоглавый петух —
На кедровом гребне воздынет кресты:
Есть Спасову печень сподобишься ты.
О русская сладость — разбойника вопь —
Идти к красоте через дебри и топь
И пестер болячек, заноз, волдырей
Со стоном свалить у Христовых лаптей!
О мёд нестерпимый — колодовый гроб,
Где лебеда сон — изголовьице сноп,
Под крылышком грамота: «Чадца мои,
Не ешьте себя ни в ночи, ни во дни!».

* * *

Порато баско зимой в Сиговце!
Снега — как шапка на устьсысольце,
Леса — тулупы, предлесья — ноги,
Где пар медвежий да лосьи логи,
По шапке вьются пути-сузёмки,
По ним лишь думу нести в котомке
От мхов оленьих до кипарисов...
Отец «Ответов» Андрей Денисов
И трость живая — Иван Филиппов
Сузёмок пили, как пчёлы — липы.
Их чёрным мёдом пьяны доселе
По холмогорским лугам свирели,
По сизой Выге, по Енисею
Седые кедры их дыхом веют...

Но вспять сказанье! Зимой в Сиговце
Помор за сетью, ткея за донцем,
Петух на жёрдке дозорит беса,
И снежный ангел кадит у леса.
То киноварный, то можжевельный,
Лучась в потёмках свечой радельной.
И длится сказка... Часы иль годы?
Могучей жизни цветисты всходы.
За бородищей незрим Васятка,
Сегодня в зыбке, а завтра — нать-ка! —
Кудрявый парень, берёста — зубы,
Плечистым дядям племянник любый!
Изба — криница без дна и выси,
Семью питает сосцами рыси.
Поёт ли бахарь, орда ли мчится,
Звериным пойлом полна криница.
Извечно мерно скрипит черпуга,
Душа кукует иль ноет вьюга,
Но сладко, сладко к сосцам родимым
Припасть и плакать по долгим зимам!
Не белы снеги да сугробы
Замели пути до зазнобы,
Ни проехать, ни пройти по просёлку
Во Настасьину хрустальную светёлку!
Как у Настеньки женихов
Было сорок сороков,
У Романовны сарафанов —
Сколько у моря туманов!..
Виноградье моё со калиною,
Выпускай из рукава стаю лебединую!
Уж как лебеди на Дунай-реке,
А свет-Настенька на белой доске,
Не оструганной, не отёсанной,
Наготу свою застит косами!
Виноградье моё, виноградьице,
Где зазнобино цветно платьице?
Цветно платьице с аксамитами
Ковылём шумит под ракетами!
На раките зозулит зозуля:
«Как при батыре-есауле...».
Ты, зозуля, не щемь печёнки
У гнусавой каторжной девчонки!
Я без чести, без креста, без мамы,
В Звенигороде иль у Камы
Напилась с поганого копытца.
Мне во злат шатёр не воротиться!

Ни при батыре-есауле,
Ни по осени, ни в июле,
Ни на Мезени, ни в Коломне,
А и где, с опитухи не помню,
А звалася свет-Анастасией!..
Вот так песня, словеса лихие,
Кто пропел её в голубый вечер
На дремотном веретённом вече?!
И сказал Олёха: «Это ели
Стать смолистым срубом захотели,
Или сосны у лесной часовни
Запряглись в ледяные дровни,
Чтоб бежать от самоедской стужи,
Заглядеться в водопой верблюжий!».
«Нет, — сказала кружевница Проня, —
Это кони в петельной погоне
Расплескали бубенцы в коклюшках,
Или в рукомойнике кукушка
Нагадала свадьбу Дорофею!»
«Знать, прогукал филин к снеговею, —
Молвил свёкор, — или гусь с набойки
Посулил леща глазастой сойке!»
Силивёрст пробаял: «То в гончарной
Стало рябому котлу угарно,
Он и стонет, прасол нетверёзый!..
Светлый Павел, утирая слёзы,
Обронил из уст словесный бисер:
«Чадца, теля не от нашей рыси,
Стала ялова праматерь на удои,
Завывают избы волчьим воем,
И с иконы ускакал Егорий —
На божнице змий да сине море!..
Неусыпающую в молитвах Богородицу
Кличьте, детушки, за застолицу!
«Обрадованное Небо —
К Тебе озёра с потребой!
Сладкое Лобзание —
До Тебя их рыдание!
Неопалимая Купина —
В чём народная вина?
Утоли Моя Печали —
Стань берёзкой на протале!
Умягчение Злых Сердец —
Сядь за тёплый колобец!
Споручница Грешных —
Спаси от мук кромешных!»

Гляньте, детушки, на стол —
Он стоит чумаз и гол;
Нету Богородицы
У пустой застолицы!
Вы покличьте-ка, домочадцы,
На Сиговец к студёному долу
Парусов и рыбаей братца,
Святителя тёплого — Миколу!
Он, кормилец, в ризе сермяжной,
Ради песни младеня в зыбке,
Откушает некуражно
Янтарной ухи да рыбки!
«Парусов погонщик Миколае,
Объявился змий в родимом крае,
Вороти Егорья на икону —
Избяного рая оборону!
Красной ложкой похлебай ущицы,
Мы тебе подарим рукавицы
И на ноженьки оленьи пимы...
Свете Тихий, Свет Незаходимый!
Русский сад — мужики да бабы,
От Норвеги и до смуглой Лабы
Принесём тебе морошки, яблоч...
Ты воспой, наш сладковейный зяблик!
Правило веры и образ кротости,
Не забудь соборной волости:
В зимы у нас баско —
Деды бают сказки,
Как потёмок скрыни,
Сарафаны сини,
Шубы долгоклинны,
Лестовицы чинны!
По моленным нашим
Чирин да Парамшин,
И персты Рублёва —
Словно цвет вербовый!
По зелёным вёснам
Прилетает к соснам
На отцов могилы
Сирин песнокрылый.
Он, что юный розан,
По Сиговцу прозван
Братцем виноградным,
В горестях усладным!
Ти-ли, ти-ли-ли —
Плывут корабли —

Голубые паруса
Напрямки во небеса.
У реки животной
Берег позолотный,
Воды-маргариты
Праведным открыты.
Кто во гробик ляжет
Бледной, лунной пряжей,
Тот спрядётся Богом
Радости залогом!
Гробик, ты мой гробик,
Вековечный домик,
А песок желтяный —
Суженый, желанный!»
Гляньте, детушки, на стол —
Змий хвостом ущицу смёл!..
Адский пламень по углам—
Не пришёл Микола к нам!
Увы, увы, раю прекрасный!..
Февраль рассыпал бисер рясный,
Когда в Сиговец, златно-бел,
Двуликий Сирин прилетел.
Он сел на кедровой вершине,
Она заплакана поныне,
И долго-долго озирает
Лесов дремучий перевал.
Истаевая, сладко он воспел:
«Кирие елейсон!».
Напружилось лесное недро,
И, как на блюде, вместе с кедром
В сапфир, черёмуху и лён
Певец чудесный вознесён.
В тот год уснул навеки Павел,
Он сердце в краски переплавил
И написал икону нам:
Тысячестолпный дивный храм,
И на престоле из смарагда,
Как гроздь в точиле винограда,
Усекновенная глава.
Вдали же никлые берёзы
И журавлиные обозы,
Ромашка и плакун-трава.
Ещё не гукала сова,
И тетерев по талой зорьке
Клевал пестрец да ягель горький,
Ещё медведь на водопое

Гляделся в зеркальце лесное
И прихорашивался втай—
Стоял лопарский сизый май,
Когда на рыбьем перегоне
В лучах озёрных, легче соний,
Как в чаше запоны опал,
Олёха старцев увидал.
Их было двое, светлых братьий,
Один — Зосим, другой — Савватий,
В перстах золотые кацеи...
Стал огнен парус у ладьи
И невода многоочиты,
Когда, сиянием повиты,
В неё вошли озёр Отцы:
«Мы покидаем Соловцы,
О, человеке Алексие!
Вези нас в горную Россию,
Где Богородица и Спас
Чертог украсили для нас!».
Не стало резчика Олёхи...
Едва забрезжили сполохи,
Пошла гагара наутёк,
Заржал в коклюшках горбунок,
Как будто годовалый волк
Прокрался в лён и нежный шёлк.
Лампадка теплилась в светёлке,
И за мудрёною иглой
Приснился Проне смертный сон:
Сиговец змием полонён,
И нет подойника, ушата,
Где б не гнездились змеята.
На бабьих шеях, люто злы,
Шипят змеиные узлы,
Повсюду посвисты и жала,
И на погосте кровью алой
Заплакал глиняный Христос...
Отколе взялся Алконост,
Что хитро вырезан Алёшей?
«Я за тобою по пороше!
Летим, сестрица, налегке
К льняной и шёлковой реке!»
Не стало кружевницы Прони...
С коклюшек ускакали кони,
Лишь златогривый горбунок
За печкой выискал клубок,
Его брыкает в сутемёнки...

А в горенке по самогонке
Тальянка гиблая орёт —
Хозяев новых обиход.
Степенный свёкор с Силивёрстом
Срубили келью за погостом.
Где храм о двадцати главах,
В нём Спас в глазуревых лаптях.
Который месяц точит глина,
Как иней ягодный — крушина,
Из голубой поливы глаз
Кровавый бисер и топаз,
Чудно, болезно мужичью
За жизнь суровую свою,
Как землянику в кузовок,
Сбирать слезинки с Божьих щёк!
Так жили братья. Всякий день,
Едва раскинет сутемень
Свой чум у таежных полян,
В лесную келью сквозь туман
Сорока грамотку носила.
Была она четверокрыла,
И, полюбив налимые сало,
У свёкра в бороде искала.
Уж не один полёт воочью
Сильвёрст за пазухой сорочьей
Худые вести находил,
Писал их столпник, старец Нил.
Он на побережии Онега
Построил столп из льда и снега,
Покрыл его дерном, берестой,
И тридцать лет стоит невестой
Пустынных чаек, облаков
И серых беличьих лесов...
Их немота родила были,
Что белки столпника кормили.
Он, по-мирскому — стольный князь,
Как чешуёй озёрный язь,
Так ослеплял служилым златом
Любимец царские палаты.
Но сгибло всё; Нил на столпе —
Свеча на таежной тропе,
В своё дупло, как хризопраз,
Его укрыл звериный Спас!
Однажды птица прилетела
Понурую, отяжелелой
И не клевала творожку.

Сильвѣрст желанную строку
У ней под крылышком сыскал.
«Готовьтесь к смерти», — Нил писал.
Ударили в било поспешно...
И, как опалый цвет черешни,
На новоселье двух смертей
Слетелись выводки гусей;
Тетерева и куропатки,
Свистя крылами, без оглядки
На звон завихрились из пуц...
И молвил свѣкор: «Всемогущ,
Кто плачет кровию за тварь!
Отменно знатной будет гарь;
Недаром лоси ломают роги,
Медведи, кинувши берлоги,
С котятками рябая рысь
Вкруг нашей церкви собрались...
Простите, детушки, убогих!
Мы в невозвратные дороги
Одели новое рядно...
Глядят в небесное окно
На нас Аввакум, Феодосий...
Мы вас, болезные, не бросим,
С доукою пойдѣм ко Власу,
Чтоб дал лебѣдушкам атласу,
А рыси — выбойки рябой!..
Живите ладно меж собой.
Вы, лоси, не бодайтесь больно,
Медведихе — княгине стольной —
От нас в особицу поклон,
Ей на помин овса суслон,
Стоит он, миленький, в сторонке...
Тетѣркам пѣстрым по иконке —
На них кровоточивый Спас,
Пускай помолятся за нас!..
«Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко», —
Воспела в горести великой
На человечьем языке
Вся тварь вблизи и вдалеке.
Когда же церковь-купина
Запыхала до вершины,
Настала в дебрях тишина
И затаили плеск осины.
Но вот разверзлись купола,
И въявь из маковицы главной
На облак белизны купавной

Честная двоица взошла,
За нею трудница-сорока
С хвостом лазоревым, в тороках...
Все трое метятся писцом
Горящей птицей и крестом.
Не стало деда с Силивёрстом...
С зарёй над сгибнувшим погостом,
Рыдая, солнышко взошло
И по надречью, по-над логом,
Оленем сивым, хромоногим
Заковыляло на село.
Несло валежником от суши,
Глухою хмарой от болот...
По горенкам и повалушам
Слонялся человечесий сброд.
И на лугу перед моленной,
Сияя славою нетленной,
Икон горящая скирда:
В окне Мокробородый Спас,
Успение, коровий Влас...
Се предреченная звезда,
Что в карих сумерках всегда
Кукушкой окликала нас!
Да молчит всякая плоть человека...
Уснул, аки лев, Великий Сиг!
Икон же души, с поля свечи,
Как белый гречневый посев,
И видимы на долгий миг,
Вздымались в горнюю Софию...
Нерукотворную Россию
Я, песнописец Николай,
Свидетельствую, братья, вам.
В сороковой полесный май,
Когда линяет пёстрый дятел
И лось рога на скид отпятил,
Я шёл по Унженским горам...
Плескали лососи в потоках,
И меткой лапою с наскока
Ловила выдра лососят.
Был яр, одушевлён закат,
Когда безвестный перевал
Передо мной китом взыграл.
Прибоем пихт и пеной кедров
Кипели плоскогорий недра,
И ветер, как крыло орла,
Студил мне грудь и жар чела.

Оледенелыми губами
Над росомашьими тропами
Я бормотал: «Святая Русь,
Тебе и каторжной молюсь!..
Ау, мой ангел пестрядинный,
Явися хоть на миг единый!».
И — чудо! Прыснули глаза
С козиц моих, как бирюза,
Потом, как горные медведи,
Сошлись у врат из тяжкой меди.
И постучался левый глаз,
Как носом в лужицу бекас, —
Стена осталась безответной.
И око правое — медведь —
Сломало челюсти о медь,
Но не откликнулась веревка,
Лишь страж, кольчугой пламенея,
Сиял на башне самоцветной.
Сластолюбивый мой язык,
Покинув рта глухие пади,
Веприцей ринулся к ограде,
Но у столпов, рыча, поник.
С нашеста рёбер в свой черёд
Вспорхнуло сердце — голубь рябый,
Чтобы с воздушного ухаба
Разбиться о сапфирный свод.
Как прыснуть векше — голубок
В крови у медного порога!..
И растворились на восток
Врата запретного чертога.
Из мрака всплыли острова,
В девичьих бусах заозерья,
С морозным Устюгом Москва,
Валдай — ямщик в павлиньих перьях,
Звенигород, где на стенах
Клюют пшено струфокамилы,
И Вологда, вся в кружевах,
С Переяславлем белокрылым.
За ними Новгород и Псков —
Зятя в кафтанах атласных,
Два лебедя на водах ясных —
С седою Ладогой Ростов.
Изба резная — Кострома,
И Киев — тур золоторогий —
На цареградские дороги
Глядит с Перунова холма!

Упав лицом в кремни и гальки,
Заплакал я, как плачут чайки
Перед отплытием корабля:
«Моя родимая земля,
Не сетуй горько о невере,
Я затворюсь в глухой пещере,
Отрощу бороду до рук,
Узнает изумлённый внук,
Что дед недаром клад копил
И короб песенный зарыл,
Когда дуванили дуван!..».
Но прошлое — как синь-туман:
Не мыслит вешний жаворонок,
Как мертвен снег и ветер звонок.
Се предреченная звезда,
Что тёмным бором иногда
Совою окликала нас!..
Грызёт лесной иконостас
Октябрь — поджарая волчица,
Тоскуют печи по ковригам,
И шарит оторопь по ригам
Щепоть кормилицы-мучицы.
Ушли из озера налимы,
Поедены гужи и пимы,
Кора и кожа с хомутов,
Не насыщая животов.
Покойной Прони в руку сон!
Сиговец змием полонён,
И синеглазого Васятку
Напередки посолили в кадку.
Ах синепёрый селезень!..
Чирикал воробьями день,
Когда, как по грибной дозор,
Малютку кликнули на двор.
За кус говядины с печёнкой
Сосед освеживал мальчонку
И серой солью посолил
Вдоль птичьих рёбрышек и жил.
Старуха же с бревна под балкой
Замыла кровушку мочалкой.
Опосле, как лиса в капкане,
Излилась лаем на чулане.
И страшен был старуший лай,
Похожий то на баю-бай,
То на сорочье стрекотанье.
О полночь бабкино страданье

Взошло над бедною избой
Васяткиною головой.
Стеклися мужики и бабы:
«Да, те ж вихры и носик рябый!».
И вдруг за гиблую вину
Громада взвыла на луну.
Завыл Парфён, худой Егорка,
Им на обглоданных задворках
Откликнулся матёрый волк...
И народился тёмный толк —
Старух и баб-сорокалеток
Захоронить живьём в подклеток
С обрядой, с жалкой плачеёй
И с тёплой мирской свечой
Над ними избу запалить,
Чтоб не досталось волку в сыть!

* * *

Так погибал Великий Сиг
Заставкою из древних книг,
Где Стратилатом на коне
Душа России, вся в огне,
Летит ко граду, чьи врата
Под знаком чаши и креста!
Иная видится заставка —
В светлице девушка-чернавка
Змею под створчатым окном
Своим питает молоком:
Горыныч с запада ползёт
По горбылям железных вод!
И третья восстаёт малюнка:
Меж колок золотая струнка,
В лазури солнце и луна
Внимают, как поёт струна.
Меж ними костромской мужик
Дивится на звериный лик,
Им, как усладой, манит бес
Митяя в непролазный лес!
Так погибал Великий Сиг,
Сдирая чешую и плавни!..
Год девятнадцатый, недавний,
Но горше каторжных вериг!
Ах, пусть полголовы обрито,
Прикован к тачке рыбогон,
Лишь только бы, шелками шиты,
Дремали сосны у окон,

Да родина нас оевала
Черёмуховым крылом,
Дымился ужин рыбьим салом,
И ночь пушистым глухарём
Слетала с крашенных полатей
На осьмерых кудрявых братий,
На становитых зятевей,
Золовок, внуков-голубей,
На плешь берестяную деда
И на мурлыку-тайноведа...
Он знает, что в тяжёлой скрыне,
Сладимым родником в пустыне,
Бьют матери тепло и ласки...
Родная, не твои ль салазки,
В крови, изгрызены пургой,
Лежат под Чёртовой Горой?!
Загибла тройка удалая,
С уздой татарская шлея,
И бубенцы — дары Валдая,
Дуга моздокская лихая —
Утеха светлая твоя!
«Твоя краса меня сгубила, —
Певал касимовский ямщик, —
Пусть одинокая могила
В степи ненастной и унылой
Сокроет ненаглядный лик!»
Калужской старою дорогой,
В глухих олонецких лесах
Сложилось тайн и песен много
От сахалинского острога
До звёзд в глубоких небесах.
Но не было напева краше
Твоих метельных бубенцов!..
Пахнуло молодостью нашей,
Крещенским вечером с Парашей
От ярославских милых слов!
Ах, неспроста душа в ознобе,
Матёрой стаи чуя вой!
Не ты ли, Пашенька, в сугробе,
Как в неотпетом белом гробе,
Лежишь под Чёртовой Горой?
Разбиты писанные сани,
Издых ретивый коренник,
И только ворон на заране,
Ширяя клювом в мёртвой ране,
Гнусавый испускает крик!

Лишь бубенцы — дары Валдая —
Не устают в пурговом сне
Рыдать о солнце, птичьей стае
И о черёмуховом мае
В родной далёкой стороне!

* * *

Кто вы — лопарские пимы
На асфальтовой мостовой?
«Мы сосновые херувимы,
Слетели в камень и дымы
От синих озёр и хвои.
Поведайте, добрые люди,
Жалея лесной народ,
Здесь ли, с главой на блюде,
Хлебая железный студень,
Иродова дочь живёт?
До неё мы в кошеле рысьем
Мирской гостинец несём —
Спаса рублёвских писем,
Ему молился Анисим
Сорок лет в затворе лесном!
Чай, перед Светлым Спасом
Блудница не устоит,
Пожалует нас атласом,
Архангельским тарантасом,
Пузатым, как рыба-кит!
Да ещё мы ладим гостинец —
Птицу-песню пером в зарю,
Чтобы русских высоких крылец,
Как околиц да позатылиц,
Не минуть и богатырю!
Чай, на песню Иродиада
Склонит милостиво сосцы,
Поднесёт нам с перлами ладан,
А из вымени винограда
Даст удой вина в погребцы!»
Выла улица каменным воем,
Глотая двуногие пальто:
«Оставьте нас, пожалста, в покое!..»
«Такого треста здесь не знает никто!..»
«Граждане херувимы, прикажите авто?!
«Позвольте, я актив из КИМа!..»
«Это экспонаты из губздрава!..»
«Мильционер, поймали херувима!..»
«Реклама на тёплые джимы?..»

«А!.. Да!.. Вот... Так, право!!!» —
А из вымени винограда
Даст удой вина в погребцы!!!

Это последняя Лада,
Купава из русского сада,
Замирающих строк бубенцы!
Это последняя липа
С песенным сладким дуплом;
Знаю, что слышатся хрипы,
Дрожь и тяжёлые всхлипы
Под милым когда-то пером!
Знаю, что вечной весною
Веет берёзы душа,
Но борода с сединою,
Молодость с песней иною
Слёзного стоят гроша!
Вы же, кого я обидел
Крепкой кириллицей слов,
Как на моей панихиде
Слушайте повесть о Лидде,
Городе белых цветов!
Как на славном Индийском помории,
При ласковом князе Онории
Воды были тихие, стерляжие,
Расстилались шёлковою пряжею.
Берега — всё ониксы с лалами,
Кутались бухарскими шальями,
Ещё пухом чаиц с гагарятами,
Тафтяными лёгкими закатами.
Кедры-ливаны семерым в обойм,
Чудно вышиты паруса у сойм,
Гнали паруса гуси махами,
Селезни с чирятами-кряками.
Солнышко в снастях бородой трясло,
Месяц кормовое прямил весло,
Серебряным салом смазывал —
Поморянам пути указывал.
Срубил князь Онорий Лидду-град
На синих лугах меж белых стад.
Стена у города кипарисова,
Врата же из скатного бисера.
Избы во Лидде — яхонты,
Не знают мужики туги-пахоты.
Любовал Онорий высь нагорную
Повыстроить церковь соборную.

Тесали каменья брусьями,
Узорили налeпaми дa бусaми,
Лемехом свинчатым крыли кровлищa,
Закомары, лазы, переходищa.
Маковки, кресты басменили,
Арабской синелью синелили,
На вратах чеканили Митрия,
На столпе писали Одигитрию.
Чаицы, гагары встрепыхалися,
На морское дно опускалися,
Доставали жемчугу с искрицей —
На высокий кокошник Владычице.
А и всем пригоже у Онория
На славном Индийском поморий.
Только нету в лугах мала цветика,
Колокольчика, курослепика,
По лядинам ушка медвежьего,
Кашки, ландыша белоснежного.
В садах не алело розана,
«Цветником» только книга прозвана.
Закручинилась Лидда стольная:
«Сиротинка я подневольная!
Не гулять сироте по цветикам,
По лазоревым курослепикам,
На Купалу мне не завить венка,
Средь пустых лугов протекут века...
Ой, верба, верба, где ты сросла?
Твои листыньки вода снесла!..».
Откуль взялась орда на выгоне —
Обложили град сарациняне.
Приужахнулся Онорий с горожанами,
С тихими стадами да полянами:
«Ты, Владычица Одигитрия,
На помогу нам вышли Митрия,
На нём ратная сбруна чеканена,
Одолеет он половчанина!».
Прослезилася Богородица:
«К Моему столпу мчится конница!..
Заградили Меня целой сотнею,
Раздирают хламиду золотную
И высокий кокошник со искрицей...
Рубят саблями лик Владычице!!!».
Сорок дней и ночей сарациняне
Столп рубили, пылили на выгоне,
Краски, киноварь с Богородицы
Прахом веяли у околицы.
Только лик пригож и под саблями,
Горемычными слёзками бабьими,

Бровью волжскою синеватою
Да улыбкою, скорбно сжатою.
А где сеяли сита разбойные
Живописные вапы иконные,
До колен и по оси тележные
Вырастали цветы белоснежные.
Стала Лидда, как чайка, белёшенька,
Сарацинами мглился дороженька,
Их могилы цветы приукрасили
На Онорья святых да Протасия!
Лидда с храмом белым,
Страстотерпным телом,
Не войти в тебя!
С кровью на ланитах
Сгибнувших, убитых
Не исцель, любя.
Только нежный розан,
Из слезинок создан,
На твоей груди.
Бровью синеватой
Да улыбкой сжатой
Гибель упреди!
Радонеж, Самара,
Пьяная гитара
Свились в одно...
Мы на четвереньках,
Нам мычать да тренькать
В мутное окно!
За окном рябина,
Словно мать без сына,
Тянет рук сучьё,
И скулит трезором
Мглица под забором —
Тёмное зверьё.
Где ты, город-розан,
Волжская берёза,
Лебединый крик
И, ордой иссечен,
Осиянно вечен,
Материнский Лик?!
Цветик мой дитячий,
Над тобой поплачет
Темень да трезор.
Может, им под тыном
И пахнёт жасмином
От Саронских гор!

1928

Песнь о великой матери

Эти гусли — глубь Онега,
Плеск волны палеостровской,
В час, как лунная телега
С грузом жемчуга и воска
Проезжает зыбью лоской,
И томит лесная нега
Ель с карельскою берёзкой.
Эти притчи — в день Купалы
Звон на Кижях многоглавых,
Где в горящих покрывалах,
В заревых и рыбьих славах
Плещут ангелы крылами.
Эти тайны парусами
Убаюкивал шелонник.
В келье кожаный Часовник,
Как совят в дупле смолистом,
Их кормил душистой взяткой
От берестяной лампадки
Перед Образом Пречистым.
Эти вести — рыба стая,
Что плывёт, резвясь, играя,
Лосось с Ваги, язь из Водлы,
Лещ с Мегры, где ставят мёрды,
Бок изодран в лютой драке
За лазурную плотицу,
Но испить до дна не всякий
Может глыбкую страницу.
Кто пречист и слухом золот,
Злым безверьем не расколот,
Как берёза острым клином,
И кто жребием единым
Связан с родиной-вдовицей,
Тот слезами на странице
Выжжет крест неопалимый
И, таинственно водимый
По тропинкам междустрочий,
Красоте заглянет в очи
Светлой девушке с Поморья.
Броженица ли воронья —
На снегу вороньи лапки
Или трав лесных охапки,

На песке реки таёжной
След от крохотных лапотцев —
Хитрый волок соболиный,
Нудят сердце болью нежной,
Как слюду в резном оконце,
Разузорить стих сурьюмою,
Команикой и малиной,
Чтоб под крышкой гробовою
Улыбнулись дед и мама,
Что возлюбленное чадо,
Лебедёнок их рожонный,
Из железного полона
Чёрных истин, злого срама
Светит тихою лампадой, —
Светит их крестам, криницам,
Домовищам и колодам!..
Нет прекраснее народа,
У которого в глазницах,
Бороздя раздумий воды,
Лебедей плывёт станица!
Нет премудрее народа,
У которого межбровье —
Голубых лосей зимовье,
Бор незнаемый кедровый,
Где надменным нет прохода
В наговорный терем слова! —
Человеческого рода,
Струн и крыльев там истоки...
Но допрядены, знать, сроки,
Все пророчества сбылися,
И у русского народа
Меж бровей не прыщут рыси!
Ах, обожжен лик иконный
Гарью адских перепутий,
И славянских глаз затоны
Лось волшебный не замутит!
Ах, заколот вещей лебедь
На обед вороньей стае,
И хвостом ослиным в небе
Дьявол звёзды выметает!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

* * *

А жили по звёздам, где Белое море,
В ладонях избы, на лесном косогоре.
В бору же кукушка, всех сказок залог,
Серебряным клювом клевала горох.
Олень изумрудный с крестом меж рогов
Пил кедровый сбитень и марево мхов,
И матка сорочья — сорока сорок
Крылом раздувала заклятый грудок.
То плящий костёр из глазастых перстней
С бурмитским зерном, чтоб жилось веселей.
Чтоб в нижнем селе пахло сытой мучной,
А в горней светёлке — проталой вербой,
Сурмлёным письмом на листах Цветника,
Где тень от ресниц, как душа, глубока!

Ах, звёзды поморья! Двенадцатый век
Вас черпал иконой обильнее рек.
Полнеба глядится в речное окно,
Но только в иконе лазурное дно.
Хоромных святынь — как на отмели гаг,
Чуланых, овинных, что брезжат впотьмах,
Скоромных и постных, на сон, на улов,
Сверчку за лежанку, в сундук от жуков,
На сшив парусов, на постройку ладьи,
На выбор мирской старшины и судьи —
На всё откликалась блаженная злать.
Сажали судью, как бобриху на гать,
И отроком Митей (вдомёк ли уму?)
«Заклания» образ вручался ему.
Потом старики, чтобы суд был леток,
Несли старшине жемчугов кузовок,
От рыбных же весей пекли косовик,
С молоками шаньги, а девичий лик
Морошковой брагой в черпугах резных
Честил поморян и бояр волостных.

Ах, звёзды помория, сладостно вас
Ловить по излучинам дружеских глаз
Мережею губ, языка гарпуном,
И вдруг разрыдаться с любимым вдвоём!
Ах, лебедь небесный, лазоревый крин,
В архангельских дебрях у синих долин!

Бревенчатый сон предстаёт наяву:
Я вижу над кедрами храма главу,
Она разузорена в лемех и елань,
Цветет в сутемёнки, пылает в зарань.

С товарищи мастер Аким Зяблецов
Воздвигли акафист из рудых столпов,
И тепля ущербы — Христова рука
Крестом увенчала труды мужика.

Три тысячи сосен — печальных сестёр —
Рядил в аксамиты и пестовал бор;
Пустынные девы всегда под фатой,
Зимой — в горностаях, в убрусах — весной,
С кудрявым Купалой единожды в год
Водили в тайге золотой хоровод,
И вновь засыпали в смолистых фатах.
Линяла куница, олень на рогах
Отметиной пегой зазимки вершил,
Вдруг Сирина голос провеял в тиши:
«Лесные невесты, готовьтесь к венцу,
Красе ненаглядной и саван к лицу!
Отозван Владыкой дубрав херувим, —
Идут мужики, с ними мастер Аким;
Из ваших телес Богородице в дар
Смиранные руки построят стожар,
И многие годы на страх сатане
Вы будете плакать и петь в тишине!
Руда ваших ран, малый паз и сучец
Увидят Руси осиянной конец,
Чтоб снова в нездешнем безбольном краю
Найти лебединую радость свою!».
И только замолкла свирель бирюча,
На каждой сосне воссияла свеча.
Древесные руки скрестив под фатой,
Прощалась сестрица с любимой сестрой.
Готовьтесь, невесты, идут женихи!..
Вместят ли сказанье глухие стихи?
Успение леса поведает тот,
Кто слово, как жемчуг, со дна достаёт.

Меж тем мужики, отложив топоры,
Склонили колени у мхов и коры
И крепко молились, прося у лесов
Укладистых матиц, кокор и столпов.
Поднялся Аким и топор окрестил:

«Ну, братцы, радейте, сколь пота и сил!».
Три тысячи брёвен скатили с бугра
В речную излуку — котёл серебра:
Плывите, родные, укажет Христос
Нагорье иль поле, где ставить погост!
И видел Аким, как лучом впереди
Плыл лебедь янтарный с крестом на груди.
Где устье полого и сизы холмы,
Пристал караван в час предутренней тьмы,
И кормчая птица златистым крылом
Отцам указала на кедровый холм.

Церковное место на диво красно:
На утро — алтарь, а на полдень — окно,
На запад — ворота, чтобы люди из мглы,
Испив купины, уходили светлы.
Николин придел — брёвна рублены в крюк,
Чтоб капали вздохи и тонок был звук.
Егорью же строят сусеком придел,
Чтоб конь-змееборец испил и поел.
Всепетая в недрах соборных живёт, —
Над ней парусами — бревенчатый свод,
И кровля шатром — восемь пламенных крыл,
Развеянных долу дыханием сил.

С товарищи мастер Аким Зяблецов
Учились у кедров порядку венцов,
А рубке — у капли, что камень долбит,
Узорности ж крылец — у белых ракич —
Когда над рекою плывёт синева,
И вербы плетут из неё кружева,
Кувшинами крылец стволы их глядят,
И лёгкою кровлей — кокошников скат.
С товарищи мастер предивный Аким
Срубили акафист — и слышен, и зрим,
Чтоб многие годы на страх сатане
Саронская роза цвела в тишине.

Поётся: «Украшенный вижу чертог», —
Такой и Покров у Лебяжьих дорог:
Наружу — кузнечного дела врата,
Притвором — калик переходжих места,
Вторые врата серебруются слюдой,
Как плёсо, где стая лещей под водой.
Соборная клеть — восковое дупло,
Здесь горлицам-душам добро и тепло.

Столбов осетры на резных плавниках
Взыграли горé, где молчания страх.
Там белке пушистой и глуби озёр
Печальница твари виет омофор.
В пергаменных святцах есть лист выходной,
Цветя живописной поблекшей строкой:
Творение рая, Индикт, Шестоднев,
Писал, дескать, Гурий — изограф царев.
Хоть титла не в лад, но не ложна строка,
Что Русь украшала сновидца рука!

* * *

Мой братец, мой зяблик весенний,
Поющий в берёзовой сени,
Тебя ли сычу над дуплом
Уверить в прекрасном былом!

Взгляни на сиянье лазури —
Земле улыбается Гурий,
И киноварь, нежный бакан
Льет в пёстрые мисы полян!

На тундровый месяц взгляни —
Дремливей рыбачьей ладьи.
То он же, улов эскимос,
Везёт груду перлов и слёз!

Закинь невода твоих глаз
В речной голубиный атлас,
Там рыбью отару зограф
Пасёт средь кауровых трав!

Когда мы с тобою вдвоём
Отлётным грустим журавлём,
Твой облик — дымок над золой
Очерчен иконной графьей!

И сизые прошвы от лыж,
Капели с берестяных крыш,
Все Гурия вапы и сны
О розе нетленной весны!

Мой мальчик, лосёнок больной,
С кем делится хлеб трудовой,

Приветен лопарский очаг
И пастью не лязгает враг!

Мне сиверко в бороду вплёл,
Как изморозь, сивый помол,
Чтоб милый лосёнок зимой
Укрылся под елью седой!

Берлогой глядит борода,
Где спят медвежата-года
И беличьим выводком дни...
Усни, мой подснежник, усни!

Лапландия кроткая спит,
Не слышно оленьих копыт,
Лишь месяц по кости ножом
Тебе вырезает псалом!

* * *

Мы жили у Белого моря,
В избе на лесном косогоре:
Отец — богатырь и рыбак,
А мать — бледно-розовый мак
На грядке, где я, василёк,
Аукал в хрустальный рожок.
На мне пестрядная рубашка,
Расшита, как зяблик, запашка,
И в пояс родная вплела
Молитву от лиха и зла.
Плясала у тётушки Анны
По плису игла неустанно
Вприсядку, и дыбом ушко, —
Порты сотворить не легко!
Колешки, глухое гузёнце,
Для пуговики совье оконце,
Карман, где от волчьих погонь
Укроется сахарный конь.
Пожрали сусального волки,
Оконце разбито в осколки,
И детство — зайчонок слепой —
Заклёвано галок гурьбой!

* * *

Я помню зипун и сапожки
Весёлой сафьянной гармошкой,
Шушукался с ними зипун:
«Вас делал в избушке колдун,
Водил по носкам, голенищам
Кривым наговорным ножищем,
И скрип поселил в каблуки
От вёсел с далёкой реки!
Чтоб крепок был кожаный дом,
Прямил вас колодкой потом,
Поставил и тын гвоздяной,
Чтоб скрип не уплёлся домой.
Алёнушка дратву пряла,
От мглицы сафьянной смугла,
И пела, как иволга в елях,
Про ясного Финиста-леля!».
Шептали в ответ сапожки:
«Тебя привезли рыбаки,
И звали аглицким сукном,
Опосле ты стал зипуном!
Сменяла сукно на икру,
Придачей подложку-сестру,
И тётушка Анна отрез
Снесла под куриный навес,
Чтоб петел обновку опел,
Где дух некрещёный сидел.
Потом завернули в тебя
Ковчежец с мощами, любя,
Крестом повязали тесьму —
Повывесть заморскую тьму,
И семь безутешных недель
Ларец был тебе колыбель,
Пока кипарис и тимьян
На гостя, что за морем ткан,
Не пролили мирра ковши,
Чтоб не был зипун без души!

Однажды, когда Растегай
Мурлыкал про масляный рай,
И горенка была светла,
Вспорхнула со швейки игла, —
Ей нитку продели в ушко,
Плясать стрекозою легко.
И вышло сукно из ларца
Синё, бархатисто с лица,

Но с тонкой тимьянной душой...
Кроил его иннок-портной —
Из жёлтого воска персты...
Прекрасное помнишь ли ты?».
Увы! Наговорный зипун
Похитил косматый колдун!

* * *

Усни, мой совёнок, усни!
Чуть брезжат по чумам огни, —
Лапландия кроткая спит,
За сельдью не гонится кит.
Уснули во мхах глухари
До тундровой карей зари,
И дрёмам гусиный базар
Распродал пуховый товар!
Полярной берёзке светляк
Затеплил зелёный маяк, —
Мол, спи! Я тебя сторожу,
Не выдам седому моржу!
Не дам и корове морской
С пятнистою жадной треской,
Баюкает их океан,
Раскинув, как полог, туман!
Под лыковым кровом у нас
Из тихого Углича Спас,
Весной, васильками во ржи,
Он веет на кудри твои!
Родимое, сказкою став,
Пречистей озёрных купав,
Лосёнку в затишьи лесном
Смежает ресницы крылом:
Бай, бай, кареглазый, баю!
Тебе в глухаринном краю
Про светлую маму пою!

* * *

Как лебедь в первый час прилёта
Окрай проталого болота
К гнезду родимому плывёт
И пух буланный узнаёт,
Для носки пригнутые травы,
Трепещет весь, о стебель ржавый
Изнеможённый чистя клюв,

На ракушки, на рыхлый туф
Влюблённой лапкой наступает,
И с тихим стоном оправляет
Зимой изгрызенный тростник, —
Так сердце робко воскрешает
Среди могильных повилик
Купавой материнский лик,
И друга юности старик —
Любимый, ты ли? — вопрошает,
И свой костыль — удел калик
Весенней травкой украшает.

* * *

У горенки есть много тайн,
В ней свет и сумрак не случаен,
И на лежанке кот трёхмастный
До марта с осени ненастной
Прядёт просонки неспроста.
Над дверью медного креста
Неопалимое сиянье, —
При выходе ему метанье,
Входящему — в углу заря
Финифти, черни, янтаря,
И очи глубже океана,
Где млечный кит, шатры Харрана,
И ангелы, как чаек стадо,
Заворожённое лампадой, —
Гнездом из нитей серебра,
Сквозистой гагачья пера.
Она устюжского сканья,
Искусной грани и бранья,
Ушки — на лозах алконосты,
Цепочки — скреп и звеньев дó ста,
А скал серебряник Гервасий,
И сказкой келейку украсил.
Когда лампаду возжигали
На Утоли Моя Печали,
На Стратилата и на пост,
Казалось, измарагдный мост
Струился к благостному раю,
И серафимов павью стаю,
Как с гор нежданный снегопад,
К нам высылает Стратилат!
Суббота горенку любила,
Песком с дерюгой что есть силы

Полы и лавицы скребла
И для душистого тепла
Лежанку пихтою топила,
Опосле охрой подводила
Цветули на её боках...
Среда — вдова, Четверг — монах,
А Пятница — Господни страсти.
По Воскресеньям были сласти —
Пирог и команичный сбитень,
Медушники с морошкой в сыте,
И в тихий рай входил отец.
«Поставить крест аль голубец
По тестю Митрию, Параша?»
«На то, кормилец, воля ваша»...
Я голос из-под плата слышал,
Подобно голубю на крыше,
Или свирели за рекой.
«Уймись, касатка! Что с тобой?
Покойному за девяносто...»
Вспорхнув с лампы, алконосты
Садилась на печальный плат,
И была горенка, как сад,
Где белой яблоней под платом
Благоухала жизнь богато.

* * *

Ей было восемнадцать вёсен,
Уж Сири́н с прозелени сосен
Не раз налаживал свирель,
Чтобы в крещенскую метель
Или на красной ярое горке
Параше по румяной зорьке
Взыграть сладчайшее люблю...
Она на молодость свою
Смотрела в венецийский складень,
При свечке, уморясь за день,
В большом хозяйстве хлопоча.
На косы в пядь, на скат плеча
Глядело зеркало со свечкой,
А Сири́н, притаясь за печкой,
Свирель настраивал сверчком,
Боясь встревожить строгий дом
И сердце девушки пригожей.
Она шептала: «Боже, Боже!
Зачем родилась я такой, —

С червонной, блёскою косою,
С глазами речки голубее?!
Уйду в леса, найду злодея,
Пускай ограбит и прибьёт,
Но только душеньку спасёт!..
Люблю я Федю Стратилата
В наряде, убраном богато
Топазием и бирюзой!..
Егорья с лютою змеёй, —
Он к Алисафии прилежен...
Димитрий из Солуня реже
Приходит грешнице на ум,
И от его иконы шум
Я чую вещей, многокрылый...
Возьму и выйду за Вавила,
Он смолокур и древодел!..
Тут ясный Сирин не стерпел,
И на волхвующей свирели,
Как льдинка в икрёмёт форели,
Повывел сладкое «люблю»...
Метель откликнулась: «Фи-ю!..
Параша к зеркалу всё ближе.
Свеча горит и бисер нижет,
И вдруг расплакалась она —
Вавилы рыжего жена:
«Одна я — серая кукушка!..
Была б Аринушка-подружка, —
Поплакала бы с ней вдвоём!..
За ужином был свежий сом.
«К Аринушке поеду, тятя, —
Благословите погостить!»
«Кибитку легче на раскате, —
Дорога ноне, что финить,
В хоробах векше не сидится!..
Отец обычаем бранится.

* * *

На петухах легла Прасковья, —
Ей чудилось: у изголовья
Стоит Феодор Стратилат,
Горит топазием наряд,
В десной — золотое копие.
Победоносец на коне,
И япанча — зари осколок...
В заранки с пряжею иголок

Плакуша ворох набрала
И села, помолясь, за пальцы;
Но не проворны стали пальцы
И непослушлива игла.
Знать, перед утренней иконой
Она девических поклонов
Одну лишь лестовку прошла.
Слагали короб понемногу...
И Одигитрией в дорогу
Благословил лебёдку тятя.
«Кибитку легче на раскате,
Дорога ноне, что финить!
Счастливо, доченька, гостить,
Не осрами отца покрутой!..»
Шесть сарафанов с лентой гнутой,
Расшитой золотом в Горицах,
Шугай бухарский — пава птица —
По сборкам кованный галун,
Да плат — атласный Гамаюн —
Углы отливом, лапы, меты, —
В изъяне с матери ответы.
Сорочек пласт, в них гуси спят,
Что первопуток серебрят.
К ним утиральников стопой,
Чтоб не утерлася в чужой,
Не перешла б краса к дурнушке,
Опосле с селезня подушки,
Афонский ладан в уголках —
Пугать лукавого впотьмах.
Всё мать поклала в коробью,
Как осетровый лов в ладью,
А цельбоносную икону
По стародавнему канону
Себе повесила на грудь,
Чтоб пухом расстился путь.
Простилась с тёткой-вековушей,
Со скотьей бабой и Феклушей,
Им на две круглые недели
Хозяйство соблюдать велели.
И под раскаты бубенца
Сошли с перёного крыльца.
Кибитка сложена на славу!
Исподом выведены травы
По домотканому сукну,
В ней сделать сотню не одну
И вёрст, и перегонов можно.

От вьюги синей подорожной
У ней заслон и напередник,
Для ротозеев хитрый медник
Рассыпал искры по бокам,
На спинку же уселся сам
Луною с медными усами,
И с агарянскими белками,
В одной руке число и год,
В другой созвездий хоровод.
Запряжены лошадки гусем,
По дебреньской медвежьей Руси
Не ладит дядя Евстигней
Моздокской тройкою коней.
Здесь нужен гусь, езда продолом,
В снегах и по дремучим долам,
Где волок вёрст на девяносто —
От Соловецкого погоста
До Лебединого скита,
Потом Денисова креста
Завьются хвойные сузёмки, —
Не хватит хлебушка в котомке
И каньги в дыры раздерёшь,
Пока к ночлегу прибредёшь!
Зато в малёванной кибитке,
Считая звёзды, как на свитке,
И ели в шапках ледяных,
Как сладко ехать на своих
Развалистым залётным гусем
И слышать: Господи-Исусе!
То Евстигней, разиня рот,
В утробу ангела зовёт.
Такой дорогой и Прасковья
Свершила волок, где в скиту
От лиха и за дар здоровья
Животворящему Кресту
Служили путницы молебн.
Как ясны были сосны в небе!
И снежным лебедем погост,
Казалось, выплыл на мороз
Из тихой заводи хрустальной!
Перед иконой огнепальной
Молились жарко дочь и мать.
Какие беды их томили
Из чародейной русской были —
Одной Всепетой разгадать!
«Ну, трогай, Евстигней, лошадак!..»

«Как было терпко от лампадок...» —
Родной Параша говорит
Под заунывный лад копыт.
«Отселе будет девяносто...»
Глядь, у морозного погоста,
Как рог у лося, вырос крин,
На нём финифтяный павлин,
Но светел лик и в рясах плечи...
«Не уезжай, дитя, далече!..»
Свирелит он дурманней сот
И взором в горнее зовёт,
Трепещет, отряхаясь снежно...
Как цветик, в колее тележной
Под шубкой девушка дрожит:
«Он, он!.. Феодор... бархат рыт!..»

* * *

На небе звёзды, что волвянки,
Как грузди на лесной полянке,
Мороз в оленьем совике
Сидит на льдистом облучке.
Осыпана слюдой кибитка,
И смазней радужная нитка
Повисла в гриве у гнедка.
Ни избяного огонька
И ни овинного дымка —
Всё лес да лес... Скрипят полозья...
Вон леший — бородёнка козья —
Нырнул в ощерое дупло!
Вот черномазое крыло —
Знать, бесы с пакостною ношей...
«Он, он!.. Рыт бархат... Мой хороший!..» —
Спросонок девушка бормочет,
И открывает робко очи.
У матушки девятый сон —
Ей чудится покровский звон
У лебединых перепутий,
И яблоки на райском пруте,
И будто девушка она
В кисейно-пенном сарафане,
Цветы срывает на поляне.
А ладо смотрит из окна
В жилетке плисовой с цепочкой.
Опосле с маленькою дочкой
Она ходила к пупорезке

И заблудилась в перелеске.
Ау! Ау!.. Вдруг видит — леший
С носатым вороном на плечи.
«Ага, попалась!..» «Ой, ой, ой!..»
«Окстись! Что, маменька, с тобой?..»
И крепко крестится мамаша.
«Ну вот и Палестина наша!» —
Мороз зашмакал с облучка.
Трущобы хвойная рука
В последки шарит по кибитке,
Река дымится, месяц пряткий,
Как сиг в серебряной бадье,
Ныряет в чёрной полынье, —
Знать, ключевые здесь места...
Над глыбкой чернью брезг креста
Гранёным бледным изумрудом.
Святой Покров, где церковь-чудо!
Её Акимушка срубил
Из инея и белых крыл.
Уже проехали окраи...
Вот огонёк, собачьи лаи,
Густой, как брага, дых избы
Из нахлобученной трубы.

Деревня, милое поморье,
Где пряжа тянет волокно,
Дозоря светлого Егорья
В тысячелетнее окно!
Прискачет витязь из тумана,
Литого золота шелом,
Испепелить Левиафана
Двоперстным огненным крестом!
Чтоб посолонь текли просонки,
Медведи-ночи, лоси-дни,
И, что любимо искони,
От звёзд до крашеной солонки
Не обернулось в гать и пни!
Родимое, прости, прости!
Я, пёс, сосал твои молоки
И страстнотерпных гроздий соки
Извергнул желчью при пути!
Что случилось со мной и где я?
В аду или в когтях у змея,
С рожком заливчатым в кости?
Как пращур, я сын двоперстья,
Христа баюкаю в ночи,

Но на остуженной печи
Ни бубенца, ни многоверстья.
Везёт не дядя Евстигней
В собольей шубоньке Парашу —
Стада ночных нетопырей
Запряжены в кибитку нашу,
И ни избы, ни милых братьев
Среди безглазой тьмы болот,
Лишь пни горелые да гати!
Кибитку легче на раскате —
Рыданьем в памяти встаёт.
Спаси нас, Господи Иисусе!
Но запряглися бесы гусем, —
Близки, знать, адские врата.
Чу! Молонья с небесных взгорий!
Не жжёт ли гада свет Егорий
Огнём двоперстного креста?!

* * *

Умыться сладостно слезами,
Прозрев, что сердце соловьями,
Как сад задумчивый, полно,
Что не персты чужих магнолий,
А травы Куликова поля
К поэту тянутся в окно!

Моя Параша тоже травка,
К её межбровью камилавка
С царьградской опушкой дошла б.
В обнимку с душенькой Аришей
Она уснула, мягко дышит,
Перемогая юный храп.
Так молодая куропатка,
Морошкой наполнив сладко
Атласистый крутой зобок,
Под комариный говорок
Себя баюкает: «Кок, кок!».
Мне скажут — дальше опиши
Красу двух ёлочек полесных!
Побольше было в них души,
Чем обольщений всем известных.
Вот разве косы — карь и злать —
Параше заплетала мать
На канифасовых подушках,
А далее... Моя избушка

Дымится в слове на краю, —
Я свет очей моих пою!

Торопит кулебяку сбитень:
«Остыну, гостейку будите!
Уже у стряпки Василисы
Полны суденцы, крынки, мисы,
В печи вотрушка-кашалот,
И шаньги водят хоровод,
Рогульки в масляном потопе,
Калач в меду усладу копит,
И пряник пёстрым городком,
С двуглавым писаным орлом,
Плывёт, как барка по Двине,
Наперекор ржаной стряпне!
А в новом пихтовом чулане,
Завялым стогом на поляне
Благоухает сдобный рай...» —
Хоть пали гости невзначай,
Как скатерть браная с сушил...
«Ахти, касатики, остыл! —
Торопит кулебяку сбитень, —
Скорее девушек будите!»
Уже умылись, чешут пряди,
Нельзя в моленной не в обряде
Поклоны утренние класть,
За сбитнем же хозяин — власть,
Ещё осудит ненароком —
Родительское зорко око!
На Пашеньке простой саян,
В нём, как берёзка, ровен стан,
И косы прибраны вязейкой.
Аринина же грудь сулейкой
И в пышных сборках сарафан,
В Сольвычегодске шит и бран.
Красна домашняя моленна,
Горя оковкою басменной,
Иконы — греческая прорись,
Что за двоперстие боролись,
От Никона и Питирима
Укрыла их лесная схима.
Параша — ах!.. Как осень, злат,
Пред ней Феодор Стратилат.
Мамаша ахнула за дочкой,
Чтоб первый блин не вышел кочкой,
Как бы на греческую вязь

По бабьей простоте дивясь.
Опосле краткого канона
Пошли хозяину поклоны.
«Здоров ли кум? Здоров ли сват?
Что лов семуженный богат,
На котика в Норвегах цены,
Что в океане горы пены —
Того гляди прибьёт суда!
Как Пашенька?.. Моя — руда!»
И девушка, оправя косы,
Морскому волку на вопросы
Прядёт лазурный тихий лён.
«Мои хоромы — не полон,
И гости — не белуга в трюме!
Без дальних, доченька, раздумий
Зови подруг на посиделки!..»
«Ох, батюшка, плетёшь безделки,
Не для Параша вольный дух!..»
«Тюлень и под водою сух!..
Ещё молодчиков покраше,
Авось приглянутся Параше,
Не мы — усатые моржи!..»
Что куколь розовый во ржи,
Цвели в прирубке посиделки.
Опосле утушки и белки
Пошли в досюльный строгий шин.
«Я Фёдор, Калистрата сын,
Отложите прялицу в сторонку!..»
И вышла Пашенька на гонку.
Обут детинушка в пимы,
И по рубахе две каймы
Испещрены лопарским швом.
«Заплескала сера утушка крылом,
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Добру молодцу поклоны до земли!
Ты на реченьке крыла не положи,
Сиза селезня напрасно не ищи!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Выплывали в сине море корабли!
Сизый селезень злым кречетом убит,
Под зелёною ракитою лежит!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Во лузях цветы лазоревы цвели!
Ещё Фёдор Парасковьюшку
Не ищи по чисту полюшку!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!

Поклевали те цветочки журавли!
Парасковья дочь отецкая,
На ней скрута не немецкая!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Серу утушку ко прялке подвели...»
Все девушки: «Ахти-ахти!
Красивее нельзя пройти
Размеренным досюльным шином
Речной лебёдушке с павлином!..»
«Спасибо, Фёдор Калистратыч!..
Подладь у прялки спицу на стычь!..»
И поправляет паслю он,
Лосёнок, что в зарю влюблён.
И кисть от пояса на спице
Алеет памяткой девице:
Мол, кисточкой кудрявый Федя
В кибитке с лапушкой поедет.
Запело вновь веретено...
Глядь, филин пялится в окно!
Неясно видно за морозом.
Перепорхнул к седым берёзам,
Ушаст, моржовые усы...
Хозяин!.. У чужой красы!..
Но вьются хмелем посиделки —
Детина пляшет под сопелки
То голубым песцом в снегах,
То статным лосем в ягелях,
Плакучим лозняком у вод —
Заглянет в омут и замрёт,
В лопарских вышивках пимы...
Чу! Петухом из пегой тьмы
Оповещает ночь полати.
Лежанки, лавицы, кровати,
Что сон за дверью в кошелях
Несёт косматых росамах
И векшу — серую липушу —
Угомонить людскую душу!

* * *

Как лён, допрялася неделя.
Свистун позёмок на свирелях
Жалкует, правя панихиды,
И филин плачет от обиды,
Что приморозил к ветке хвост.
На вечеряющий погост
Зарница капает сусалом.

Вон огонёк, там в срубце малом
Живёт беглец из Соловков —
Остатний скрытник и спасалец,
Ночной печальник и рыдалец
За колыбель родных лесов.
И стало горестно Параше,
Что есть молитва за леса, —
Неупиваемые чаши
Земле готовят небеса.
Сподоби, Господи, сподоби
Уснуть невестой в белом гробе
До чаши с яростной полынью!..
А вечер манит нежной синью,
И ель, как схимник в манатейке...
«Не приросла же я к скамейке!
Пойду к отцу Нафанаилу
Пожалковать на вражью силу,
Что ретивое мне грызёт!»
Сама не зная как, по крыльцам
Она бежит, балясин рыльца
Собольим рукавом метёт,
Спеша испить от ярых сот.
Вот на сугробе волчий след,
Ни огонька, ни сруба нет,
Вот слёзка просочилась в ели,
Тропинку выкрали метели...
Опять сугроб — медвежья шапка...
Ай, волк, что растерзал арапка!
Бирюк матёр, зеленоглаз,
Знать, утка выплыла не в час!
Котлом дымится полынья...
«Пусть растерзает и меня,
Чтоб не ходила красным шином!..»
Касатка в стаде ястребином,
Бесстрашна внучка Аввакума.
В тенётах сокол — в сердце дума
Затрепетала по борьбе
Без терпкой жалости к себе.
И, как Морозова Федосья,
Оправя мокрые волосья,
Она свой тельник золотой,
Не чуя, что руда сгорает,
Над зверем, над ощерой тьмой
Рукою трезвой поднимает
И трижды грозно осеняет!
Как от стрелы, метнулся волк,

Завыл, скликая бесов полк,
И вмиг издох... Параша к срубам,
Слюдою осыпая шубу
И обронив с косы вязейку,
Упала в сенцах на скамейку.
Пахнуло тепелью от сердца...
Омыты тишиною сенцы.
Вот гроб колодовый, на нём,
Пушистым кутаясь хвостом,
Уселась белка буквой в святцах...
«С рассудком, видно, не собратъся...»
Чу! В келье плач глухой и палый!..
«Что, Парасковьюшка, застряла?
На темя капают слова,
Уймися, девка не вдова!..
Намедни спрос чинил я белке:
Что, полюбились посиделки
У сарафанистой Ариши?
Запрыскала, усами пишет,
На Федьку сердится... Да, да!
Пльви, лебёдушка, сюда!»
И очутилась Паша в келье.
Какое светлое веселье!
Пред нею в мантии дерюжной,
Не подъярёмный и досужный,
Сиял отец Нафанаил.
Веянием незримых крыл
Дышали матицы, оконце...
«Не хошь ли сусла с толоконцем?
Вот ложка — корабли по краю!
Ведь новобрачную встречаю, —
Богато жить да сусло пить!...»
«Я, батюшка!..» «Эх, волчья сыть!» —
И старец указал брадою.
Возрилась гостья, что такое?
Хозяин... Морж... стоит у печи,
Усы в слезах, как судно в течи,
Как паруса в осенний ливень!..
«Мотри, голубка, Спас-от дивен,
Не поругаем никогда!..»
«Ах, батюшка!..» «Пройдут года,
Вы вспомните мои заветы, —
Руси погаснут самоцветы!
Уже дочитаны все свитки,
Златые распиты напитки,
И у святых корсунских врат

Топор острит свирепый кат!..
В царьградской шапке Мономаха
Гнездится ворон — вестник страха,
Святители лежат в коросте,
И на обугленном погосте,
Сдирая злать и мусикийю.
Родимый сын предаст Россию
На крючья, вервие, колёса!..
До сатанинского покоса
Ваш плод и отпрыск доживёт,
В последний раз пригубить мёд
От сладких пасек Византии!..
Прощайте, детушки! Благие
Вам уготованы сады
За чистоту и за труды!..»
И старец скрылся в подземельи.
Берёзкой срубленной средь кельи
Лежит Параша на полу,
И, как к лебяжьему крылу,
Припал к ней морж в ребячем страхе,
Не смея ворота рубахи
Тяжёлым пальцем отогнуть,
И не водой опрыскал грудь,
А долголетними слезами,
Что накопил под парусами.
«Моя любовь, мой осетрёнок!..»
Легка невеста, как ребёнок,
Для китобойщика руки.
Через сугробы, напрямки,
На избяные огоньки
Понёс ларец бирюк матёрых!..

Цветут сарматские озёра
Гусиной празеленью, синью..
Не запрокинут рог с полынью
В людские веси, в тёмный бор,
Где тур рогатый и бобёр.
Парашу брачною царевной,
В простой ладье, рекой напевной
В полесья северной земли
От Цареграда привезли.
Она Палеолог София,
Зовут Москвой её удел,
Супруг на яхонты драгие
Иваном Третьим править сел.
Дубовый терем тих и мирен,

Ордынский не грозит полон,
И в горнице двуглавый Сирин
Поёт Кирие елейсон.
И снится Паше гроб убранный,
Рубин востока смертью взят,
Отныне кто её желанный?
Он, он, в кольчуге филигранной,
Умбрийских красок Стратилат!
Дочитан корсунский псалтырь,
Заклочена колода в клетки,
И Воскресенский монастырь
Рубин баюкал шесть столетий.

Но вот очнулася она
От рёва, посвиста и гама, —
Топор разламывает мрамор,
Бежит от гроба тишина,
И кто-то чёрный пятерню
К сидонским перлам жадно тянет..
«Знать, угорела в чадной бане!
Ходила к старцу по кутью,
Да волка лютого спужалась...
Иль домовой... На губках алость!..
Иль ворон человечесий зуб
Занёс на девичий прируб —
Примета злая!..» Так над ладой,
Стрижами над вечерним садом,
Гуторил пёстрый бабий рой.
И, как тростник береговой,
Примятый бурей вчерашней,
Почуя ласточек над пашней,
К лазури тянет лист и цвет,
Так наша ладушка в ответ
На вопли матери, сестрицы
Раскрыла тяжкие ресницы.
От горницы до чёрной клетки,
На василистином совете
У скотьей бабы в повалуше
Решили: порча девку сушит!
Могильным враном на прируб
Обронен человечесий зуб.
Ох, ох! Хвороба неминуча,
Голубку до смерти замучит!
Недаром полыньи черны
И волчьи зубы у луны!
Не домекнёт гусыня-мать

Поворожить да отчитать!
И вот Аринушка с Васихой,
Рогатиной на злое лихо,
Приводят в горенку ведка,
В оленьих шкурах старика,
В монистах из когтей медвежьих.
По жёлтой лопи, в заонежьях,
По дымным чумам Вайгача,
Трепещут вещего сыча.
Он тёмной древности посланец,
По яру — леший, в речке — сом,
И даже поп никонианец
Дарил шамана табаком.
Кудесник не томил Парашу,
Опрыскав каменную чашу
Тресковой желчью, дудку взял
И чародейно заиграл:
Га-га-ра га-га сайма-ал,
Ай-ла учима трю-вью-рю,
Ты не ходила по кутью!
Одна болезнь, чью-ри-чирок,
Что любит девку паренёк!..
Но, айна-ала чам-ера,
Вдовец, чам-ра, убьёт бобра!..
Вставай, вставай! Медведю пень,
Гагаре же румяный день!..
«Ох, дедушка, горю, горю!..
Отдайте серьги лопарю
И ленту, шитую в Горицах!..»
А уж ведун на задних крыльцах;
Арина с теткой Василистой
Уладили отчитки чисто.

* * *

Поморский дом плывёт китом,
Ему смарагдовым копьём
В предутрия, просонки, зори
Указывает путь Егорий.
Столетие, мгновенье, день —
Копьё роняет ту же тень
Всё на восток, где Брама спит, —
С ним покумиться хочет кит.

Всё на восток, где сфинкс седой
Встаёт щербатой головой,

Печаль у старого кита
Клубится дымом из хребта.
Скрипят ворота — плавники —
Друзья всё так же далеки,
Им с журавлями всякий год
Забывтый кум поклоны шлёт.
Сегодня у него в молоке,
Где сердца жаркие истоки,
О тайне сумерек лесных
Поют две птахи расписных.
Аринушка с душой Прасковьей,
Два горностая на зимовье,
В светёлке низенькой сошлись
И потихоньку заперлись.
«Крепки затворы, нас не слышат», —
Поёт малиновкой Ариша, —
«Уснула лавка, потолок
И кот — пузатый лежебок,
А домовому за лежанку
Положим чёрствую баранку,
Чтоб грыз досужливым сверчком!..»
«Не обернулась бы грехом
Беседа наша!..» «Что ты, Паня!
Отмоемся золою в бане,
Оденем новые станушки,
Чай, не тонули в пьяной кружке!»
«Аринушка, я виновата!..»
«С Федюшей, сыном Калистрата?..»
«Ох, что ты, что ты!.. Видит Бог..
Живой не выйти за порог!..»
«Так кто ж обидчик?..» «Твой отец...»
«Окстись, Параня!.. Пёс, выжлец!..
Повыйдет матушка из гроба!..»
«Тогда, у волчьего сугроба,
Спознала я свою судьбу..
Прости, Владычица, рабу!
Святой Феодор Стратилат,
Ты мой жених и сладкий брат!
Тебе вручается душа,
А плоть, как стены шалаша,
Я китобойцу отдаю!..»

(Свирель от иконы:)

С тобою встретимся в раю!
«Аринушка, ты слышишь гласы?..»
«Ах он выжлец, кобель саврасый!..»

Повыйду замуж не в угодые
За калистратово отродье,
За Федьку в рыболовный чум!..»
«В горящих письмах Аввакум
Глаголет: детушки, горите!..
Я нажилась в добре и сыте,
Теперь сгорю огнём тягучим,
Как в море лодка без уключин,
О камни груди разобью!..»

(Свирель от иконы:)

С тобою встретимся в раю!..
«Аринушка, поёт свирель!..»
«То синепёрая метель...»
«Подруженька, люби Федюшу,
Ему отдай навеки душу!..
Целуй покрепче да ласкай,
Ведь по хозяйке каравай —
Пригож, волосья — красный яр,
Смолистый кедр в лесной пожар
Он опалает!..» «Что ты, Паня?
Аль любишь?.. Знала бы заране,
Тебе бы сердца не открыла...»
«Пророчество Нафанаила —
Мне быть супругою вдовца
И твоего ласкать отца!..
А Феде — белому оленю,
Когда посадит на колени
Он ясноглазую дочурку,
Скажи, что рысь убила... курку!
Что поминальный голубец
Дознает повести конец!..
Ты любишь Фёдора, Арина?...»
«Под осень не трясина осины,
Не то рудою изойдёт!..
Олень же вербу любит яро...»
Тут китдохнул морозным жаром,
И из его оконных глаз
Полился жёлтый канифас,
Потом кауровый камлот,
Знать офень-вечер у ворот
Огнистый короб разложил —
Мохры, бубенчики, гужи...
Но вот погасла чудо-полка, —
Дудец запел перед светёлкой,
То Федя — нерполова сын

Идёт в метелицу один,
И в синепёрой ранней мгле,
На непонятном веселе,
Как другу, жалостной волынке
Вверяет милые старинки:
Пчелы белояровья-а-а-а!
Тю вью верею павы я-а-а-а!
Ко двору-двору,
Ту-ру-ру-ру-ру,
К Парасковьюну
Прививались-а-а-а!
У медведя животы,
Ах, по мёду у топты-ы-ы-
Гина растужились-а-а-а!..
Ах, пошёл медведь
На поклоны в клеть —
Ти-ли вью-вью-вью,
Пиво во-во, да люблю-ю-ю!..
Парасковья-свет
Подала ответ:
Ох, да медведь косолап,
Лапой сам зацап!..
Трю-вью, ох да я —
Пчелы белояровья-а-а-а!

* * *

Тебе, совёнок кареглазый,
Слюду и горные топазы,
Морские зёрна, кремешки
Я нижу на лесу строки.
Взгляни, какое ожерелье,
Играет радугою келья,
И шкуры золотистой ржи
В родимом поле у межи!
Шепни, дитя, сквозь дымку сна:
Ну, молодчина, старина!..
Но звёзды спят, всхрапнул очаг,
В дупло забился филин-страх.
Тебе на мерную лесу
Я нижу яхонтом слезу,
А сердца алый уголёк
Стяну последним в узелок!
Я знаю, молодость прошла,
Вернётся филин из дупла
Вцепиться в душу напослед,
Чтоб навсегда умолкнул дед!

Как прялка, голос устаёт,
И улы глаз не точат мёд,
Лишь сединою борода
Цветёт, как травами вода
Среди болотных мочежин...
Усни, дитя, изгнанья сын!
Костлявой смерти на беду
Я нить звенящую пряду.
И, может быть, далёкий внук
Уловит в пряже дятла стук,
В кострике точек и тире
Гусиный гомон на заре.
По дебрям строк медвежий след
Слепым догадкам даст ответ,
Что из когтей Руси дудец
Себе нанизывал венец.
Что лесовик дуду унёс
В глухую топь, в пургу, мороз!..
Но скучно внуков поминать,
Целуя пепельную прядь.
Им Погорельщины угли
Мы в груди звонкую сгребли,
Слова же «сук, паук и внук»
Напоминают дятла стук.
Чуждаясь осминогих слов,
Я смерть костлявой звать готов
И прялке прочу в женихи
Ефрема Сирина стихи!

* * *

Господи владыко,
Метелицей дикой
Сжигает твоё поморье!
Кибитку, шубоньку соболью,
Залётную русскую долю.
Бубенец и копьё Егорья!..
Уймись, умолкни, сердце!
Вон пряничною дверцей
Скрипит зари изба, —
В реку упали крыльца,
Наличники, копыльца,
Резная городьба.
Живёт Параша дома —
Без васильков солома
Пустая полова.

Неделя канет за день,
Но в венецийский складень
Не падает коса.
Не окунутся руки
От девичьей прилуки
В заморское стекло.
В приятстве моль со свечкой,
И не цветёт за печкой
Сусальное крыло.
Ау, прекрасный Сирин!
В тиши каких кумирен
Твой сладостный притин?
Уж отплясали святки
Татарские присядки,
Эх-ма и брынский трын.
На постные капли,
На дымчатые ели
Не улыбнется.
Плющица Евдокия
Снежинки голубые
Сбирает в решето.
Глядь, Алексей-калика
Из бирюзы да лыка
Сплетаёт неводок,
И веткой Гавриила
В оконце к деве милой
Стучится ветерок.
Почуяла Прасковья,
Что кончилось зимовье —
Христос во гробе спит,
Что ноне дедов души
По зорьке лапти сушат
У голубцов да плит.
Утечь бы солнопёком,
Доколе видит око,
В лазоревый Царьград —
Там лапушку приветит
В незаходимом свете
Феодор Стратилат!
Написано в Прологе,
Что встретил по дороге
Отроковицу мних.
Кормил её изюмом,
И, вторя травным шумам,
Слагал индийский стих.
Узорно баёт книга,

Как урожаем рига,
Смарагдами полна.
Уйду на солнопёки,
В индийский край далёкий,
Где зори шьёт весна!
И вот от скотьей бабы
В узлу коты-расхлябы
Да нищая сума,
Затих базар сорочий,
И повернулась к ночи
Небесная корма.
За ужином Прасковья
Спросила о здоровье
Любимого отца,
К родимой приласкалась,
Знать, в час, на щёки алость
Струилась от светца.
Уж мглицы да потёмы
Закутали хоромы
В косматый балахон.
Низги затренькал в норке,
И снится холмогорке
В хлеву зелёный сон.
В котях, сума коровья,
Повышла Парасковья
На деревенский зад
И в голубые насты,
Где жуть да ельник частый,
Отправилась в Царьград.
Бегут навстречу ёлки —
«К нам гостья из светёлки», —
И тянут лапы ей.
Ой, пенышки, макушки,
Не застите кукушке
На Индию путей!
Глядит — с развалом сани,
В павлиньих перья Ваня —
Купецкий ямщикок:
«Садитесь, ваша милость,
К заутрене на клирос
Примчу за целкачок!».
Летит беркутом карий,
Вон огоньки на яре —
Из грошиков блесня,
Чай, в Цареграде бабы
Не ждут через ухабы

Павлиного коня?
Подъехали к палатам, —
Горя парчовым платом,
Хозяйка на крыльце:
«Раба Парасковия,
Вот бисеры драгие
И Маргарит в ларце!».
Как в смерти дивно Паше!
А горницы всё краше,
Благоуханней сот.
Она пчелою дале
И Утоли Печали
В хозяйке узнаёт!
«Вот горенка Миколы,
Подснежники — престолы,
На лавке лапоток.
Здесь — Варлаам с Хутиня
И мать слёз — пустыня,
Одетая в поток.
Иона яшезерский,
С уздечкой, цветик сельский, —
Из Веркольска Артём.
Се — Аввакум горящий,
Из свитка, мёда слаще,
Питается огнём!
На выструге ж в светлице,
Где будут зори шиться,
Для гостюшки покой.
Черёмухою белой
Пройдя земное тело,
В него войдёшь душой!
Как я, вдовцом укрыта,
Ты росною ракитой
Под платом отцветёшь
И сына сладкопевца
Повыпустишь из сердца,
Как жаворонка в рожь!
Он будет нищ и светел —
Во мраке вещей петел —
Трубить в дозорный рог,
Но бесы гнусной грудой
Славянской песни чудо
Повергнут у дорог.
Запомни, Параскева —
Близка година гнева,
В гробу святая Русь!..

Чай, опоздился Ваня,
Продрогли с карим сани.
Прощай!..» «Я остаюсь!..
Владычица!.. Мария!..»
Кругом места глухие.
Сопит глухарь-рассвет.
И глухо сердце млеет..
Пролей, Господь, елей
На многоскорбный след!
Страшат беглянку дебри,
Уж солнышко на кедре
Прядёт у векш хвосты,
Проснулся пень зубатый.
Присесть бы... Пар от плата,
И снег залез в коты.
Когтит тетёрку кречет,
И дупла словно печи,
Повыкрал враг суму.
Прощай, любимый тятя,
Кибиткой на раскате
Я брошена во тьму!
Но что за марь о прошлом, —
Ужели в срубце малом
Спасается бегун?
Скорей к нему в избушку,
За нищую пирушку,
Где кот — лесной баюн!
Как цепки буреломы!..
Наверно, скрытник дома —
Округок ни следка.
Ай, увязают ноги!..
А уж теплом берлоги
Обожжена щека.
Ай, на хвосте у белки
Медвежьи посиделки
Параше суждены!
В шубейке, лёгким комом,
Лежать под буреломом
До ангельской весны!
Во те поры топтыгин,
Бегун с дремучей Выги,
Усладный видел сон, —
Как будто он в малине,
Румяной, карей, синей,
Берёт любовь в полон.

Как смерть, сильна дремота,
Но завести охота
Звериную семью.
Храпя, слюнявя ветки,
Он обнял напоследки
Разлапушку свою.
Ещё снега округой,
И чёрная лешуга
К просонкам не зовёт..
На быстрых лыжах Федя
Спешит силки проведать,
Пока солноворот.
Нейдёт лукавый соболь,
Рядками ли, особо ль
На лазах петли ставь!
Вёрст сорок от становищ,
По дебрям дух берложищ —
С оглядкой лыжи правь.
Прошит сугроб котами, —
По ярам соболями
Не бабе промышлять!
Где пень — сума коровья,
Следы же до логовья, —
Там хворост лижет чадь.
Насупился Федюша
И ну, как выдра, слушать,
Заглядывать в суму.
Мережкой ловят уши,
Как белка лапки сушит,
Лишайник бахрому.
Сума же кладом дразнит,
В ней правит тихий праздник
Басменный образок
И с кисточкой вязейка..
Но где же душегрейка
И Гамаюн-платок?
У сына Калистрата
В глазах сугроб лобатый
Пошёл с корягой в шин.
Она, она!.. Параня!..
Недаром снились сани —
За ямщика — павлин!
«Увёз мою кровинку
К медведю на поминку!..
Не в час родился я!»
«Мой цветик, соболёнок!..»

А голос хрупко-звонок,
Как подо льдом струя.
«Параша!.. Паша!.. Паня!..»
Лисицей на поляне
Резвится солнопёк.
«Пророче Елисее,
Повызволь от злодея
Кровинку-перстенёк!»
«Я на твою божницу
Дам бурую куницу
И жемчугу конец!..»
Скрепя молитвой душу,
Прислушался Федюша:
Храпит лесной чернец.
Меж тем щеглёнок-лучик
Прокрался на онучи,
На Парасковьин плат,
Погрелся у косицы, —
Авось пошевелится,
На крошку бросит взгляд!
Ай, лапя по шубейке,
Оборочусь в копейки,
Капелью побренчу:
То-ли, сё-ли,
Ну-ли, что-ли, —
Дай копеечку лучу!
И дрогнули ресницы...
Душа в ребро стучится...
Жива иль не жива?
И в кровавом прибое
Плывёт, страшнее вдвое,
Медвежья голова.
Потёмки гуще дёгтя,
Лежат, как гребень, когти
На девичьих сосцах.
«Пророче Елисее,
Повызволь от злодея», —
Запел бубенчик-страх.
«Я на твою божницу
Дам с тельника златницу
И пряник испеку!..»
В обет смертельный веря,
Она втишок от зверя
Ползёт, как по ложку.
«Параша!.. Паша!.. Паня!..»
Знать, Сирина на поляне, —

И покатилося в лог!..
Взбурлила келья рёвом,
И в куколе еловом
Над нею чернобог.

«Пророче Елисее!..»
Топор прошёл от шеи
По становой костьце.
Захлёбываясь кровью,
Спасает Парасковью
Неведомый боец.
Как филин с куропаткой,
Топтыгин в лютой схватке
С Федюшой-плясуном!..
Отколь взяла отвагу
На ворога корягу
Набросить хомутом?
И бить колючей ёлкой
По скулам и по холкам,
Неистово молясь?
Вот пошатнулся Федя, —
Топор ушёл в медведя
От лысины — по хрясь.
«Параша!..» «Федя!.. Сокол!..»
«Поранен я глубоко..
Тебя Господь упас?..
Ох, тяжко!..» «Братец милый,
Коль сердце не остыло,
Христос венчает нас!»
«Ах, радость, радость, радость
Пожить женатым малость..
Того не стою я...»
«Вот тельник из Афона,
Вдоветь да класть поклоны
Благослови меня!»
«Благословляю... Паша!..»
И стал полудня краше
Феодор — Божий раб.
От горести в капели
Свои запястья ели
Пообронили с лап.
И кедр, раздув кадило,
Над брачною могилой
Запел: подаждь покой!
А солнопёк на брата
Расшил покров богато

Коралловой иглой.
К невиданной находке
Слетелись зимородки,
Знать, кудри — житный сноп.
На них глаза супруги
Наплавили от туги
Горючих слёз поток.
И видела трущоба,
Как вырос из сугроба
Огнистый слёзный крин,
На нём с лицом Федюши,
Чтоб жальче было слушать,
Малиновый павлин.

* * *

Усни, мой лосёнок больной!
По чумам проходит покой,
Он мерности вёсла несёт
Тому, кто отчизну поёт.

Смежи своих глаз янтари,
Ещё далеко до зари,
Лапландия кроткая спит,
Не слышно оленьих копыт,

Не лает голубый песец,
От жира совет светец,
За кожаной дверью покой
Стучит в колоток костяной.

Войди и садись к очагу,
Но только про смерть ни гу-гу!
Пускай не приходит она
Пока голубеет сосна,
И трётся, линия, олень
О тёплый берёзовый пень!

Покуда цветут берега,
От пули не ноет нога.
И пахарь за кровлю и хлеб
Над песней от слёз не ослеп.

Не лучше ли в свой колоток
Пришельцу потренькать часок,
Чтоб милый лосёнок янтарь
Смежил, как в счастливую старь!

Где бабкины спицы цвели
Кибиткой в морозной пыли,
Медведем, малиной, рекой
И русской ямщицкой тоской!

Затренькал ночной колоток.
Усни, мой болотный цветок.
Лапландия кроткая спит,
Не слышно ни трав, ни раки!

Лишь пальцы зайчонком в кустах
Плутают в любимых кудрях,
Да сердце — завьюженный чум —
Тревожит таинственный шум.

То стая фрегатов морских —
Стихов острокрылых, живых,
У каждого в клюве улов —
Матросская горсть жемчугов.

У каждого в крыльях закат,
Чтоб рдян был поэзии сад.
Послушай фрегатов, дитя,
В безбрежной груди у меня!

Послушай и крепче усни.
Уж зорче по чумам огни.
С провидящих кротких ресниц
Лапландия гонит ночниц,
И дробью оленьих копыт
Судьба в колотушку стучит.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * *

...И в горенку входил отец...
«Поставить крест аль голубец
По тестю Митрию, Параша?..»
Неупиваемая чаша,
Как ласточки звенящих лет,
Я дал пред родиной обет
Тебя в созвучья перелить,
Из лосьих мыков выпрясть нить,
Чтоб из неё сплести мережи!

Авось любовь, как ветер свежий,
Загонит в сети осетра,
Арабской черни, серебра,
Узорной яри, аксамита,
Чем сказка русская расшита!
Что критик и газетный плут,
Чихнув, архаикой зовут.
Но это было! Было! Было!
Порукой — лик нездешней силы —
Владимирская Божья Мать!
В её очах Коринфа злать,
Мемфис и пурпур Финикии
Сквозят берёстою России
И нежной просинью вифезды
В глухом Семёновском уезде!
Кто Светлояра не видал,
Тому и схима — чёртов бал!
Но это было! Было! Было!
Порукой образ тихокрылый
Из радонежеских лесов!
Его писал Андрей Рублёв
Смиренной кисточкой из белки.
Века понатрудили стрелки,
Чтобы измерить светлый мир,
Черёмух пробель и сапфир —
Шести очей и крыл над чашей! —
То русской женщины Параши,
Простой насельницы избы,
Душа — под песенку судьбы!
Но... многоточие — синицы,
Без журавля пусты страницы...
Увы... волшебный журавель
Издых в октябрьскую метель!
Его лодыжкой в запал
Я книжку «Ленин» намарал,
В ней мошкара и жуть болота.
От птичьей желчи и помёта
Слезами отмываюсь я,
И не сковать по мне гвоздя,
Чтобы повесить стыд на двери!..
В художнике, как в лицемере,
Гнездятся тысячи личин,
Но в кедре много ль сердцевин
С несметною пучиной игол? —
Таков и я!.. Мне в плач и в иго
Громокипящий пир машин,

И в буйном мире я один
Гадатель над чудесной книгой!
Мне скажут: жизнь — стальная пасть,
Крушит во прах народы, классы...
Родной поэзии атласы
Не износил Руси дудец, —
Взгляните, полон коробец,
Вот объярь, штоф и канифасы!
Любуйтесь и поплачьте всласть!
Принять, как антидора часть,
Пригоршню слёз не всякий сможет..
Я помню лик... О Боже, Боже!
С апрельскою берёзкой схожий
Или с полосынькой льняной
Под платом куколя и мяты,
Или с гумном, где луч заката
Касаток гонит на покой
К стропилам в кровле восковой,
Где в гнёздышках пищат малютки!..
Она любила незабудки
И синий бархат васильков.
В её прирубке от цветов
Тянуло пряником суропным,
Как будто за лежанку копны
Рожков, изюма, миндаля
С неведомого корабля
Дано повыгрузить арапам.
Оконца синие капли
И синий строгий сарафан —
Над речкой мглица и туман,
Моленный плат одет на кромки...
Лишь золотом, струисто ломкий,
Зарел Феодор Стратилат.
Мои сегодня именины, —
Как листопадом котловины,
Я светлой радостью богат:
Атласной с бисером рубашкой
И сердоликовой букашкой
На перстеньке — подарке тяти.
«Не надо ль розанцев соскати,
Аль хватит колоба с наливом?»
Как ветерок по никлым ивам,
На стол и брашна веял плат.
«Обед-то ноне конопат, —
Забыли про кулич с рогулей,
Да именинника на стуле

Не покачати без отца,
Чтоб рос до пятого венца,
А матерел, как столб запечный.
Придётся, грешнице, самой
Повеселить приплод родной!»
И вот сундук с резьбой насечной,
Замок о двадцати зубцах,
В сладчайший повергая страх,
Как рай, как терем, разверзался,
И, жмуря смазны, появлялся
На свет кокошник осыпной,
За ним зарёю на рябинах
Саян и в розанах купинных
Бухарской ткани рукава.
Однажды в год цвели слова
Волнистого, как травы, шина,
И маменька, пышней павлина,
По горенке пускалась в пляс
Жар-птицей и лисой-огнёвкой,
Пока серебряной подковкой
Не отбивался «подзараз»,
И гаснул танец-хризопраз.
«Ах, греховодница-умыка!
От богородичного лика
Укроется ли бабий срам?!»
И вновь сундук — суровый храм —
Скрипел железными зубами.
Слезилась кика жемчугами,
Бледнел, как облачко, саян.
Однажды в год, чудесным пьян,
Я целовал кота и прялку,
И становилось смутно жалко
Родимую — платок по бровь.
Она же солнцем, вся любовь,
Ко мне кидалась с жадной лаской:
«Николенька, пора с указкой
Читать славянские зады!..»
И в кельице до синей мглицы,
До хризопразовой звезды,
Цвели словесные сады.
Пылали Цветника страницы,
Глотал слюду струфокамил,
И снился фараону Нил
Из умбры, киновари, яри...
В павлинно-радужном пожаре
Тонула мама, именины...

Мои стихи не от перины
И не от прели самоварной
С грошовой выкладкой базарной,
А от видения Мемфиса
И золотого кипариса,
Чьи ветви пестуют созвездья.
В самосожженческом уезде
Глядятся звёзды в Светлояр, —
От них мой сон и певчий дар!

* * *

Двенадцать снов царя Мамера
И Соломонова пещера,
Аврора, книга Маргарит,
Златая Чепь и Веры Щит,
Четвёртый список белозерский,
Иосиф Флавий — муж еврейский,
Зерцало, Русский виноград —
Сиречь Прохладный вертоград,
С Воронограем Список Вед,
Из Лхасы Шолковую книгу,
И Гороскоп — Будды веригу
Я прочитал в пятнадцать лет —
Скитов и келий самоцвет.
И вот от Кеми до Афона
Пошли малиновые звоны,
Что на водах у Покрова
Растёт Адамова трава.
Кто от живого злака вкусит —
Найдёт зарочный перстень Руси,
Его Тишайший Алексей
В палатах и среди полей
Носил на пальце безымянном;
Унесен кречетом буланым
С миропомазанной руки,
Он теплит в топях огоньки,
Но лишь Адамовой травой
Закликать сокола домой!
И что у Клюевой Прасковьи
Цветок в тесовом изголовьи,
Недаром первенец сынок
Нашёл курганный котелок
С новгородскими рублями
И с аравийскими крестами,
При них, как жар, епистолия,
Гласит — чем кончится Россия!

На слухи-щокоты сорочьи
У василька тускнели очи,
Полоска куколя и льна
Бывала трепетно бледна.
«Николенька, на нас мережи
Плетутся лапою медвежьей!
Китайские несториане
В поморском северном тумане
Нашли улыбчивый цветок,
И метят на тебя, дружок!
Кричит орлица Валаама,
Из звездоликой Лхасы Лама
В леса наводит изумруд...
Крадутся в гагачий закут
Скопцы с дамасскими ножами!..
Ах, не весёлыми руками
Я отдаю тебя в затвор —
Под соловецкий омофор!
Открою завтра же калитку
На ободворные зады,
Пускай до утренней звезды
Входящий вынесет по свитку —
На это доки бегуны!»
И вот под оловом луны,
В глухой бревенчатый тайник
Сошёлся непоседный лик:
Старик со шрамом, как просека,
И с бородой Максима Грека,
В веригах богатырь-мужик,
Детина — поводырь калик
По прозвищу Оленьи Ноги,
Что ходят в пуще без дороги,
И баба с лестовкой буддийской.
От Пустозерска и до Бийска,
И от Хвалыни на Багдад
Течёт невидимый Ефрат, —
Его бесплотным кораблям
Притины — Китеж и Сиам.
Златая отрасль Аввакума,
Чтоб не поднять в хоробах шума,
Одела заячьи коты
И крест великой маяты,
Который с прадедом горел
И под золой заматорел, —
По тайникам, по срубам келий,
Пред ним сердца, как свечи, рдели,

«Отцам, собратиям и сестрам,
Христовым трудникам, невестам,
Любви и веры адамантам,
Сребра разжѣнного талантам,
Орлам ретивым пренебесным,
Пустынным скименам безвестным
Лев грома в духе говорит,
Что от дьявольских копыт
Болеет мать земля сырая,
И от Норвеги до Китая
Железный демон тризну правит!
К дувану адскому, не к славе,
Ведут Петровские пути!..
В церковной мертвенной груди
Гнездится змей девятиглавый...
Се Лев радельцам веры правой
Велит собраться на собор —
Тропой, через Вороний бор,
К Денисову кресту и дале
На Утоли Моя Печали!..
А на собор пресветлый просим
Макария — с Алтая лося,
От Белой пагоды Дракона,
Агата — столпника с Афона,
С Ветлуги деву Елпатею,
От суфиев — Абаза-змея,
Да от рязанских кораблей
Чету пречистых Голубей,
Ещё Секиру от скопцов!..
Поморских братий и отцов,
Как ель, цветущих недалёко,
Мы известим особь сорокой!»
Так мамины гласили свитки —
Громов никейских пережитки.
Земным поклоном бегуны
Почтили отзвуки струны
Узорной корсунской псалтыри,
Чтоб разнести по русской шири,
Как вьюга, искры серебра
От пустозерского костра*.

1930. На Покров день.

* Здесь в рукописи имеется запись: «Поэма „Последняя Русь“ ещё не кончена; 1) собор отцов, 2) смерть матери, 3) явление матери падчерице Арише с предупреждением о страшной опасности, 4) Ариша с дочерью Настенькой на могилке Пашеньки».

* * *

Денисов крест с Вороньим бором
Стоят, как воины дозором,
Где тропы сходятся узлом.
Здесь некогда живым костром,
Белее ледовитых пен,
Две тысячи отцов и жен
Пристали к берегу Христову.
Не скудному мирскому слову
Узорить отчие гроба,
Пока архангела труба
Не воззовет их к веси новой,
Где кедром в роще бирюзовой
Доспеет русская судьба.

* * *

Денисов крест — потайный знак,
Что есть заклятый буерак,
Что сорок вёрст зыбучих мхов
Подземной храмины покров.
В неё, по цвету костяники,
Стеклись взыскующие лики:
Скопец-Секира и Халдей,
Двенадцать вещей медведей
С Макарием — лесным Христом,
Над чьим смиренным клобуком
Язык огня из хризолита,
И Елпатея — риза скита
Из омофорных подоплёк —
Все объявились в час и срок.
В подземной горнице, как в чаше,
Незримым опахалом машет
И улыбается слюда —
Окаменелая вода
Со стен, где олова прослой
И скопы золота, как рои,
По ульям кварца залегли,
То груди Матери-земли
Удоем вспенили родник.
Недаром керженский мужик,
Поморец и бегун от Оби
Так величавы в бедном гробе.
«Образ есть неизреченной славы», —
Поют над ними крыльев сплавы,
Очей, улыбок, снежных лилий.

В их бороды из древних былей
Упали башни городов,
Как в озеро зубцы лесов.
И в саванах, по мхам олени, —
Блуждают сонмы поколений
От Вавилона и до Выга...
Цвети, таинственная книга
Призеров чарых и метелей,
Быть может, в праздник новоселий
Кудрявый внук в твои разливы
Забросит невод глаз пытливых,
Чтоб выловить колдунью-рыбу —
Певучеротую улыбу!
Но ты, железный воронёнок,
Кому свирель лесных просонок
Невнятна, как ежу купава,
Не прилетай к узорным травам,
Оне обожжены грозой —
России крестною слезой!
И ты, кровавый, злобный ящер,
Кому убийство песни слаще
И кровь дурманнее вина,
Не для тебя стихов весна,
Где под ольхую, в пёстрой зыбке
Роятся иволги-улыбки,
И ель смолистой едкой титькой
Поит Алёнушку с Микиткой
(То бишь, Федюшу с Парасковьей.
К чему приводит цветословье!).

Собор пресветлый вёл Макарий,
Весь в хризолитовом пожаре,
И с ним апостолы-медведи —
В убрусах из закатной меди,
Венцы нездешней филиграни.
«Отцы и сестры, на Уране
Меч указывает судный час,
Разодран сакоса атлас,
И веред на церковной плоти,
Как лось, увязнувший в болоте,
Смердящим оводом клокочет.
Смежила солнечные очи
София на семи столпах.
И сатана в мужицких снах
Пасёт быков железнорогих.
Полесья наши, нивы, логи

Ад истощает ясаком, —
Удавленника языком
Он прозывается машиной!..
(Слышатся удары адского молота,
храмина содрогается,
слюда точит слёзы, колчеданы
обливаются кровью.)
За остяка, араба, финна
Пред вечным светом Русь порука —
Её пожрёт стальная щука!
И зарный цвет во мгле увянет,
Пока на яростном Уране
Приюта Сирин не совьёт,
Чтоб славить Крест и новый род,
Поправший смертью чёрный ад!
И будет Русь, как светлый сад,
Где заступ с мачехой-могилой,
Как сторож полночью унылой,
Не зазывает в колотушку
Гостей на горькую пирушку!
Нам адский молот ворожит,
Что сгибнет бархат, ал и рыт,
И в русский рай, где кот-баюн,
Стучатся с голодом колтун.
И в красном саване пришлец,
Ему фонарь возжёт мертвец.
А в плошку вытопили жир
С могильным аспидом вампир..
О горе, горе! Вижу я
В огне родимые поля, —
Душа гумна, душа избы,
Посева, жатвы, бороньбы,
Отлётным стонет журавлём!..
Убита мать, разграблен дом,
И сын-злодей на пепелище
Приюта милого не сыщет,
Как зачумлённый волк без стаи!..
Но нерушимы Гималаи —
Блаженных сеней покрывало.
Под океан, тропинкой малой,
Отбудем мы в алмазный город,
Где роковой не слышен молот,
Не полыхает саван злой,
Туда жемчужною тропой
К святым собратиям в соседи
Нас поведут отцы-медведи!»

Собор отвечивал: «Аминь!»
Макарию, с Алтая лося.
Абаз поднялся, смугл, как осень
В тигриных зарослях Памира,
В его руках сияла лира,
И цвет одежд был снежно синь.

Как полевой тысячецвет
Звенит, подругу опыляя,
Так лира чарая, чужая,
Запела горлицей из рая
Медвежьей мудрости в ответ:
«От розы и змеи рождён,
Я помню сладостный Сарон
И голубой Генисарет,
Где несмываем лёгкий след
Стопы прекраснейшего мужа —
По нём струна рыдать досужа!
Ему в пастушеском Харране
Передо мной дано заране
Горящим тернием цвести, —
Не потому ли у Абаза
Сосцы — две розы из Шираза
И пламя терпкое в кости?!
Велик Сиам и древни Хмеры,
Порфирный Сива пьёт луну
И видит Пермскую весну
Из глубины своей пещеры.
Цветёт берёста, лыко, прель,
В смолистых иглах муравейник,
И внуку дедушка-затейник
Из древесины свил свирель.
Туру-ру-ру! Пасись, олень,
Рядись, земля, в янтарь и ситцы.
Но не в берёзовый златень
Родятся матереубийцы!
Есть месяц жадных волчьих стай,
Погонь и хохотов совиных,
Когда на пастбищах ослиных
С бодягой пляшет молочай.
Тогда у матери родящей
Змея вселяется в приплод,
И в светлый мир приходит кот,
Лобато-рыжий и смердящий.
На роженичное мяу
Ад вышлет нянюшку-змею

Питать дитя полынным жалом,
И под неслышным покрывалом
Котёнка выхолит рогатый...
Он народился вороватый,
С нетопырем заместо сердца,
Железо — рёбра, сталь — коленцы,
Убийца матери великой!..»
И блюдом с алой земляникой
Оборотилась лира с певчим —
Все причастились телом вещим
И кровью сладостно певучей.
Меж тем с базальтовых излучин,
Хрустальный колоколец в горле
(Её с икон недавно стёрли),
Монисто из рублей хазарских, —
Запела птица роцц цесарских:
«К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мёртвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские не звонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!
К нам тучи вести занесли,
Что Волга синяя мелеет,
И жгут по Керженцу злодеи
Зеленохвойные кремли,
Что нивы суздальские, тлея,
Родят лишайник да комли!
Нас окликают журавли
Прилётной тягою в последки,
И сгибли зябликов насадки
От колтуна и жадной тли,
Лишь сыроежкам многолетки
Хрипят мохнатые шмели!
К нам вести чёрные пришли,
Что больше нет родной земли,
Как нет черёмух в октябре,
Когда потёмки на дворе
Считают сердце колуном,
Чтобы согреть продрогший дом,
Но, не послушны колуну,
Поленья воют на луну.
И больно сердцу замирать,
А в доме друг, седая мать!..
Ах, страшно песню распинать!
Нам вести душу обожгли,

Что больше нет родной земли,
Что зыбь Арала в мёртвой тине,
Замолк Грицько на Украине,
И Север — лебедь ледяной
Истёк бездомною волной,
Оповещая корабли,
Что больше нет родной земли!».

Разбился бубенец хрустальный,
И, как над мисой поминальной,
Сединами поникли старцы.
Бураном перекрылись кварцы,
И тихо плакала слюда —
Окаменелая вода.
А маменька и Елпатя
От половчанина-злодея
Оборонялись силой крестной.
Но вот из рощи пренебесной
В тайник дохнуло фимиамом,
И ясно зримы храм за храмом,
Как гуси по излучке синей,
Над беломорскою пустыней
Святыни русские вспарили,
Все в лалах, яхонтах, берилле:
Егорий ладожский, София,
Спас на Бору, Антоний с Си
И с Верхотурья Симеон.
Нередицы в атласном корзне
Четою брачною и в розне
Текли и таяли, как сон.
И золотой прощальный звон
Поил, как грудью, напоследки
Озёра, камни, травы, ветки,
Малиновок в дупле корявом...
Прощайте, возопил собор,
Святая Русь отходит к славам,
К заливам светлым и купавам
Под мирликийский омофор!
Вот пронеслись, как парус, Кижь —
Олонецкая купина,
И всех приземистей и ниже,
Кого, как чёлку, кедры лижут,
Чтоб не ушла от них она,
Проплыл Покров, как пелена,
Расшитая жемчужным стёгом.

К отлётным выпреним дорогам
Мы долго простирали руки...
«Беру Владычицу в поруки,
Что не покину я тебя,
О Русь, о горлица моя!..» —
Рыдала дева Елпатея.
«Пусть у диавола и змея
В железной кише тайн тьма, —
Моя сиротская сума
Благоуханнее Ширази.
В подземном граде из алмаза
Берёзке ль керженской цвести?
Садовник вечный, обрати
Меня в убогую былинку,
Чтобы не в сыть на сиротинку
Овце комолой набрести!»
И голос был: «Да будет тако!»
И полевым плакучим маком
Оборотило Елпатею, —
Его не скосят, не посеют
За горечь девичьих слезинок,
Пока для злаков и былинки
Приходит лекарем апрель...
«Проснись, Николенька, кудель
Уже допрялася по спицу!..»
Гляжу, домашние все лица,
И в горенку от заряницы
Летят малиновки, касатки,
И сказка из сулейки сладкой
Меня поит цветистым суслом...
Готов наш ужин, крепко взгусло
В лесном чумазом котелке,
Но не лазурно на реке,
Пока не полноводно русло.
Так я лишь в сорок страдных лет
Даю за родину ответ,
Что распознал её ракиты
И месяц, ложкою изрытый,
Пирог румяный на отжинки —
Месопотамии поминки,
И что сады Александрии
Цвели предчувствием России!

Усни, дитя, забыв гоненье,
Пока вскипает песнопенье!

* * *

У лосёнка моего
Нет копытца одного.
Где ты, милое копытце? —
Дано облачку напитокся.

Звонок ковшик золотой,
Полон солнечной водой,
А на дне резвится рыбка,
Предрассветная улыбка.

Скоро розовый хромуша
Задудит: дед, дай покушать!
И хоть беден котелок,
Да зато горяч кусок!

На заедку сизый лось
Выпьет душу — ягод гроздь.
Будет в чуме жить душа,
Веретёнцем верезжа.

Чтобы пряла эскимоска
Из крапивы нитку лоско —
Сказку вьюжную про нас
С ярким инеем прикрас:

Жил да был медвежий дед,
Самый вещий самоед,
С ним серебряный лосёнок,
От черёмухи ребёнок.

Знать, черёмуха-девица —
Заревая рукавица,
Заняла красы у шубы,
И родился лось голубый!

Золочёные копытца!..
Сказка длится, длится, длится!
Села ближе к очагу —
Я, мол, клад устерегу!

* * *

Клад ты мой цареградский —
Песня — лапоть бурлацкий,
Расписная волжская беляна,

Убаюкала царевича Романа,
Распрекрасную зазнобу — Василису, —
Полонит их ворог котобрысьи!
Аksamиты, объяри разграбит,
Чистоту лебяжью распахобит.
Приволочит красоту на рынок:
За косушку — груди — пара свинок,
А за шкалик — очи — сине море,
Маргариты, зёрна на уборе!
За алтын — в рублях арабских косы,
Песню-сокола, плеч снежные заносы,
На закуску сердце — рыбник свежий,
Глубже звёзд, певучей заонежий!
Ах ты клад заклятый, огнепальный,
Стал ты шлюхой пьяной да охальной,
Ворон, пёс ли — всяк тебя облает:
«В октябре родилось чучело, не в мае...»
Аржаное моё чучело,
Что тебя замучило?
Солоду, гречихе да гороху
Без тебя бездомно, дюже плохо.
Жило ты в домашности — печь с развалом,
Сермяжное, овчинное, лаптем щи хлебало,
А щи-те костромские, ядрёные,
Котлы-те черемисиной долблёные,
А полати-те — пазуха теплущая,
А баба-те гладкая, радущая,
А Бог-те в углу с хлебной милостью,
Борода, как стог, глаза с разливностью,
По разливам, по заглазьям, лукоморьям
В светлый Град проложен путь Егорьем.
Тем бы волоком достигнуть околицы,
Вышли бы устрет все богородицы.
Семиозерная, Толгская, Запечная,
Нерушимая Стена, Звездотечная,
Сладкое Лобзание, Надежда Ненадежных,
Спасение На Водах безбрежных,
Узорошительница, Споручница Грешных,
Умягчение Злых Сердец кромешных,
Спорительница с манным коробом
Повышли бы к Федоре целым городом.
Мол, кровинушка наша, Федора,
Ждёт тебя Микола у собора,
Пётр, Алексей, Иона, —
Для тебя сошли они с иконы.
Сергий с Пересветом да Ослябей

Не помянут твоей дурости бабьей.
Варвара, Парасковья-пятница
С чашой, что вовек не убавится,
Ефросинья — из Полоцка письмовница,
А за ними вся небесная конница!
Да не сподобил Господь, чтобы чучело
Купиною розвальни навьючило,
Напустил змею котобрысую
На беляну с распрекрасной Василисою.
А и стали красоту пытаться-крестовать:
Ты ли заря, всем зарницам мать?
Отвечала краса: Да!
Тут ниспала полынная звезда, —
Стали воды и воздухаи желчью,
Осмердили жизнь человечью.
А и будет Русь безулыбной,
Стороной нептичной и нерыбной!
Взяли красоту в зубы да пилы:
Ты ли плачешь чайкой белокрылой?
Отвечала невеста: Да!..
Тут пошли огнём города —
Дудя на волчьих свирелях,
Закрутились бесы в метелях,
Верхом на черепе Верефер,
Молот в когтях против сил и вер:
«Стань-ка, Русь, барабанной шкурой,
Дескать, была дубовою дурой,
Верила в малиновые звоны,
В ясли с младенцем да в месяц посконный!».
Томили деву чёрным бесчестьем —
Ты ли по валдайским безвестьям
Рыдала бубенцом поддужным
И фатой метельной, перстнем вьюжным
Обручилась с Финистом залётным?
И калымом сукам подворотным
Ярославне выкололи очи...
Ой, Каял-река! Ой, грай сорочий!
Ой, бебрян рукав! Ой, раны княжьи!

Гляжу: на материнской пряже
Горит купальский светлячок —
Его бы в брачный перстенёк
Или в иконную репейку.
Вот переполз на душегрейку
И таять стал... Слеза родимой
Сберётся пчёлкою незримой,

Чтоб в божьем улье каплей мёда
Благоухать за жизнь народа —
От матери за мать златница!..
«Николенька, тебе синица
Нащebetала лапотки
И лёгкий путь на Соловки
К отцу Савватию с Зосимой,
Чтоб адамантовою схимой
Тебя укрыть от вражьей сети!
Пройдёт немного зим, пролетишь,
И для меня сошьют коты —
Идти в селенья красоты,
Кувшинке к светлости озёр, —
Так кличет лебедем — собор,
И семилетняя разлука —
За прялкой зимняя докука,
Лишь сердца сладостный порез, —
Христос воскрес! Христос воскрес!
Запомни, дитяtko, годину,
Как белоцветную калину, —
Твою невесту под окном,
Что я усну в калинов цвет
Через семь плакучих лёгких лет
Невозмутимым гробным сном!
Я не страшусь могильной кельи,
Но жалко ивовой свирели
И колокольцев за рекой!
Тебе даётся завещанье,
Чтоб мира божьего сиянье
Ты черпал горсткой золотой,
Любил рублёвские заветы,
Как петел синие рассветы
Иль пальцы девичья игла:
Красотоделатель Савватий
На голубом небесном плате
Не шьёт свиного крыла!
Поморью любви души-чайки,
Как печь белёная хозяйке,
Оне приветны и моржу...»
«Родимая, ужель последний
Я за твоей стою обедней
И святцы красные твержу?»
«Уже пятнадцать миновало,
У лося огрубело сало,
А ты досель игрок в лапту, —
Пора и пострадать немного

За Русь, за дебренского Бога
В суровом Анзерском скиту!
Там старцы Никона новиной,
Как вербу белую осиною,
Украдкой застыт древний чин.
Вот почему старообрядцы
Елиазаровские святцы
Не отличают от старин!»

* * *

«Преподобне отче Елиазаре, моли Бога о нас!»
И так пятьсот кукушьих раз
Иль иволги свирельних плачей.
Но послушанье мёда паче,
Белей подснежников лесных.
«Скиту поружен, как жених
Иль колоб алый, земляничный,
Николенька сладкоязычный,
Зело прилежный ко триоди.
Уж в чёрном лапотном народе
Гагаркою звенит молва,
Что Иоанова глава
Явила отрочати чудо
И кровью кануло на блюдо».
Так обо мне отец Никита
Оповестил архимандрита.
Игумен душ, лесных скитов,
Где мерен хвойный часослов,
Весь — борода, клубук да посох,
Осенним стогом на покосах
Прошелестел: «Зело, зело!..
Покуль бесовское крыло
Не смыло злата с отрочати,
Пусть поначалится Савватий!
У схимника теплы полати
И чудотворны сухари,
А квас-от — солод от зари,
А лестовки — семужьи зёрны,
А Спас-от ярый, тайновзорный!
Опосле Мишка-балагур.
Хоть косолап и чернобур,
Зато, как азбука живая,
Научит восходить до рая!»
Честному Авве боле сотни,
Он сизобраз, как пух болотный,

С заливами лазурных глаз,
Где мягкий зыблется атлас,
И помавают тростники —
Сюда не помыслов чирки,
А нежный лебедь прилетает
И берег вежд крылом ласкает,
Чтоб золотилися пески.
Кто видел речку на бору,
Глубокую, с водою вкусной,
С игрою струй прозрачно грустной,
Как след резца по серебру, —
Она пригоршней на юру
Сосновой яри почерпнула
И вновь, чураясь шири, гула,
Лобзает светлую сестру —
Молчание корней, прогалов...
Лишь звёзд высоких покрывало
Над нею ткётся невозбранно —
Таков, вечерне осиянный
И древний схимник Савватий.
К нему с небесных Византий
Являлся житель чудодейный,
Как одуванчик легковейный,
С лотком оладий, калачей,
Похожих на озёрный месяц
Косым прозрачным пирожком,
И звал в нерукотворный дом
От мочежин и перелесин...
«Погодь маленько, паренёк,
Пока доспеет лапоток
И заживёт у мишки ухо,
Его разъела вошь да муха,
Да выбродит в Лубянке квас».
И с той поры ущербный лапотъ
Не устает берёстой капать,
Медведь развёл на шубе улей,
А квас зарницею в июле
То искритса, то крепнет дюже,
Святой же брезжит, не остужен,
Речной лазурной глубиной,
И сруб с колодой гробовой
Напрасно ждёт мощей нетленных.
Как хорошо в смолисто-пенных
И в строгих северных лесах!
«Подъязык ты, а не монах,
Иль под корягой ёрш вилавый!

Послушай, молятся ли травы,
Благословясь ли снегири
Клюют в кормушке сухари?
Как у топтыгина с ушами?..»
И было в келье мне, как в храме,
Как в тайной завязи зерну.
«Ну, подплывай, мой ёрш, к окну!
Я покажу тебе цветую!..» —
И Авва, взяв сухую дулю,
Тихонько дул на кожуру.
И — чудо: дуля, как хомяк,
От зимней дрёмы воскресала,
Рожила листья, цвет, кору
И деревцем в ручей проталый
Гляделась в слюдяный мрак,
Меж тем, как вечной жизни знак,
В дупельце пёстрая синичка,
Сложив янтарное яичко,
Звенела бисерным органцем...
Обожжен страхом и румянцем,
Я целовал у старца ряску
И преподобный локоток.
«Плыви, ершонок, на восток
Дивиться на сорочью сказку.
Она с далёкого Кавказья
На Соловки летит с оказьей,
С письмом от столпника Агапа,
А чтоб беркут гонца не сцапал,
На грудку, яхонтом пылая,
Надета сетка золотая —
В такой одежине сороку
Не закогтит ни вран, ни сокол.
Перекрестясь, воззрись в печурку, —
Авось закличешь балагурку!
Ау! Ау! Сорока, где ты?»
Гляжу, предутрием одеты,
Горища, лысиной до тучи,
И столп ступенчатый у кручи,
Вершина — русским голубцом,
Цветёт отеческим крестом.
На подоконнике сорока —
Зелёный хвост и волоока,
Пылает яхонтом кольчуга.
На Соловки примчатся с юга —
Пот птичий и гусиной стае!..
Вот поднялась, в тумане тая,

Скатилась звёздочкою в дол...
«Ох, батюшка, летит орёл!..»
Но вестник плещет против солнца,
И лучик, кольче веретёнца.
Пугает страшного орла...
Вот день, закаты, снова мгла.
Клубок летучий ближе, ближе,
Уже полощется, где Кижы,
Онего, синий Палеостров
И Кемский берег нерпой пёстрой.
Сюда!.. Сюда!.. «Чир-чир! Чок-чок!»
«Встречай туркиню, голубок!»
И схимник поднимал заслонец.
Не от молитвенных бессонниц,
Постов, вериг семифунтовых,
Я пил из ковшиков еловых
Нездешних зорь живое пиво, —
Есть Бог и для сороки сивой!
Что ковш, то год... Четыре... Пять...
И бледной голубикой мать
Цвела в прогалине душевной.
Топтыгин шубою пригревной
Неясный растоплял озноб...
Откуда он — спорынный сноп
На ниве, вспаханной крылами
Пустынных ангелов и зорь?
Есть горе — сом и короб — горь.
Одно, как заводи, зрачки
Лопатой плавников взрывает,
Седому короб не с руки,
А юный горе отряхает,
Как тину резвая казарка,
Но есть зловещая знахарка
С гнилым дуплом вместо рта,
Чьи заклинания — песта
В ночном помолу стук унылый,
В нём плаха, скрежеты, могилы,
На трупе слизней чёрный ужин!..
Я помню месяц неуклюжий
Верхом на ели бородатой
И по-козлиному рогатой,
Он кровью красил перевал.
Затворник, бледный, как опал,
В оправе схимы воронёной,
Тягчайше плакал пред иконой
Под колокольный зык в сутёмы.

А с неба низвергались ломы,
Серпы, рогатины, кирьги...
Какие тайные враги
Страшны лазурной благостыне?
«Узнай, лосёнок, что отныне —
Затворены небес заставы,
И ад свирепую облавой,
Как волк на выводок олений,
Идёт для ран и заколений
На Русь, на Крест необоримый.
Уж отлетели херувимы
От нив и человечьих гнёзд,
И никнет колосом средь звёзд,
Терновой кровью истекая,
Звезда монарха Николая, —
Златницей срежется она
Для судной жатвы и гумна!
Чу! Бесы мельницей стучат,
Песты размалывают души, —
И сестрин терем ворог-брат
Под жалкий плач дуваном рушит,
Уж радонежеских лампад
Тускнеют перлы, зори глуше!
Я вижу белую Москву
Простоволосою гулёной,
Её малиновые звоны
Родят чудовищ наяву,
И чудотворные иконы
Не опаляют татарву!»
«Безбожие свиной хребёт
О звёзды утренние чешет,
И в зыбуны косматый леший
Народ развенчанный ведёт,
Никола наг, Егорий пеший
Стоят у китежских ворот!
Деревня в пазухе овчинной,
Вскормившая судьбу-змею,
Свивает мёртвую петлю
И под зарёю пестрядинной,
Как под иудиной осиной,
Клянёт питомицу свою!

О Русь! О солнечная мати!
Ты плачешь роем едких ос,
И речкой, парусом берёз
Ещё вздыхаешь на закате.

Но позабыл о Коловрате
Твой костромич и белоросс!
В шатре Батыя мёртвый витязь,
Дремуч и скорбен бор ресниц,
Не счесть ударов от сулиц,
От копий на рязанской свите.
Но дивен Спас! Змею копытя,
За нас, пред ханом павших ниц,
Егорий вздыбит на граните
Наследье скифских кобылиц!»

Так плакал схимник Савватий!
И зверь, печалуясь о брате,
Лизал слезинки на полу.
И в смокке плакала синичка,
Уж без янтарного яичка,
Навек обручена дуплу —
Необоримому острогу...
Ах, взвиться б жаворонком к Богу!
Душа моя, проснись, что спишь!..
Но месяц показал нам шиш,
Грозя кровавыми рогами, —
И я затрепетал по маме,
О сундуке, где Еруслан
Дозорит сполох-сарафан,
Галчонком, в двадцать крепких лет..
Прощай, мой пестун, бурый дед!
Дай лапу в бодожок дорожный!..
И, спрятав когти, осторожно
Топтыгин обнимал меня,
И слёзы, как смола из пня,
Катились по щекам бурнастым...
Идут кривым тюленьим ластам
Мои словесные браслеты!..

* * *

На куполах живут рассветы,
Ночам колокола — светёлка,
Оне стрижами, как иголкой,
Под ними штопают шугаи.
Но лишь дойдёт игла до края,
Предутрие старух сметает
Пушистой розовой метлой,
И ангел ковшик золотой
С румяною зарничной брагой

Подносит колоколу Благо.
Опосле Лебедю, Сиону —
Для чистоты святого звона.
Колоколам есть имена.
О том вещают письма
И годы светлого рожденья,
Чтобы роили поколенья
Узорных сиринов в ушах
Дырявым штопалкам на страх!
Качает Лебеда звонарь,
И мягко вздрагивает хмарь,
Как на карельских гусях жилы.
То Лебеда — звон золотокрылый!
Он в перьях носит бубенцы.
Жалеек, дудочек ларцы.
А клюв и лапки из малины,
И где плывёт, там цвет кувшинный
Алеет с ягодой звончатой.
Недаром за двоперстной хатой,
Таяся, ликом на восток,
Зорит малиновый садок —
Для девичьей души услада.
Пока Ильинская лампада
В моленной теплет огонёк,
И в лыке облачном пророк
Милотью плещет Елисею,
Сама себя стыдясь и млея,
За первой ягодкой-обновой
Идёт невестою Христовой
Дочь древлей веры и креста.
И, трижды прошептав «Достоинно»,
Купает в пурпуре уста,
Чтоб слаже была красота!
Сион же парусом спокойно
Из медной заводи своей,
Без зорких кормчих, якорей
Выходит в океан небесный,
И, грудь напружа, льёт глаголы,
Чтоб слышали холмы и доли,
Что Богородице полесной
Приносят иноки дары
И протопопы-осетры,
Тресковый род, сигов двory
Обедню служат по Сиону.
Во Благо клонятся к канону
И на отход души блаженной,

Чтоб гусем или сайкой нежной
Летела чистая к Николе,
Опосле в сельдяное поле
Отведать рыбки да икрицы...
Есть в океане водяницы,
Княжны мариские, царицы,
Их ледяные города
Живой не видел никогда,
Лишь мертвецы лопарской крови
Там обретают снедь и кровы,
Оленей, псов по горносталям, —
Что поморяне кличут раем;
Вот почему мужик ловецкий,
Скуластый инок соловецкий
По смерти птицами слывут
С весенней тягой в изумруд,
В зелёный жемчуг эскимосский,
Им крылья — гробовые доски,
А саван уподоблен перьям
Лететь к божаткам и деверьям,
Как чайкам, в голубые чумы.
Колоколам созвучны думы
Далёких княжичей мариских,
Оне на плитах ассирийских
Живут доселе — птицы те же,
Оленьи матки, сыр и вежи!

* * *

Усни, дитя! Колокола
В мои сказанья ночь вплела,
Но чайка-утро скоро, скоро
Посеребрит крылом озёра!
Твой дед тенёта доплетёт,
Утиный хитрый перемёт,
Чтобы увесистый гусак
Порезал шею натоцак
О сыромятную лесу,
Иль заманил в капкан лису
На шапку добрый лесовик...
Не то забормотал старик!
Колокола... Колокола...
И саван с гробом — два крыла!
Уж пятьдесят прошло с тех пор,
Как за ресницей жил бобёр,
Любовь ревниво зазирая,

И, искры с шубки отряхая,
Жила куница над губой,
Но всё прошло с лихой судьбой!
Не то старик забормотал!
Подброшу хвороста в чувал
И с забиякой огоньком
Спою акафист о былом!
Как жила Русь, молилась мать,
Умея скорби расшивать
Шелками сказок, ярью слов
Под звон святых колоколов!

* * *

В калигах и в посконной рясе,
В пузатом сумском тарантасе
От хмурой Колы на Крякву
Я пробирался к Покрову,
Что на лебяжьих перепутьях.
Поземок-ветер в палых прутьях
Запутался крылом тетерым,
По избам Домнам и Лукерьям
Мерещатся медвежьи сны,
Как будто зубы у луны,
И полиняли пестрядины
У непокладистой Арины, —
Крамольщицу карает Влас...
Что ал на штофнике атлас
У Настеньки, купецкой дочери,
И бык подземный на Печере,
Знать, к неулову берег рушит,
Что глухаринные кладуши
В осоке вывели цыплят —
К полесной гари... «Эй, Кондрат,
Отложь натруженные возжи,
И бороду — каурый стог
Развей по ветру вдоль дорог!...»
«С никонианцем нам не гоже...»
«Скажи, Кондратушко, давно ли
Помор кручинится недолей?
И плат по брови поморянке
Какие сулят лихоманки?
Святая наша сторона,
Чай, не едала толокна
Не расписной, не красной ложкой
И без повойницы расплошкой

У нас не видывана баба!..»
«Никонианцы — нам расслаба!»
И вновь ныряет тарантас —
Затёртый хвоями баркас.
Но что за блеск в еловой клетке?
Не лесовик ли сушит сети,
Не крест ли меж рогов лосиных,
Или кобыл золотоспинных
Пасёт полудник, гривы чешет?
То вырубок седые плечи
В щетине рудо-жёлтых пней!
Вон обезглавлен иерей —
Сосна в растерзанной фелони,
Вон сучьев пади, словно кони
Забросили копыта в синь.
Берёзынька — краса пустынь.
Она пошла к ручью с ведерцем
И перерублена по сердце,
В криницу обронила душу.
Укрой, Владычица, горяшу
Безбольным милосердным платом!..
Вон ель — крестом с Петром распятым
Вниз головой — брада на ветре...
Ольха рыдает: Петре! Петре!
Вон кедр — поверженный орёл,
В смертельной муке взрыл когтями
Лесное чрево, и зрачками,
Казалось, жжёт небесный дол,
Где непогодный мгlistый вол
Развил рога, как судный свиток.
Из волчьих лазов голь калиток,
Настигло лихо мать-пустыню,
И кто ограбил бора скрыню, —
Златницы, бисеры и смазни,
Злодей и печенег по казни, —
Скажи, земляк!.. И вдруг Кондратий,
Как воин булавой на рати,
В прогалы указал кнутом:
«Знать ён, с кукуйским языком!»
Гляжу — подобие сыча,
И в шапке бабе до плеча,
Треногую наводит трубку
На страстнотерпную порубку.
Так вот он, вражий поселенец,
Козява, короед и немец,
Что комаром в лесном рожке

Зовёт к убийству и тоске!
Он — в лапу мишкину заноза,
Савватию — мирские слёзы,
Подземный молот для собора!..
И солью перекрыло взоры,
Мои, ямщицкие Кондрата.
Где вёрсты, вьюги, перекаты,
Судьба — бубенчик, хмель, ночлеги...
«Эх, не белы снежки — да снеги!..
Так сорок поприщ пели мы,
Колодники, в окно тюрьмы,
В последний раз целуя солнце.
И нам рыдало в колокольце:
«Антихрист близок! Гибель, гибель
Лесам, озёрам, птицам, рыбе!..
И соль струилась по щекам...

По рыболовным огонькам,
По яри кедровых полесий
Я узнавал родные веси.
Вот потянуло парусами,
Прибойным плеском, неводами,
А вот и дядя Евстигней
С подковным цоком, звоном шлей
Повыслан маменькой навстречу!..
Усекновенного предтечу
Отпраздновать с родимой вместе!
В раю, где писан на бересте
Благоуханный патерик —
Поминок Куликова поля,
В нём реки слезотечной соли
Донского омывают лик.
О радость! О сердечный мёд!
И вот покровский поворот
У кряковиных подорожий!
Голубоокий и пригожий,
Смолисторудый, пестрядной,
Мне улыбался край родной,
Широкоскуло, как Вавила, —
Баркасодел с моржовой Силой,
Приветом же теплей полатей!
Плеща и радуясь о брате,
На серебряном языке
Перекликались озёра,
Как хлопья снега в тростнике,
Смыкаясь в пасмы и узоры,

Плясали лебеди... Знать, к рыбе
Лебяжьи свадьбы застыт зыби!
Князь брачный, оброни перо
Проезжим людям на добро,
На хлеб и щи — с густым приваром,
И на икру в налиме яром,
На лён, на солод, на пушнину.
На песню — разлюли малину,
На бусы праздничной избы
С вязижным дымом из трубы!
Вот захлебнулись бубенцы —
По гостю верные гонцы, —
Заперешёптывались шлеи,
И, не спросясь у Евстигнея,
К хоромам повернул буланный, —
Хлестнуло веткой росно пряной,
И прямо в губы, как волчок,
Лизнул домашний ветерок» —
Волчку же пир за караваем,
Чтобы усердным пустолаем
Обрядной встречи не спугнуть.
К коленям материнским путь
Пестрел ромашкой, можжевелем,
Пчелиной кашкой, смолкой, хмелем,
А на крылечных рундуках
С рассветным облачком в руках —
Владычицей Семиозёрной,
Как белый воск, огню покорный,
Сияла матушка... Станицей
За нею хоры с головщицей,
Мужицкий велегласный полк,
И с бородой, как сизый шёлк,
Начётчик Савва Стародуб, —
Он для меня покинул сруб
Среди болотных ляг и чарус,
Его брада, как лодку парус,
Влекла по океану хвои,
Чтобы пристать к избе мирской,
Где соловецкой бедной рясе
Кадят тимьяном катавасий!
Но предоволен прозорливец,
На рундуке перёных крылец
Семь крат положено метанье,
И, погрузив лицо в сиянье
Рассветной тучки на убрусе,
Я поклонился прядью русой

И парусовой бороде:
«Христу почёт, а не руде,
Не праху в старческом азяме!..»
А сердце билось: к маме, к маме!
Так отзвенели Соловки —
Серебряные кулики
Над речкой юности хрустальной,
Где облачко фатой венчальной,
Слеза смолистая медвежья.
Не плёл из прошлого мереж я
И не нанизывал событий
Трескою на шести и нити.
Пускай для камбалы шести!..
Стучат сердечные песты,
И жёрнов-дума мерно мелет
Медыни месяца, метели
И вести с Маточкина Шара,
Где китобойные стожары
Плывут на огненных судах,
И где в седых зубастых льдах
Десятый год затёрт отец,
Оставя матери ларец
По весу в новгородский пуд —
Самосожженцев дедов труд.
Клад хоронился в тайнике,
А ключ в запечном городке
Жил в колдобоине кирпичной,
И лишь по нуде необычной
На свет казал кротовье рыльце.
Про то лишь знает ночь да крыльца;
Избу рубили в шестисотом,
Когда по дебрям и болотам
Бродила лютая Литва,
И, словно селезня сова,
Терзала русские погосты,
В краю, где на царёвы вёрсты
Ещё не мерена земля.
По ранне-синим половодьям,
К семужьим плёсам и угодьям
Пристала крытая ладья.
И вышел воин-исполин
На материк в шеломе — клювом,
И лопь прозвала гостя — Клюев —
Чудесной шапке на помин!
Вот от кого мой род и корень,

Но смыло всё столетий море,
Одна изба кольчужной рубки
Стоит пред роком без отступки,
И, ластами в бугор вперясь,
Всё ждёт, когда вернётся князь.
Однажды в горнице ночной,
Когда хорёк крадётся к курам
И поит мороком каурым
Молодок теплозобых рой,
Дохнула турицею лавка,
И, как пищальная затравка,
Зазеленелись деда взоры:
«Почто дружиною поморы
Не ратят тушинских воров,
Иль Богородицы покров
Им домоседная онуча?
И горлиц на костёр горючий
Не кличет Финист-Аввакум?
Почто мой терем, словно чум,
Убог и скуден ратной сбруей,
И конь, как облако, кочует
Под самоедскою луной?!
Я князь, и вотчиной родной,
Как раб, не кланяюсь Сапеге!
Моё кормленье от Онеги
До ледяного Вайгача,
Шелом татарского меча
Изведал с честью не однажды...
Ах, сердце плавится от жажды
Воздать обидчикам Руси!..
Мой внук, немедля приноси
Заклятый ключ — стальное рыльце!»
И выходили мы на крыльца
Под желтоглазую луной,
И дед на камень гробовой,
В глубоком избяном подполье,
Меня сводил и горше соли
Поил кровавой укоризной:
«Вот булава с братиной тризной,
Ганзейских рыцарей оброк,
Златницы, жемчуга моток,
Икры белужниной крупнее!
Восстань, дитя, убей злодея,
Что душу русскую, как моль,
Незримо точит в прах и боль,

Орла Софии повергая!...»
И до зари моя родная
Светца в те ночи не гасила.

* * *

«Николенька, меня могила
Зовёт, как няня, тихой сказкой. —
Орлице ли чужой указкой
Господне солнце лицезреть?
Приземную оставя клеть,
Отчалу в Русь в ладье сосновой,
Чтобы с волною солодовой
Пристать к лебяжьим островам,
Где не стучит по теремам
Железным посохом хромец,
Тоски жалейщик и дудец.
Я умираю от тоски,
От чёрной ледяной руки,
Что шарит ветром-листождёром
По перелесицам, озёрам,
По лазам, пастбищам лосиным,
Девичьим прялицам, холстинам,
В печи по колобу ржаному,
По непоказному, родному,
Слезе, молитве, поцелую.
Я сказкою в ином ночую,
Где златоносный Феодосий
Святителю дары приносит,
И Ольга черпает в Корсуни
Сапфир афинских полнолуний. —
Знать неспроста Нафанаил
Меня по-гречески учил,
А по-арабски старец Савва!..
Меж уток радужная пава,
Я чувствую у горла нож
И маюсь маятой всемирной —
Абаза песенкою пирной,
Что завелась стальная вошь
В волосьях времени и дней, —
Неумолимый страшный змей
По крови русский и ничей!»
Своё успение провидя,
Родная походя и сидя
«Христос воскресе» напевала
Иль из латинского хорала

Дориносимые псалмы.
Ещё поминками зимы
Горел снежок на дне оврагов,
Когда дорогой звёздных магов
К нам гости дивные пришли,
Три старца — Перския земли.
Они по виду тазовляне,
Не черемисы, не зыряне,
Шафран на лицах, а по речи —
Как звон поленницы из печи.
Подарки матушке — коты,
Венец и саван из тафты,
А лестовку она сама
Связала как бы из псалма
Или из утренних снежинок,
В ней нити легче паутинок,
И лестовки — евангелисты,
Как лепестки, от слёз росисты!
Пошёл живой сорокоуст.
Моленна, как горящий куст
Иль яблоня в цвету тяжёлом,
Лучилась матицами, полом...
И в купине неопалимой,
Как хризопраз, лицо родимой
Сияло тонко и прозрачно.
Казалось, фатою брачной
Её покроет Стратилат,
Чтоб повести в блаженный сад,
Где преподобную София
Нарядит в бисеры драгие!
И вот на смертные каноны
Пахнуло миррой от иконы,
И голос был: «Иду! Иду!...»,
И голубым сигом во льду,
Весь в чешуе кольчуги бранной
Сошёл с божницы друг желанный
И рядом с мученицей встал,
Чтоб положить скитской начал
Перед отбытьем в путь далёкий.
Запели суфии: Иокки!
Чамарадан, эхма-цан-цан!..
Проплыл видений караван:
Неведомые города
И пилигримами года
В покровах шелестных, с клюками.
И зорькой улыбался маме

То светлый Божий Цареград,
Меж тем дворовый палисад
С поёмной ласковой лужайкой
Пестрели, словно отмель чайкой,
Толпой коленопреклонённой,
Чтоб гробом праведным, иконой,
Как полным ульем, подышать.
Дымилась водь, скрипела гать.
Всё прибывали китежане, —
От Ясных Ляг, где гон кабаний,
Из городища Турий Лоб,
И от Печёр, где узел троп
Подземной рыбы пачераги,
Что роет тёмные овраги,
Бездонный чарус, родники...
Явились в бусах остяки,
В хвостах собольих орочёны,
Услышав росомашьи стоны,
Волыночный лосиный плач...
И паволок венчальных ткач,
Цвела карельская калина.

«Николенька, моя кончина
Пусть будет свадьбой для тебя, —
Я умираю не кляня
Ни демона, ни человека!..
Моё добро ловец, калека
Под гусли славы панихидной
Пускай поделят безобидно —
Сусеки, коробки, закуты,
Шесть сарафанов с лентой гнутой,
Расшитой золотом в Торицах,
Шугай бухарский павой птицей,
По сборкам кованый галун,
И плат — атласный Гамаюн,
Они новёхоньки доселе,
Как и... в федюшины метели...
Все по рукам сестриц да братий!..
Кибитку легче на раскате,
Дорога ноне, что финить!
Счастливо, Пашенька, гостить
В светлице с бирюзовой печью!..
И невозвратно, как поречье
Сквозь травы в озеро родное,
Скатилось солнце избяное
В колодовый глубокий гроб,

Чтоб замереть в величьи строгом.
И, убеляя прошвы троп,
Погоста холм и сад над логом,
Цвела карельская калина!

Милый друг, моя кручина —
Не чувальная зола,
Что зайчонок прилегла
У лопарского котла.
Дунет ветер, и зайчок
Вздыбит лапки наутёк.
А колдунье головешке
Не до пепельной услежки,
Ей чесать кудрявый дым,
Что никем не уловим,
Ни белугой, ни орланом.
Только с утренним туманом
Он в ладах и платьем схож,
Князь крылатый без вельмож!
Пал в долину на калину
Непроглядный синь-туман, —
Не найдёт гнезда орлан.
Океан ворчит сердито:
Где утёсные граниты —
Обсушить седой кафтан?
И не плещутся пингвины.
Мёртвы гаги, рыба спит, —
Это цвет моей калины —
В пенном саване гранит!
Это сосны на Урале,
Лык рязанских волокно,
Утоли Моя Печали,
В глубине веретено!
Чу! Скрипит мерезный ворот,
Знать, известье рыбакам,
Что плывёт хрустальный город
По калиновым волнам!
Милый друг, в чувале нашем
Лишь зола да едкий чад, —
Это девушки Параши
Заревой сгоревший плат!

ГНЕЗДО ТРЕТЬЕ

* * *

Три тысячи вёрст до уезда,
Их мерил нечистый пурговой клюкой,
Баркасом — по соли, долблёнкой — рекой,
Опосле путина — пролазы, проезды,
В домашнее след заметай бородой!
Двуглавый орёл — государево слово
Перо обронил: с супостатом война!
Затучилась сила — Парфён от гумна,
Земля ячменём и у нас не скудна,
Сысой от медведя, Кондратий с улова,
Вавила из кузни, а Пров от рядна, —
Любуйся, царь-батюшка, ратью еловой!
Допрежде страды мужики поговели,
Отпарили в банях житейскую прель,
Чтоб лоснилась душенька — росная ель
Иль речка лесная — пролетья купель,
Где месяц — игрок на хрустальной свирели.
На праздник разлук привезли плачею —
Стог песенных трав, словозвучий ладью.
В беседной избе усадить на скамью
Все сказки, заклятья и клады
Устинья Прокопьевна рада!
Она сызмальства по напеву пошла,
Варила настои и пряник пекла,
Орлёный, разлапый и писанный тоже.
В невестах же кликана Устьей пригожей.
Как ива под ветром, вопила она —
Мирская обида, полыни волна.
Когда же в оконце двуглавый орёл
Заклёкал, что ставится судный престол,
Что книги разгнуты — одна живота,
Другая же смерти, словес красота,
Как горная просинь, повеяла небом...
То было на праздник Бориса и Глеба —
Двух сиринов красных, умученных братом.
Спешились морем — китищем горбатым —
Подводная баба кричала: «Ау!».
И срамом дразнила: хи-хи да ху-ху.
Но мы открестились от нечисти тинной.
Глядь, в шубе из пены хозяин глубинный,
Как снежная туча, грозит бородой!
Ему поклонились с ковригой ржаной

Да руги собрали по гривне с ладони,
Чтоб не было больше бесовской погони,
Чтоб царь благоверный дождался нас здравых, —
Чай, солнцем не сходит с палат златоглавых
И с башни дозорной глаза проглядел,
А сам, словно яхонт, и душенькой бел!..
Ужо-тко покажем мы ворогу прятки,
Портки растеряет в бегах без оглядки!..
Сыся на тыщу, Вавила же на пять...
Мужик государю — лукошко да лапоть,
А царь мужику, словно ведро, ломоть!
За веру лесную поможет Господь!
И пели мы стих про Снафиду,
Чтоб чёрную птицу обиду
Узорчатым словом заклясть:
Как цвела Снафида Чуриле всласть,
Откушала зелья из чарочки сладкой,
За нею Чурила, чтоб лечь под лампадкой.
Вырастала на Снафиде золота верба,
На Чуриле яблоня кудрявая! —
Эта песня велесова, старая,
Певали её и на поле Куликовом, —
Непомерное ведкое слово!
Всё реже полесья, безрыбнее губы,
Селенья ребрасты, обглоданы срубы,
Бревно на избе не в медвежий обхват,
И баба пошла — прощальский обряд, —
Платок не по брови и речью соромна,
Сама на Ояти, а бает Коломной.
Отхлынули в хмару леса и поречья,
Взъерошено небо, как шуба овечья,
Что шашель изгрыз да чуланная мышь.
Под ним логовище из труб да из крыш.
То, бают, уезд, где исправник живёт
И давит чугунок захожий народ.
Капралы орут: «Ну, садись, мужики!».
«Да будет ли гоже, моржу ли клыки
Совать под колёса железному змию?
Померимте, други, котами Россию!»
Лосей смироглазых пугали вагоны,
Мы короб открыли, подъяли иконы,
И облаком серым, живая божница,
Пошли в ветросвисты, где царь да столица.
Что дале то горше... Цигарки, матюг,
Народишко чалый и нет молодух,
Домишки гноятся сивухой

Без русской улыбки и духа!
А вот и столица — железная клеть,
В ней негде поплакать и душу согреть, —
Погнали сохатых в казармы...
Где ж Сирин и царские бармы?
Капралы орут: «Становись, мужики! —
Идёт благородие с правой руки...».
Аась, два! Ась, два!
Эх, ты родина — ковыль-трава!..
«Какой губернии, братцы?»
«Русские, боярин, лопарцы!..»
«Взгляните, полковник, — королевич Бова!»
«Типы с картины Сурикова...»
«Назначаю вас в Царское Село,
В Феодоровский собор на правое крыло!
Тебя и вот этого парю!..
Наверно, понравится государю.
Он любит пожитный... стебель.
Распорядись доставкой, фельдфебель!»

Господи, ужели меня,
В кудрях из лесного огня?..
Царь-от живёт в селе,
Как мужик... на живой земле!..
«Пролетарии всех стран...» Глядь, стрюцкий!
«Не замай! Я не из стран, — калуцкий!»

* * *

Феодоровский собор —
Кувшинка со дна Светлояра,
Ярославны плакучий взор
В путивльские вьюги да хмары.
Какой метелицей ты
Занесён в чухонское поле?
В зыбных пасмах медузы — кресты
Средиземные теплят соли.

Что ни камень, то княжья гривна!..
Закомары, печурки, зубцы,
К вам порожей розовой сливной
Приплывали с нагорий ловцы.

Не однажды метали сети
В глубь мозаик, резьбы, янтаря

В девятьсот пятнадцатом лете,
Когда штопала саван заря.

Тощ улов. Космы тины да ила
В галилейских живых неводах,
Не тогда ли душа застыла
Гололедицей на полях?!

Только раз принесли мережи
Запеклый багровый ком.
С той поры полевые омежи
Дыбят желчь и траву костолом.

Я, прохожий, тельник на шее,
Светлоярной кувшинке молюсь:
Кличь кукушкой царя от Рассеи
В соловецкую белую Русь!

Иль навеки шальная рубаха
И цыганского плиса порты
Замели, как пургою, с размаха
Мономаховых грамот листы?!

Вон он, речки Смородины заводь.
Где с оглядкой, под крики сыча,
Взбаламутила стиркой кровавой
Чёрный омут жена палача!

Вот он, праведный Нил с Селигера,
Листопадный задумчивый граб.
Кондовая сибирская вера
С мановением благостных пап!

С ним тайга, подорожие ссылок,
Баргузин, пошевеливай вал.
Воровской поселили подпилоч,
Как сверчка, в Александровский зал.

И сверчок по короткой минуте
Выпил время, как тени закат...
Я тебя содрогаюсь, Распутин, —
Домовому и облачку брат!

Не за истовый крест и лампадки,
Их узор и слезами не стёрт,

Но за маску рысиной оглядки,
Где с дитятей голубится чёрт.

Но за лунную глубь Селигера,
Где утопленниц пряжа на дне.
Ты зелёных русалок пещера
В царской ночи, в царицыном сне!

Ярым воском расплавились души
От купальских малиновых трав,
Чтоб из гулких подземных конюшен
Прискакал краснозубый центавр.

Слишком тяжкая выпала ноша —
За нечистым брести через гать.
Чтобы смог лебедёнок Алёша
Бородатую адскую лошадь
Полудетской рукой обуздать!

* * *

Был светел царский сад.
Струился вдоль оград
Смолистый воздух с мёдом почек,
Плутовки осы нектар строчек
Носили с пушкинской скамьи
В своё дупло. Казалось, дни
Здесь так безоблачны и сини,
Что жалко мраморной богине
Кувшин наполнить через край.
Один чугунный попугай
Пугает нимфу толстым клювом.
Ах, посмотрел бы Рюрик, Трувор
На эту северную благодать!
Не променяли б битвы сладость
На грот плющёвый и они?!
«Я православный искони
И Богородицу люблю,
Как подколодную змею,
Что сердце мне сосёт всечасно!
С крутыми тучами, ненастный,
Мой бог обрядней, чем Христос
Под утиральником берёз,
Фольговый, ноженьки из воска!
Моя кремнистая полоска
Взборонена когтями...» «Что ты!

Не вспоминай кромешной золоты!
Пусть нивы Царского Села
Благоухают, как пчела,
Родя фиалки, росный мак...»
«А ну ты к лешему, земляк!
Не жги меня пустой селёдкой,
Давай икры с цимлянкой водкой,
Чтоб кровью вышибало зубы!..
Самосожженческие срубы
Годятся Алексею в сказки.
Я разотру левкас и краски
Уж не на рябьином яйце!
Гнездятся чёртики в отце,
Зелёные, как червь капустный,
Ему открыт рецепт искусный,
Как в сердце разводить гусей —
Ловить рогатых карасей —
Забава царская... Ха! Ха!..
Царица же дрожит греха,
Как староверка общей мисы,
Ей снятся море, кипарисы
И на утёсе белый крест —
Приют покинутых невест,
И вдов, в покойников влюблённых!
Я для неё из бус иконных
Сварил, как щи из топора,
Каких не знают повара,
Два киселя — один из мысли,
Чтобы ресницы ливнем висли,
Другой из бабьего пупка,
Чтоб слёз наплавилась река!..
Вот этот корень азиатский
С тобою делится по-братски.
Надрежь меж удом и лобком,
Где жилы сходятся крестом,
И в ранку, сладостнее сот,
Вложи индийский приворот.
Чрез сорок дней сними удильце,
Чтобы пчелою в пьяной пыльце
Влететь, как в улей, в круг людской
И жалить души простотой,
Лесной черёмухи душистей,
Что обронила в ключ игристый
Кисейный девичий платок!..
Про зелье знает лишь Восток
Под пляс факиров у костра!..

Возьми мой крест из серебра
С индийской надписью... в нём корень!..»
Я прошептал: «Оставь, Григорий!..»,
Но талисман нырнул в ладони —
И в тот же миг, как от погони,
Из грота выбежал козёл,
Руно по бёдра, грудью гол,
С загуслым золотом на рожках...
И закопытилась дорожка,
Распутин заплясал с козлом,
Как иволга, над кувшином
Заплакала из камня баба,
У грота же, на ветке граба
Качалась нимфа белой векшей.
И царский сад, уже померкший,
Весь просквозил нетопырями,
Рогами, крыльями, хвостами...
Окрест же сельского чертога
Залёг чешуйчатой дорогой
С глазами барса страшный змей.
«Ладони порознять не смей,
Не то малявкой сгинешь, паря!»
И увидал я государя.
Он тихо шёл окрай пруда.
Казалось, чёрная беда
Его крылом не задевала,
И по ночам под одеяло
Не заползал холодный уж.
В час тишины он был досуж
Припасть к еловому ковшу,
К румяной тучке, камышу.
Но, ласков, в кителе простом,
Он всё же выглядел царём.
Свершилось давнее. Народ,
Пречистый воск потайных сот,
Ковёр, сказаньями расшитый,
Где вьюги, сирины, ракиты, —
Как перл на дне, увидел я
Впервые русского царя.
Царь говорил тепло, с развальцем,
Купецкий сын перед зеркальцем,
С Коломны — города церквей.
Напрасно ставнями ушей
Я хлопал, напрягая слух, —
В дом головы не лился дух,
И в сердце — низенькой светлице,

Как встарь, молчальницы-сестрицы
Беззвучно шили плат жемчужный.
Свершалось давнее. Семужный,
Поречный, хвойный, избяной,
Я повстречался въявь с судьбой
России — матери матёрой,
И слёзы застилали взоры, —
Дождём душистый сенокос,
Душа же рощею берёз
Шумела в поисках луча,
Бездомной иволгой крича.
Но между рощей и царём
Лежал багровый липкий ком!
С недоуменно улыбкой,
Простой, по-юношески гибкий,
Пошёл обратно государь
В вечерний палевый янтарь,
Где в дымке арок и террас
Залёг с хвостом змеиным барс.
«Коль славен наш» поёт заря
Над петропавловской твердыней
И к милосердной благодистине
Вздымает крылья-якоря.
На шпиге ангел бирюзовый.
Чу! Звякнул медною подковой
Кентавр на площади Сенатской.
Сегодня корень азиатский
С ботвою срежет князь Димитрий,
Чтоб не плясал в плющёвой митре
Козлообраз в несчастном Царском.
Пусть византийским и татарским
Европе кажется оно,
Но только б не ночлежки дно,
Не белена в цыганском плисе!
Не от мальчишеской ли рыси
Я заплутал в бурьяне чёрном
И с Пуришкевичем задорным
Варю кровавую похлёбку?
Ах, тяжко выкоптить заклёпку
Из Царскосельского котла,
Чтоб не слепила злая мгла
Отечества святые очи!..
Так самому себе пророчил
Гусарским красноречьем князь,
В утробу филина садясь
(Авто не называл Григорий).

И каркнул флюгер: горе, горе!
Беда! Мигнул фонарь воротам.

В ту ночь индийским приворотом
Моя душа — овин снопами,
Благоухала васильками.
И на радении хлыстовском,
Как дед на поле Куликовском
Изгнал духовного Мамая
Из златоордного сарая,
Спалив поганые кибитки,
Какие сладкие напитки
Сварил нам старец Селиверст!
Круг нецелованных невест
Смыкал, как слёзка перстенёк,
Из стран рязанских паренёк.
Ему на кудри мёда ковш
Пролили вётлы, хаты, рожь,
И стаей в коноплю синицы,
Слетелись сказки за ресницы.
Его, не зная, где опаска,
Из виноградников Дамаска
Я одарил причастной дулей.
Он, как подсолнечник в июле,
Тянулся в знойную любовь,
И Селиверст, всех душ свекровь,
Рязанцу за уста-соловку
Дал лист бумаги и... верёвку.
Четою с братчины радельной
Мы вышли в сад седой, метельный
Под оловянную луну.
«Овсяня кликать да весну
Ты будешь ли, учитель светлый?..
У нас в Рязани сини ветлы,
И месяц подарил узду
Дощатой лодке на пруду —
Она повыглядит кобылой.
Заржёт, окатит тёплым илом,
Я ж, уцепившись за мохры,
Быстринкой еду до поры,
Пока мой дед под серп померкший
Карасьи не расставит верши!
Ах, возвратиться б на Оку,
В землянку к деду-рыбаку,
Не то здесь душу водкой мучать
Меня писатели научат!»

«Мой богоданный вещий братец,
Я от избы, резных полатец
Да от рублёвской купины,
И для языческой весны
Неуязвим, как крест ростовской.
Мужицкой верой беспоповской
Мой дух в апостольник обряжен:
Ни лунной, ни учёной пряжей
Его вовек не замережить!..
Но чу! На Чёрной речке скрежет —
В капкане росомахи стон!..
Любезный братец, это он,
В богатых тобольских енотах,
В губе сугроба, как в воротах,
Повис над глыбкой полыньёй!..»
«Учитель светлый, что с тобой?
Не обнажайся на морозе!..
Быть может, пьяница в навозе
В тени косматого ствола!..»
Ему не виделось козла.
Сатир же под луною хныкал,
И снежной пасмой павилика
Свисала с ледяных рогов...
Под мост, ныряя меж быков
И метя валенком в копыто,
Достигли мы губы-корыта,
Где, от хорька петух в закуте,
Лежал дымящийся Распутин!
Кто знает зимний Петербург,
Исхлёстанный бичами пург
Под лунной перистой дугой,
Тот видел душ проклятых рой,
И в полыньях скелетов пляски.
В одной костяк в драгунской каске,
На Мойке, в Невке... Мимо, мимо!
Их съели раки да налимы!
«Григорий, что ли?!» И зрачок —
В пучине рыбий городок
Раскрыл ворота — бочку жира,
Разбитую на водной шири —
Крушенья знак и гиблых мест.
«Земляк... Спаси!.. Мой крест!.. Мой крест!
Не подходи к подножной глыбе.
Не то конец... Прямая гибель!..
Держуся я, поверь на слово,
За одеяние Христово.

Крестом индийским целься в скулы...
Мотри вернее!...» Словно дуло,
Навёл я руку в мглистый рот,
И... ринул страшный приворот!
Со стоном обломилась льдина...
Всю ночь пуховая перина
Нас убаюкать не могла.
Меж тем из адского котла,
Где варятся грехи людские,
Клубились тучи грозовые.
Они ударили неожиданно,
Кровавою и серной манной
В проталый тихозвонный пост,
Когда на Вятке белят холст,
А во неизвестной губернии
Гнут коробы да зубят гребни,
И в стружках липовых ложкарь
Старообрядческий тропарь
Малюет писанкой на ложке!
Ты показал крутые рожки
Сквозь бранный порох, козлозад,
И вывел тигров да волчат
От случки со змеей могильной!
России, ранами обильной,
Ты прободал живую печень.
Но не тебе поставит свечи
Ложкарь, кудрявый гребнедел!
Есть дивный образ, ризой бел,
С горящим сердцем, солнцеликий.
Пред ним лукошко с земляникой,
Свеча с узорным куличом!
Чтоб не дружить вовек с сычом
Малиновке, в чьей росной грудке
Поют лесные незабудки!

* * *

Двенадцать лет, как пропасть, гулко страшных.
Двенадцать гор, рассеченных на башни.
Где колчедан, плитняк да аспид твёрдый,
И тигров ненасытных морды!
Они родятся день от дня
И пожирают то коня,
То девушку, то храм старинный
Иль сад с аллеей лунно-длинной.
И оставляют всюду кости,

Деревья и цветы в коросте,
Колтун на нежном винограде.
С когтями чёрными в засаде
О горе, горе! — воет пёс,
О горе! — квохчет серый дрозд.
Беда беда! — отель мычит.
Бедую тянет от раки.
Вот ярославское село —
Недавно пёстрое крыло
Жар-птицы иль струфокамила.
Теперь же с заступом могила
Прошла светёлками, дворами...
По тихой Припяти, на Каме
Коварный заступ срезал цвет,
И титры проложили след.
Вот нива редкою щетиной,
В соломе просквозила кровь
(Посев не дедовский старинный —
Почтить созвучием — любовь,
Как бирюзой дешёвку ситца,
Рублёвской прориси претится).
Как будто от самой себя
Сбежала нянюшка-земля.
И одичалое дитя,
Отростив зубы, волчий хвост,
Вцепилось в облачный помост
И хрипло лает на созвездья!..
Вон в берендеевском уезде
За ветроплясом огонёк —
Идём, погреемся, дружок!
Так холодно в людском жильё
На Богом проклятой земле!..
Как ворон, ночь. И лес костляв.
Змеиные глаза у трав.
Кустарником в трясине руки —
Навеки с радостью в разлуке!
Вот бык — поток, рога — утёс,
На рёбрах смрадный сенокос.
Знать, новоселье правят бесы
И продают печёнку с весу,
Кровавых замыслов вязигу.
Вот адский дьяк читает книгу,
Листы из висельника кожи,
Где в строчках смерть могилы множит
Безкрестные, как дом без кровли!..
Повышла Техника для ловли, —

В мереже, рыбами в потоке,
Индустриальные пороки —
Молитва, милостыня, ласка,
В повойнике парчовом сказка
И песня про снежки пушисты,
Что ненавидят коммунисты!
Бежим, бежим, посмертный друг,
От чёрных и от красных вьюг
На четверговый огонёк.
Через Предательства поток,
Сквозь Лес лукавых размышлений,
Где лбы — комолые олени
Тучны змеиною слюной,
Там нет подснежников весной,
И к старым соснам, где сторожка,
Не вьётся робкая дорожка,
Чтоб юноша купал ресницы
В смоле и яри до зарницы,
Питая сердце мёдом встречи...
Вот ласточки — зари предтечи!
Им лишь оплакивать дано
Резное русское окно
И колоколен светлый сон,
Где не живёт вечерний звон.
Окно же с девичьей иголкой
Заполыхало комсомолкой,
Кумачным смехом и махрой
Над гробом матери родной!
Вот журавли, как хоровод, —
На лапках костромских болот
Сусанинский озимый ил.
Им не хватило птичьих сил,
Чтоб заметелить пухом ширь,
Где был Ипатьев монастырь.
Там виноградарем Феодор.
В лихие тушинские годы
Нашёл укромную лозу
Собрать алмазы, бирюзу
В неуязвимое точило...
«Подайте нам крупицу ила,
Чтоб причаститься Костромой!»
И журавли кричат: «Домой,
На огонёк идите прямо.
Там в белой роще дед и мама!».
Уже последний перевал.
Крылатый страж на гребне скал

Нас окликает звонким рогом,
Но крест на нас, и по острогам,
С хоругвями, навстречу нам
Идёт Хутынский Варлаам.
С ним Сорский Нил, с Печеньги Трифон,
Борис и Глеб — два борзых грифа.
Зареет утро от попон.
И Анна с кашинских икон —
Смирненное тверское поле.
С пути отведать хлеба-соли
Нас повели в дубовый терем...
Святая Русь, мы верим, верим!
И посохи слезами мочим...
До впадин выплакать бы очи,
Иль стать подстрешным воробьём,
Но только бы с родным гнездом,
Чтоб бедной песенкой чи-ри
Встречать заутреню зари.
И знать, что зёрнышки, солому
Никто не выгонит из дому,
Что в сад распахнуто давно
Резное русское окно,
И в жимолость упали косы!..
На Рождество Богородично. 1931.

* * *

На преподобного Салоса —
Угодника с Большой торговой —
Цветистей в Новгороде слово.
И пряжею густой, шелковой
Прошит софийский перезвон
На ипостасный вдовый сон.
На листопад осин опальных,
К прибытку в избах катовальных,
Где шерсть да валенок пушистый,
Аринушка вдовела чисто.
И уж шестнадцать дочке Насте,
Как от неведомой напасти
Ушёл в могилу катовал,
Чтоб на оплаканном погосте
Крестом из мамонтовой кости
Глядеться в утренний опал!
Там некогда и я сиял.
Но, отягчённый скатным словом,
Как рябчик к травам солодовым,

На землю скудную ниспал!
Аринушка вдовела свято,
Как остров под туманным платом,
Плакучий вереск по колени.
Уж океан в саврасой пене
Не раз ей косы искупал.
И памяткой ревнивый вал
В зрачки забросил парус дальний.
Но чем прекрасней, тем печальней
Лён времени вдова пряла,
И материнского крыла
Всю теплоту и многострунность
Испила Настенькина юность!
Зато до каменной Норвеги
Прибоя пенные телеги
Пух гаги — слухи развезли,
Что материнские кремли
И сердца кедр, шатра укромней,
Как бирюзу в каменоломне,
Укрыли девичью красу!

Как златно-бурую лису
Полесник чует по умётам,
Не правя лыжницу болотом.
Ведь сказка с филином не дружит,
Араиной дозоры вьюжит,
И на берёзовой коре —
Следы резца на серебре,
Находит волосок жар-зверя,
И, ревностью снега измеря,
Пустым притащится к зимовью, —
Так, обуянные любовью
И Капарулин с Кулда оя*,
И Лопарёв от Выдро оя, —
Купцы, кудрявичи и щуры
В сеть сватовства лисы каурой
Словить, как счастья, не могли!
Цветисты моря хрустали.
Но есть у Насти журавли
Средь голубик и трав раздумных,
Златистее поречий лунных,
Когда голуборогий лось,
В молоках и опаре плёс,
Куст головы, как факел, топит!

* Золотой ручей — карельское. [Примечание Клюева].

В Помории, в скуластой Лопи
Залётней нету журавля,
Чем с Гоголиного ручья —
Селения, где птичьи воды, —
Сын косторезчика — Феодор!
Он поставец, резьбой украшен,
С кувшинцами нездешних брашен.
Но парус плеч в морях кафтанных
Напружен туго. Для желанных
Нет слов и в девичьем ларце.
И о супружеском венце
Не пелося Анастасии...
Святые девушки России —
Купавы, чайки и берёзки,
Вас гробовые давят доски,
И кости обглодали волки.
Но грянет час — в лазурном шёлке
Вы явитесь, как звёзды, миру!
Полюбит ли сосна секиру
Хвой волосами, мясом корня,
И станет ли в избе просторней
От гробовой глухой доски?
Так песнь стерляжьей плавники
Сдирает о соображенье.
Испепелися, наважденье! —
Понятие — иглистый ёж!
Пусть будет стих с белугой схож,
Но не полюбит он бетона!..
Для Настеньки заря — икона,
А лестовка — калины ветка —
Оконца росная наседка.
Вся в бабку, девушка в семнадцать
Любила платом покрываться
По брови, строгим, уставным,
И сквозь келейный воск и дым,
Как озарение опала,
Любимый облик прозревала.
Он на купеческого сына,
На объярь — серая холстина —
Не походил и малой складкой,
И за колдующей лампадкой
Пил морок и горючий сон,
В берёзку раннюю влюблён.
Так две души, одна земная,
И живописная другая,
Связались сладостною нитью,

Как чёлн, готовые к отплытью
В живую воду, где Китеж-град,
И спеет слёзный виноград,
Куда фиалкой голубой
Уйдёшь и ты, любимый мой!
Бай-бай, изгнания дитя!
Крадётся к чуму, шелестя,
Лисёнок с радужным хвостом,
За ним доверчивым чирком
Вспорхнул рассветный ветерок,
И ожил беличий клубок
В дупле, где смоль, сухая соть!..
Вдовицын дом хранил Господь
От чёрной немочи, пожара,
И человеческая свара
Бежала щедрого двора,
Где от ларца до топора
Дышало всё ухой да квасом
И осенялось ярым Спасом,
Как льдиной прорубь сельдяная,
Куда лишь звёздочка ночная
Роняет изумрудный усик...
Между 1929 и 1934

Кремль

поэма

Кремль озарённый, вновь и снова
К тебе летит беркутом слово
Когтит седое вороньё!
И сердце вещее моё
Отныне связано с тобою
Певучей цепью заревою, —
Она индийской тяжкой ковки,
Но тульской жилистой сноровки,
С валдайскою залётной трелью!..
Я разлюбил избу под елью,
Тысячелетний храп полатей.
Матёрым дубом на закате,
Багрян, из пламени брони,
Скалу родимую обняв
Неистощимыми корнями,
Горю, как сполохом, стихами
И листопадными руками
Тянусь к тебе, великий брат,
Чей лоб в лазури — Арарат
Сверкает мысленными льдами!

Мои стихи — плоты на Каме,
Несут зарницы и костры,
Котлы с ухой, где осетры
Глощают огненное сало,
И в партизанской пляске малый
Весь дым — калёная рубаха!..

Как тлен, содрав с себя монаха
И дав пинка лохмотьям чёрным,
Я предстаю снегам нагорным —
Вершинам ясного Кремля,
Как солнцу парус корабля,
Что к счастья острову стремится
Ширококрылой гордой птицей.

За мельником, презрев помол, —
Котомку с лаптем переходим,
Как пробудившийся орёл,

Я край родимый озираю,
И новому стальному маю,
Помолодевший и пригожий,
Как утро — тку ковёр подножий
Свежей, чем росная поляна!..

Русь Калиты и Тамерлана
Перу орлиному не в сусло, —
Иною киноварью взгусло
Поэта сердце, там огонь
Лесным пожаром гонит сонь,
Сварливый хворост и валежник.
И, улыбаясь, как подснежник,
Из пепла серебрится Слово, —
Его история сурово
Метлой забвенья не сметёт,
А бережно в веноч вплетёт
Звонящим выкупом за годы,
Когда слепые сумасброды
Меня вели из ямы в яму,
Пока кладбищенскую раму
Я не разбил в крови и вопи,
И раскалённых перлов копи
У стен кремлёвских не нашёл!

Как радостно увидеть дол
Московских улиц и бульваров
В румянце бархатных стожаров,
Когда, посяв башлык ненастный,
В разливы молодости ясной
Шлёт солнце рдяные фрегаты,
И, ликованием объятый,
Победный город правит пир,
За чашей братскою не сир,
Без хриплых галок на крестах
И барских львов на воротах!

Москва! Как много в этом звуке
За революцию поруки —
Живого трепета знамён
От гула праздничных колонн
Под ливнем первомайских роз,
Когда палитра и колхоз,
Завод и лира в пляске брачной.
С Москвой купецкой и калачной
Я расстаюсь, как сад с засухой

Иль с волчьей зимнею разрухой,
И пью, бывшее потребя,
Кремль зарнокрылый, из тебя
Корнями огненную брагу,
Чтоб перелить напиток в сагу,
Как жизнь, республику любя!
Где профиль Ленина лобатый
Утёсом бороздит закаты!

О Кремль, тебе прибор сердешен!
Крылатый час и лирный вздох,
В зрачках озёрных лунный рог
И над проталинкою вешней
Осиный танец, сон фиалки!..
Мильоном рук на вещей прялке
Ты заплетаешь хвост комете,
Чтоб алой розой на рассвете
Мирская нива расцвела
И мёдом капала скала
Без подъярёмной дани небу!..
Не Ворошилова потребу
Угомонить колодкой рабьей! —
Остяцкой Оби, смуглой Лабе
Он светит буйственной звездой —
Вождь величавый и простой!
Его я видел на параде
На адамантовом коне,
В пурпурно-строгой тишине
Знамён, что плещутся во взгляде
Вишнёвым садом, полным цвета!
Не потому ли у поэта
На лбу истаяла морщина?!
Клим — костромская пестрядина,
Но грозный воин от меча,
И пёс сторонится, ворча,
Стопы булатной исполина!
Его я видел на параде
С вишнёвым заревом во взгляде,
На гиацинтовом коне,
В неузвимой тишине
Штыков, как море, непомерных,
И виноградом взоров верных
Лучился коммунаров сад,
В румяный май, как в листопад,
Пьянеть готовый рдяной бурей,
Чем конь прекрасней и каурей,

И зорче ястреб на коне!
И веще слышалось мне
Под цок торжественных копыт:
На лозе соловей сидит
И сыплет бисером усладным
Полкам, как нива, неоглядным!
А где-то в Токио иль в Кёльне
В гнилой конуре раб бездольный
Слезую мочит чёрствый кус
И чует, как прибором блуз
Бурлят зеркальные кварталы, —
То Ворошилов в праздник алый,
Пред революции щитом,
Бессмертным бронзовым конём
Измерил звёздные орбиты,
Чтоб раб воспрянул, солнцем сытый!

* * *

Кремль огневейный, ты ли, ты ли
Повыщербил на тучах были
И океану приказал,
Как стая львов, рычать у скал
И грызть надменные утёсы?!
Тебе рязанские покосы
В стога свивают мёд зелёный,
И златорудые поклоны
Несёт плечистая Сибирь,
Но певчий камень алатырь
Сберёг лишь я Воротам Спасским
И в кошеле лесные сказки,
Зарёй малёванный букварь,
Где хвойный лён спрядает хмарь! —
Прости за скудные гостинцы,
Их муза нацедила в рыльцы,
В корцы, затейные судёнцы,
Чтобы свежили комсомольцы
В залётных глотках глухоту
И молодую красоту
С железным мужеством связали!
Кремль — самоцветный дуб из стали,
Вокруг тебя не ходит кот
По золотой волшебной цепи,
Но песнолиственные крепи,
В сухой пустыне водомёт,

Прохладой овевают землю!
Тебя по-клюевски приемлю
Всей глубиной, как море звёзды,
Как новобрачные борозды
Посев колхозно непомерный!
Я — сам земля, и гул пещерный,
Шум рощ, литавры водопада,
Атласом яблоневого сада
Перевязав, как сноп гвоздики,
Преподношу тебе, великий!

Поэт, поэт, сосновый Клюев,
Шаман, гадатель, жрец избы,
Не убежать и на Колгуев
От электрической судьбы,
И европейских ветродуев
Не перемогут лосьи лбы!
Как древен вой печной трубы
С гнусавым вороном-метелью!..
Я разлюбил избу под елью,
Медвежьи храпы и горбы,
Чтоб в буйный праздник бороньбы
Индустриальной юной нивы
Грузить напевы, как расшивы,
Плодами жатвы и борьбы!
О жизнь! О лёгкие земли,
Свежительнее океана!..
У чернозёмного Ивана
В зрачках пшеничные кули,
И на ладонях город хлебный —
Победно, фугою хвалебной,
По новям плещут ковыли
И жаждут исполинской вспашки! —
В пучину клевера и каши
Забрёл по грудь бесстрашный плуг,
Чтоб саранчи, глухих засух
Не знало поле, и рубашки
Льны подарили на округ!
Земля Советов любит лемех
И бодрый сон в ржаном эдеме,
Когда у Дарьи и у Прова
Амбар, как стельная корова,
Мучнистой тяжелеет жвачкой;
Не барской скаредной подачкой
Тучны мужицкие дворы,

Как молодлица близнецами!..
И рыбной бурей на Каме
По ветру плещут топоры.

Свистят татарские костры,
Или заря, обняв другую,
Не хочет деду-ветродую
Отдать лесистые бугры
На буреломные осколы? —
Колхозами рудеют сёла,
Багряным праздником борозд,
И, за клюку держась, погост,
Трепля крапивной бороною,
Уходит мгlistою тропую
От буйной молодости прочь!

Красна украинская ночь,
На Волге розовы просонки,
И маков цвет на перегонки
С пунцовой кашкой и малиной..
Но кто же в радости овинной,
В кругу овсяных новоселий,
Желанным гостем пьёт свирели
Дебелых скирд и прос прибои? —
Он предстоит в предбурном зное,
Как дуб под облаком грозовым,
Ему вершинным вещим словом
Дано живить и жечь до боли,
Чтоб пряхе вьюг — студёной Коле,
Якутской веже и Донбассу
Шить жизнь по алому атласу
Стальной иглою пятилетий!
Не потому ли на рассвете
Костром пылают анемоны,
И Грузии холмы и склоны
Зурной не кличут чёрных бед,
А кипнем роз бегут вослед
Морей, где бури, словно сёстры,
Гуторят за куделью пёстрой,
И берег точит яхонт лоз?
Младенец-исполин колхоз,
Рождённый вещими устами,
Одной ногою встал на Каме,
Другую же тучнит Памир!..
Садись за хлебопашный пир,
Озимый вождь и брат любимый!

Тебе, как гусли, из Нарыма
Поэт несёт словесный кедр,
Он соболиной тягой щедр
И голубыми глухарями,
Чтобы в слезах, в жестоком сраме,
Переболев, как лось коростой,
Сомнением, я песен до ста
Сложил устам твоим крылатым,
Пока щербатые закаты
Оденут саваном меня!

Я жив видением Кремля!
Он грудь мою рассек мечом
И, вынув сердце, майский гром,
Как птицу, поселил в подплечье,
Чтоб умозрения увечье
И пономарское тьморечье
Спалить ликующим крылом!
И стало так. Я песнослов,
Но в звон сосновый сталь впрядаю,
Чтобы Норвегия Китаю
Цвела улыбкой парусов,
И косную слепую сваю
Бил пар калёный... Стая сов
С усов, с бровей моих слетела,
И явь чернильница узрела,
Беркутом клёкнуло перо
На прок певучий и добро! —
Товарищи, я кровно ваш,
Моторной рифмою «гараж»
Строку узорную пиля!..
У потрясённого Кремля
Я научился быть железным,
И воску с деревом болезным
Резец с оглядкой отдаю,
Хоть прошлое, как сад, люблю, —
Он позабыт и заколочен,
Но льются в липовые очи
Живые продухи лазури! —
Далёкий пасмурья и хмури,
Под липы забредёт внучонок
Послушать птичьих перегонок
И диких ландышей набрать...
Я прошлым называю гать
Своих стихов, там много дупел
И дятлов с ландышами вкупе...

Опять славянское словцо!
Но что же делать беззаконцу,
Когда карельскому Олонцу
Шлёт Кострома «досель» да «инде»,
И убежать от пёстрых индий
И Маяковскому не впору?!
Или метла грустит по сору,
Коль на стихи дохнул Багдад
И липовый заглохший сад
Тёмно-зелёною косынкой?..
Знать, я в разноголосье с рынком,
Когда багряному Кремлю
По-стародавнему — «люблю»
Шепчу, как ветер кедрю шепчет
И обнимает хвои крепче,
Целуя корни и наросты!..

Мои поэмы — алконосты,
Узорны, с девичьим лицом,
Они в затишье костромском
Питались цветом гоноболи,
И русские — чего же боле?
Но аромат чужих магнолий
Умеют пить резным ковшом
Не хуже искромётной браги.
Вот почему сестре-бумаге
Я поверяю тайну сердца,
Чтоб не сочли за иноверца
Меня товарищи по стали
И по железу кумовья.

Виденье красного Кремля
Нося в себе, как свиток дыма,
Под небом хмурого Нарыма
Я запылал лесным костром,
Его раздули скулы Оби,
В колодовом остяцком гробе
Угомонить ли бурелом?!
Я не угасну до поры,
Пока напевы-осетры
Не заплывут Кремлю в ладони
И на костях базар вороний
Не обернётся мглистым сном,
Навеянным седым Нарымом
И Оби саваном!.. Но мимо!
Поэме — голубому лосю

Не спится в празелени сосен,
Ей всё бы мчаться бором талым
Туда, где розовым кораллом
Цветёт кремлёвская скала!
Как перед ней земля мала
И круг орбитный робко тесен!
О, сколько радости и песен
Она в созвездья пролила!

Тебе ли с солнцем спорить, мгла?!
Косматой ведьмой у котла
Ты растишь горб и зелье варишь,
Чтоб печенег или татарин
Пожаром сёл, кошмою гари
Коммуны облик златокарий,
Как власяницей, заволок,
Лишь гробовым улиткам впрок!
Но тщетны чёрные кудесы —
Строители не верят в беса,
Серпу и молоту верны!
Мозолиста рука страны.
Но вёсны розовы на Каме,
Румяны осени в Полтаве,
И молочай пожрал в канаве
Орла с латунными когтями,
Чтобы не застил солнца рябо!
От камчадала до араба
Рог мускулов творящих слышен,
Он пальмы сирские колышет
И навевает сны Бомбею,
Что бледнорукому злодею
Надела Индия на шею
Мертвящей льдиною пифона...

Чу! Обонежских сосен звоны! —
Они сбежались, как лопарки,
В оленьих шкурах, в бусах ярких,
Дивиться на канал чудесный,
Что в мир медвежий и древесный
Пришёл посланцем от Кремля —
Могучий кормчий у руля
Гренландских бурь и океана!
И над Невою всадник рьяно,
Но тщетно дыбит скакуна;
Ему балтийская волна
Навеки бронзой быть велела,

И императорское дело,
Презрев венец, свершил простой
Неколебимою рукой,
С сестрой провидящей морщиной,
Что лоб пересекла долиной,
Как холмы Грузии родной!
Чу! За Уралом стонут руды!
Их бьёт кирка в глухую печень,
И гордой волей человечьей
Из стран подземных вышли юды,
Вперяясь в ночь, как лунный филин,
И тартар, молотом осилен,
Ударной тачке выдал уголь —
Владыку чёрного и друга
В багрово-пламенной порфире.
И в прежней каторжной Сибири
Кузбасс шумит суровым садом,
Обилен медным виноградом
И мамонтов чугунным стадом,
Что домнам отдают клыки!..
Чу! Днепр заржал... Его пески
Заволокло пшеничной гривой,
И рёбра круч янтарной сливой,
Зелёным гаем и бандурой!..
И слушает Шевченко хмурый
Свою родную Украину, —
Она поёт не про степнину,
Где порубили хлопков паны, —
Сошлись бетоно-великаны
У святославовых порогов
Пасти железных носорогов
На синих исцелённых водах!

Цветёт подсолнечник у входа
В родную хату, и Оксана
Поёт душисто и румяно
Про удалого партизана,
Конец же песенки: «Кремлю
Я знамя шёлком разошью
Алее мака в огородец».
И улыбается на солнце
Кобзарь-провидец... Днепр заржал
И гонит полноводный вал
На зависть чёрному поморью!
Оксана, пой вишнёвой зорью,

И тополь, сватайся за хату,
Тарас Николе, как собрату,
Ковыльную вверяет кобзу!
И с жемчугом карельским розу
Подносит бахарь Украине!

О Кремль, тебе на Сахалине
Узорит сказку ороchon!
Лишь я, как буйвол, запряжён
В арбу с обломками Рассеи,
Натруживал гагарьи шеи,
С татарскою насечкой шлеи,
Ясачным дедовским напевом.
Но вот с вершин дохнуло гневом,
Зловеще коршун прокричал,
И в ледяных зубах обвал,
Как барс — трусливого ягнёнка,
Меня помчал, где ливней гонка
И филин ухаёт спросонка,
Кровавит рысь лосихе вымя,
И пал я в глухомань в Нарыме!
И изблевал я желчь свою,
Зрачки расширил, как озёра,
Увидя взломщика и вора
В лукавом сердце, и ладью
С охотничьей тунгусской клятвой,
Прошив упорной мысли дратвой,
И, песню парусом напружив,
На лов невиданных жемчужин
Плыву во льды путём моржовым,
Чтобы, как чайка, юным словом,
Лесою и веслом еловым
Покрыть коварную вину!

Как лосось мерит глубину,
Лучами плавники топыря,
Чтобы лунеть в подводном мире
И наглотаться перлов вволю,
Так я, удобрив сердце болью
И взборонив его слезами,
Отверженным, в жестоком сраме,
По-рыбьи мерю сам себя
И только образом Кремля
Смываю совести проказы
И ведаю, что осень вязу

Узорит золотом не саван,
А плащ, где подвиги и слава,
Чтоб встретить грудью злую зиму!

Я укоризною Нарыму
Зенков остяцких не палю
И зверобойному копыю
Медведем бурым сердце ставлю:
Убей, и дымною проталью
Пусть побредёт сиротка муза
Наплакать в земляничный кузов
Слезинок, как осиный нектар! —
Её удочерит не секта,
Не старый ладожский дьячок,
А в переплеск зурны восток
И запад в мрамор с бронзой тяжкой!..

В луга с пониклою ромашкой
Рязанской ливенкой с размашкой
Ты не зови меня, Есенин!
Твой призрак морочно-весенний
Над омутом вербой сизеет
С верёвкой лунною на шее,
Что убегает рябью в глуби,
И водяник ветлу голубит,
О корни бороду косматя!
Медведю о загиблом брате
Поплакать в лапу не зазорно,
Но он влюбился в гул озёрный
И в кедровый вершинный рог
И, чуя, как дыбится мох,
Теплеют яйца под тетёркой,
Увидел за октябрьской зорькой
Не лунный омут, где верба,
А льдистую громаду лба
В зубцах от молний мысли гордой,
И с той поры поклялся твёрдо
Сменить просонки на букварь,
Где киноварь, смолы янтарь,
Брусничный цвет и мох олений
Повыпряли, как пряжу, Л-е-н-и-н.
За ними старому медведю
На свежем буквенном прогале
Строка торжественная С-т-а-л-и-н
Сверкнула золотом и медью,
Потом через плетень калиной

Румяно свесилось К-а-л-и-н-и-н, —
Целовано тверским закатом.
И великанов-кедров братом,
Оборонительным булатом
Взыграло слово В-о-р-о-ш-и-л-о-в,
И буйный ливень из бериллов
Нечислимой рабочей силой!

Не снился вербе сизокрылой
Букварь волшебный, потому
Глядеться ей дуплом во тьму,
Роняя в лунный ковш барашки!
Прости малиновой рубашке
И костромскому лапотку,
Как на отлёте кулику,
Кувшинке-нянюшке болотной —
Тебе ли поминать охотно,
Ветла плакучая Рязани?!
«Смешного дуралея» в сани
Впрягли, и твой «Сорокоуст»
Блинами паюсными пуст,
И сам ты под бирючий вой
Пленён старухой костяной, —
Она в кладбищенской землянке
Сшивает саван в позаранки...
Но мимо! Зеркало Советов,
Как хризопраз, тысячегранно, —
Вот рощей утренней румяной
Звенит и плещет Сад Поэтов
И водопадом самоцветов
Поит искусства терпкий корень!
Васильев — перекасти-море
И по колено, и по холку,
В чьей песне по Тибета шёлку
Аукает игла казачки,
Иртыш по Дону правит плачки,
И капает вишнёвым соком
Лихая сабля, ненароком
Окунута в живую печень.
Домашний, с ароматом печи,
Когда на расстегай малинный
Летит в оконце рой пчелиный
И крылья опалает мёдом, —
Клычков! Пытливым пешеходом
Он мерит тракт и у столба,
Где побирушкою судьба

Уселась с ложкою над тюрей,
Поёт одетые в лазури
Тверские скудные поля!

Но не ячменного комля —
Поджарого жильца разрухи
Дождались бабки, молодухи;
И Маяковский бил засухи,
Кротовьи будни, брюки в клетку,
Чтобы родную пятилетку
Рядить в стальное ожерелье...

Прокофьев правит новоселье,
Дубком сутулым раскорячась,
Баян от Ладоги до Лаче
Напружа парусом сиговьим!
И над кумачным изголовьем,
С еловой веткою за рамой,
Ему сияет лоб упрямый
Любимого из всех любимых!

Шиповником, повитым в дымы,
Ахмет Смоликов, шипы
Остря на правила толпы,
На вкусы в хаки и во фраке,
Наган, гитару, Нагасаки
В певучий короб уместя, —
Коммуны кровное дитя!
Октябрьских листьев кипень слыша,
Терновник иглами колышет,
Кичливо сторонясь жасмина,
Он золотится, где руина
И плющ влюблённый по пилястру,
У них цветы гостят почасту —
Пион горящий, львиный зев,
Пунцовый клеверный посев
И мята с пышным табаком —
И Мандельштама старый дом,
Но драгоценны окон ставни,
И дверь арабской филиграни,
От камелька жасминный дым!
Рождественский — осенний Крым,
Лоза лиловая и вдовья!
И Пастернак — трава воловья,
По-лермонтовски кипарис
С утёса загляделся вниз,

Где Демон кровянит крыло
О зубья скал, и за весло
Рукой костлявою Харон
Берётся, чтобы детский сон
На даче, под июльский ливень,
Перевезти в Багдад иль к Сиве,
Или в тетрадь, где чёрный мол
Качает месяца оскол!

Вот дерево — пакетом синим,
С приказом взять иль умереть,
Железный ствол и листьев медь
Чужды перестроенью линий,
И тянут лагерной кислинкой!
Ночной разведочной тропинкой
Змеится корень в колкий кремень,
Меж тем как мукомолом время
Ссыпает в ларь «Орду» и «Брагу», —
То Тихонов!.. (То-ти, то-ти! —
Часы зовут, чтобы идти).

Чу! Безыменский — ярый граб,
Что в поединке не ослаб
С косматым зубром-листодёром! —
Дымится сук, и красным хором
На нём уселися фазаны,
Чтобы гореть и клётком рьяным
Глушить дроздов, их скрип обозный.
Меж тем в дупле петух колхозный,
Склевав амбар пшеничной нови,
Как сторож, трубит в рог коровий,
Что молод мир и буйны яри,
Что Волховстрой румянец карий
Не зажелтит и во сто лет!
Моё перо прости, поэт, —
Оно совиное и рябо;
Виденьем петуха и граба
Я не по чину разузoren! —
Кому ж рубин? Вот Павел Корин,
Лишь петухом исповедим,
Когда он плещет в зарь и в дым,
И, радугу связав охвостьем,
Полмира зазывает в гости
С кудрявым солнцем заодно,
И, простирая полотно
Немереного ку-ка-ре-ку,

Сулит дрозду и человеку
Пир красок, водопады зёрен —
Их намолол по звёзды Корин
И, как дитя, любуясь раем,
Стал пировать и княжить баем!
Его кибитку Кончаловский
Словил мережею бесовской,
Тому уж будет двадцать пять,
И в кошмы кисти окунул,
Как лось рога в лесную гать, —
Не потому ль сосновый гул
От нестареющих полотен,
И живописец пчёлкой в соте
Живёт в сердцах и сладко жалит?!
Его палитра в пёстрой шали
Проходит поступью Фатимы
Строительством, где брезжат Римы
За пляской балок и стропил,
Прекрасная и, златокрыл,
Над нею веет гений века!..

Кто просини и умбры реки,
Как зори, пролил в пятилетку
И в ярославскую беседку,
Где клён и хмель ползёт по рамам,
За сусло Гаагу с Амстердамом
Старинной дружбой усадил? —
Ты, Яковлев! Чьей кисти пыл
Голландию с любовью детской
Тюльпан в цветник замоскворецкий
Пересадил гераням кумом! —
Она глядит на нас угрюмо,
С ревнивой тучкой меж бровей,
Свидетелем грозových дней,
И буйных ливней на новины!..

Лесной ручей в серьгах калины,
Пчела в гостях у резеды,
Луч у подснежной борозды
На золотистых посиделках,
Весь в чайках, зябликах и белках,
С ягнячьим солнышком под мышкой,
Мудрец, но в городки с мальчишкой
До петухов готовый в сечи —
Рылов, одетый в свет поречий,
Он предстаёт родной стране

«Зелёным шумом» по весне, —
Залог, что вёсны зим победней!
Но кто там на скале соседней
Зажёг костёр сторожевой,
Орлом вперяясь в мрак седой,
Где вой волчиц и звон dospешный? —
Над кручей свесились черешни,
Вонзая когти в колчеданы,
И обжигает дым лианы,
Как парусами, застя краски?
Претят художнику указки, —
Он написал Военсовет,
Где сталь на лицах и лорнет
Наводит смерть в дверную щёлку,
Меж тем как солнце в одноколку
С походной кухнею впряглось,
И зоб напружил паровоз,
Неистов в бешеной охоте
С кометою на повороте
Поцеловаться зубы в зубы, —
То Бродский, Октябрём сугубый
С буранами из трав калёных
И листьев, бурями сожжённых!

«Купаньем красного коня»
Мой побратим и хлебосольник,
Под голубой сединой — школьник
За вечной книгой красоты,
Не истолок ли в ступе ты
Мои стихи и с миром вместе,
Чтобы республике-невесте
«Смерть комиссара» дать кольцом,
Бокалом крови, как вином,
Отпировав палитры роскошь?!
Тебе горящий клён, берёзку ж
Петрову-Водкину не сватать, —
Она в панёве, и за лапоть
Набилось хвойное порошье!..
Но в поимённой славной ноше,
В скирде из трав, смолы кедровой
Лесною речкой вьётся слово
Машков! — Закатов водопой
И пастбище пролетних радуг,
Тебе ли из Советов Сада
Уйти с кошницею пустой?! —
Вот виноград пьяней сосцов,

Как юность, персик и гранаты —
Гора углей, из солнца взятых
Для опаляющих пиров!
Но в поимённой славной ноше,
Где резедовою порошей
Пасётся солнце — лось соловый,
Моё не златорожит слово.
Его друзья — плаун да ягель,
И лишь тунгус в унылой саге,
Как вживе, загуторит с дедом,
Что утонул в слезах, неведом,
И стал ручьём, где пихта мочит
Зелёный плат и хвост сорочий!

ПЕСНЯ ТУНГУСА

Берёза плачет бурой раной,
Что порассёк топор коварный,
Слеза прозрачнее ребячьей,
Но так и дерево не плачет,
Как плакал дед в тайге у нас
Озёрами оленьих глаз!

Дедушка, не плачь!
Дедушка — не плачь!

Горючим варом плачет кедр
В лесной пожар из тёмных недр,
Стеня и раздирая грудь
Когтями хвой, чтобы уснуть
Навеки чёрною жариной,
Но и огонь в рубахе дымной
Не истощался так золой,
Как бедный дед в стране чужой!

Дедушка, не плачь!
Дедушка — не плачь!

Его слезинками кукушка
Свою украсила избушку,
В оконце вставив, как слюду,
Ревнивой сойке на беду!

Дедушка, не плачь!
Дедушка — не плачь!

Когда медведь лосиной матке
Сдирает мясо у лопатки,
Чтобы вонзить язык в дупло,
Где сердце мёдом залегло,
Лось плачет жёнкою за прялкой,
Когда её побили скалкой,
Смерть упреждая тяжким мыком,
Покорствуя объятьям диким,
Но слёзы маткины — молока,
Что выдра выпила с наскока
У молодого осетра,
Ей выводиться не пора
По тростниковым мягким зыбкам,
Чтоб из икры родилась рыбка!
Дед плакал горестнее лося —
Пожар и короед у сосен,
Орёл на выводке лебязьем,
Зола пред дедовским упряжьем,
Когда впрягался он в обоз
Саней скрипучих, полный слёз!

Дедушка, не плачь!
Дедушка — не плачь!

ПЕСЕНКА ТУНГУСКИ

Чам-чам, чамарша! —
В веретёнце есть душа, —
Поселился дед в клубок,
Чтоб крутиться наутёк!
Чам-чам, чамар-чук! —
За чувалом слышен стук,
Задымилась головня —
Будет страшно без огня!

На косой багровый свет
Из могилы встанет дед,
Скажет: «Чемень, чур-чува!
Где любимая Москва?
Поищу её в золе я,
Ледяные пальцы грея!..»
И за полночь веретёнце
Будет плакать колокольцем:
«Дин-динь-динь! Чамара ёй!

Ты умчи меня домой,
Красногривый конь Советов!».

Мало прядено за лето!
Муж приедет — будет таска.
По Нарыму бродит сказка,
Что наплакал дед озёрце
Всем остячкам по ведёрцу, —
Мне же два на коромысло,
Чтоб до вереска повисло,
До плакун-травы с липушей,
На тропинке в дом кукуший,
Где на лавке сивый дед —
От него простыл и след,
Только уголь на реснице!
Этот сон за прялкой снится
До зари, под бубен хвой,
Над потухшей головнёй!

* * *

Возьмите бороду мою
В ладони, как берут морошку,
И пейте, сердцу не в оплошку,
Лесную терпкую струю!
В ней аромат корней еловых
И дупел кедровых суровых,
Как взгляд Чамара-великана,
Но в глубине кривая рана
Мерцает, как форель меж трав,
Подводных троп и переправ!
Она медвежьей ласки след,
Когда преступником поэт
Пошёл к звериному становью,
Чтоб укоризненною кровью
Отмыть позор, как грязь воловью!

Взгляните на мои седины,
Как на болотные низины,
Где пух гусиный, сизый ягель
И в котловинах плеск наваги, —
Её бичами половодий
Пригнало из морских угодий
В болото, воронам на снесь!
И хоть расчёсывал медведь
Когтистым гребнем черноусья,

Но бороды не вспенил устья
И рябь совиную не вплёл
В загар и подбородка мол.
Нет! Роковая седина,
Как пепла холм, обнажена
Глазам луны, людской скребнице,
И поделом! Вина сторицей
Луны чугунной тяжелей!
Я пред собою лиходея!
Как остров ландышевый росный,
Я ткал стихи, вправляя в красны
Сердечные живые нити,
И грозным сполохом событий
Не опалил звенящей пряжи!
Пускай же седина доскажет,
Что утаила в нужный срок
Ткачиха-муза, и уток
Отныне полнит не Кашмиром,
Не Бирмою с карельской зернью,
А шахтою с подземной чернью,
Железом и пшеничным пиром!
Пускай же седина поёт
Колхозной вспашкой у ворот,
Когда земля гудит прибором
И трактор, как в доспехе воин,
Идёт на глыбе чернозёма,
Чтоб умолотная солома
Легла костями, побеждена!

Моя родимая страна,
То лебедь, то булат калёный,
Ждёт песен, как поляна клёна,
Но не в слезах у сонных вод,
А с факелом, что тучи жжёт
Целованным октябрьским дыхом!
Я пригоню напев лосихой
Невиданной багряной масти
К стене кремлёвской, чтоб поластил
Лесную сказку великан.
Сохатая телком берёжа
Золоторогим и пригожим,
Какого не зачать и львице
Под мглистым пологом лиан.
Авось брыкастого титан,
Похоля, приютит в странице,
И кличку даст — «для песни слово»,

Чтобы в попоне Жемчуговой
На зависть прозе-кобылице
Оно паслось в степи шелковой
Под колокольцы ковыля!..
Ужели крыльями Кремля,
Как морем, не повеет лосю
И молочайному прокосью,
В пырей и цепкую липушу,
Он отрыгнёт лесную душу
И запрокинет в синь копыта?

Взгляните на меня — изрыты
Мои виски и лба отроги,
Как берега родной Мологи
Опосле вырубки кудрей,
Ресниц, берёзовых бровей
И губ с рябиновой краснинкой,
Что пели вещью волынкой,
Но чаще тайное шептали!
Теперь цыганкою без шали,
Без янтарей на смуглой шее
Молога сказками мелеет..
Так я, срубив сердечный дуб
С гнездом орлиным на вершине,
Стал самому себе не люб,
И лишь песками по морщине
Сползают слёзы, роя ямы
От глаз до скул, как берег Камы, —
Косые ливни! Я виновен
До чёрной печени и крови,
Что крик орла и бурю крыл
В себе лежанкой подменил,
Избою с лестовкой хлыстовской,
И над империей петровской,
С балтийским ветром в парусах,
Поставил ворогу на страх
Русь Боголюбского Андрея! —
Но самоварная Рассея,
Потeya за фамильным чаем,
Обозвала меня бугаем,
Николушкой и простецом,
И я поверил в ситный гром,
В раскаты чайников пузатых, —
За ними чудились закаты
Коринфа, царства Монтесумы
И протопопы Аввакума

Крестообразное горелье —
Поэту пряное похмелье
Живописать огнём и красью!..
Как с ягуаром, с красной властью,
Мороз в костях и волос дыбом,
Я правил встречу, и за глыбой
Державы царской спрятал сердце,
Чтобы глухой овечьей дверцей
Казать лишь горб да шерсти пястку
Широкой жизни, впрягшей сказку
В стальные крылья пятилетий!
Пятидесятый год отметил
Зарубкою косяк калитки.
В тайник, где золотые слитки
И наговорных перлов короб
С горою песенных узоров,
Художника орлиный норов
Когтить лазурь и биться с тучей
Я схоронил в норе барсучьей...
И мозг, как сторож колотушкой,
Теленькал в костяной избушке:
«Молчи! Волшебные опалы
Не для волчат в косынках алых! —
Они мертвы для Тициана,
И роза Грека Феофана
Благоухает не для них! —
Им подавай утильный стих,
И погремущка пионера
Кротам — гармония и вера!».
Так мозг за костяным прилавком,
Где разномысленная давка,
Привалы «Да» и табор «Нетов»,
Бубнил купцом, а не поэтом
Со мной иным, чей парус бродит
В поэзии, ища угодий
И голубых материков.
Он пробудился не от слов,
Не от ночного ку-ка-ре-ку,
А зубы в зубы к человеку
Поставленный железной волей
Эпохи, что рычит от боли,
Как лев, и ласточкой щебечет,
Суля весну и плеск поречий,
Когда свирепый капитал
Уйдёт во тьму к чертям на бал!
Я пробудился вешне-громным

И ягуаром разъярённым
Рычу на прошлого себя,
Впиваясь в зори октября
Новорождёнными глазами!

Мои стихи — плоты на Каме —
Несут сосновый перезвон,
Как в дни, когда был явью сон
И жизнь казалась нетленной,
Заморской феей иль сиреной,
Поющей в гроте из коралла, —
Она в базальты уплывала —
За прялкою вздремнуть часок,
Чтоб после косы на песок
И на уступы ожерелья
Бросать с певучего похмелья!
Мои стихи — полесный плот,
Он не в бездомное отчален,
А к берегам, где кормчим Сталин
Пучину за собой ведёт
И бурями повелевает,
Чтоб в молодом советском крае,
Где свежесть волн и крик фрегатов,
Ущербных не было закатов,
Как ржавых листьев в октябре,
Меж тем как прахом на костре
Пожитки смерти догорают!
Я от зимы отчалил к маю
У нив цветущих бросить снасти,
Где солнце пролетарской власти
Нагую грудь не опалит, —
Она испытана, как щит,
Разувереньем и булатом.
Перед Кремлём — могучим братом
Склоняет сердце до земли:
Прости иль умереть вели!
(Поэма покрывается фугами великой стройки:
Прости иль умереть вели!)

Колташево, 1934

Проза

Старые или новые эти песни — что до того! Знающий не изумляется новому. Знак же истиной поэзии — бирюза. Чем старше она, тем глубже её голубо-зелёные омуты. На дне их самое подлинное, самое любимое, без чего не может быть русского художника, моя Избяная Индия.

Гагарья судьбина

Я родился, — то шибко кричал, а чтоб до попа не помер, так бабушка Соломонида окрестила меня в хлебной квашонке.

А маменька-родитель родила меня, сама не помнила, когда. Говорила, что «рожая тебя такой холод забрал, как о Крещении на проруби; не помню, как тебя родила».

А пестовала меня бабка Фёкла — божья угодница, как её звали. Я без мала с двух годов помню себя.

Грамоте меня выучила по Часовнику мамушка. Посадила меня на лежанку и дала в руку творожный колоб, и говорит: «Читай, дитяtko, Часовник и ешь колоб и, покуль колоба не съешь, с лежанки не выходи». Я ещё букв не знал, читать не умел, а так — смотрю в Часовник и пою молитвы, которые знал по памяти, и перелистываю Часовник, как будто бы и читаю. А мамушка-покойница придёт и ну-ка меня хвалить: «Вот, говорит, у меня хороший ребёнок-то растёт, будет как Иоанн Златоуст».

На тринадцатом году, как хорошо помню, было мне видение. Когда уже рожь была в колосу и васильки в цвету, сидел я над оврагом, на сугоре, такой крутой сугор; позади меня сосна, а впереди вёрст на пять видать наполисто...

На небе не было ни одной тучки — всё ровно-синее небо... И вдруг вдали, немного повыше той черты, где небо с землёй сходится, появилось блестящее, величиной с куриное яйцо, пятно. Пятно двигалось к зениту и так поднялось сажен на пять напрямки, и потом со страшной быстротой понеслось прямо на меня, всё увеличиваясь и увеличиваясь... И уже, когда совсем было близко, на расстоянии версты от меня, я стал различать всё возрастающий звук, как бы гул. Я сидел под сосною, вскочил на ноги, но не мог ни бежать, ни кричать... И это блиставшее ослепительным светом пятно как бы проглотило меня, и я стоял в этом ослепительном блеске, не чувствуя, где я стою, потому что вокруг меня как бы ничего не было и не было самого себя.

Сколько времени это продолжалось — я не могу рассказать, как стало всё по-старому — я тоже не могу рассказать.

А когда мне было лет 18, я черпал на озере воду из проруби, стоя на коленях... Когда начерпал ушат, поднял голову по направлению к пригорку, на который я должен был подняться с салазками и ушатом воды, я ясно увидел на пригорке среди нежно-синего сияния снега существо, как бы следящее за мною невыразимо прекрасными очами. Существо было в три

или четыре раза выше человеческого роста, одетое как бы в кристалловидные лепестки огромного цветка, с окружённой кристаллическим дымом головой.

А так у меня были дивные сны. Когда умерла мамушка, то в день её похорон я приехал с погоста, изнемогший от слёз. Меня раздели и повалили на пол, близ печки, на соломенную постель. И я спал два дня, а на третий день проснулся, часов около двух дня, с таким криком, как будто вновь родился. В снах мне явилась мамушка и показала весь путь, какой человек проходит с минуты смерти в вечный мир. Но рассказать про виденное не могу, не сумею, только ношу в своём сердце. Что-то слабо похожее на пережитое в этих снах брезжит в моём «Поддонном псаломе», в его некоторых строчках.

А в Соловках я жил два раза. В самой обители жил больше года без паспорта, только по имени — это в первый раз; а во второй раз жил на Секирной горе. Гора без мала 80 саж<еней> над морем. На горном же темени церковка каменная и кельи. Строителем был при мне о<тец> Феодор, я же был за старцем Зосимой.

Долго жил в избушке у озера, питался чем Бог послал: черникой, рыжиками; в мордушку плотицы попадут — уху сварю, похлебаю; лебеди дикие под самое оконце подплывали, из рук хлебные корочки брали; лисица повадилась под оконце бегать, кажнюю зарю разбудит, не надо и колокола ждать.

Вериги я на себе тогда носил, девятифунтовые, по числу девяти небес, не тех, что видел ап<остол> Павел, а других. Без 400 земных поклонов дня не кончал. Икона Спасова в углу келейном от свечи да от молитвы словно бархатом перекрылась, казалась мягкой, живой. А солнышко плясало на озере, мешало золотой мутовкой озёрную сметану, и явно виделось, как преп<одобный> Герман кадит кацеей по берёзовым перелескам.

Люди приходили ко мне, пахло от них миром мирским, нудой житейской... Кланялись мне в ноги, руки целовали, а я плакал, глядя на них, на их плен чёрный, и каждому давал по сосновой шишке на память о лебединой Соловецкой земле.

Раз под листопад пришёл ко мне старец с Афона в седилах и ризах преподобнических, стал укором укорять меня, что не на правом я пути, что мне нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть.

Поведал мне про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят и — многие другие тайны бабидов и христов персидских, духовидцев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси.

Старец снял с меня вериги и бросил в озёрный омут, а вместо креста нательного надел на меня образок из чёрного ага-

та; по камню был вырезан треугольник и надпись, насколько я помню, «Шамаим», и ещё что-то другое, чего я разобрать и понять в то время не мог.

Старец снял с себя рубашку, вынул из котомки портки и кафтанец лёгонький, и белую скуфейку, обрядил меня, и тем же вечером привёл на пароход как приезжего богомольца-обетника.

В городе Онеге, куда я со старцем приехал, в хорошем крашеном доме, где старец пристал, нас встретили два молодых мужика, годов по 35. Им старец сдал меня с наказом улаживать меня и грубым словом не находить.

Братья-голуби разными дорогами до Волги, а потом трешкотами и пароходами привезли меня, почитай, в конец России, в Самарскую губ<ернию>.

Там жил я, почитай, два года царём Давидом большого Золотого Корабля белых голубей-христов. Я был тогда молоденький, тонкоплечий, ликом бел, голос имел залихватый, усладный.

Великий Голубь, он же пророк Золотого Корабля, Духом Божиим движимый и Иоанном в духовном Иордане крещённый, принёс мне великую царскую печать. Три дня и три ночи братья не выходили из Корабля, молясь обо мне с великими слезами, любовью и лаской ко мне. А на четвёртый день опустили меня в купель.

Купель — это деревянный узкий сруб внутри дома; вход с вышки по отметной лесенке, которую убрали вверх. Тюфяк и подушка для уготованных к крещению набиты сухим хмелем и маковыми головками. Пол купели покрыт толстым слоем хмеля, отчего пьянит и мерещится, слух же и голос притупляются. Жёг я восковые свечи от темени, их было числом сорок; свечки же хватало, почитай, на целый день, они были отлиты из самого ярого белого воска, толщиной в серебряный рубль. Кормили же меня кутьёй с изюмом, скаными пирогами белыми, пить же давали чистый кагор с молоком.

В такой купели нужно пробыть шесть недель, чтобы сподобиться великой печати. Что подразумевалось под печатью, я тогда не знал, и только случай открыл мне глаза на эту тайну. Паренёк из Корабля, брат Мотя, вероятно, тайно от старцев, пробрался ко мне, приоткрыл люк вверху и в разговоре со мной проговорился, что у меня «отрежут всё», и если я умру, то меня похоронят на выгоне, и что уже там на случай вырыта могила, земля рассыпана по окрайку, вдалеке, чтобы незаметно было; а самая яма прикрыта толстыми плахами и дёрном, чтобы не было заметно.

Я расплакался, но Мотя, тоже заливаясь слезами, сказал, что выпустить он меня не может, но что внизу срубка, почти

в земле, прошлый год переменяли сгнившее бревно на новое, и что это бревно можно расшатать и выпихать в придворок, так как стена срубца туда выходит.

Весь день и всю ночь расшатывал я бревно, пока оно не подалось. И я, наперво пропихав свою одежду в отверстие, сам уже нагишом вылез из срубца в придворок, а оттуда уже свободно вышел в конопляники и побежал куда глаза глядят. И только когда погасли звёзды, я передохнул где-то в степи, откуда доносился далёкий свисток паровоза.

А после того побывал я на Кавказе; по рассказам старцев виделся с разными тайными людьми; одни из них живут в горах, по году и больше не бывают в миру, питаются от трудов своих. Ясны они и мало говорливы, больше кланяются, а весь разговор «Помолчим, брат!». И молчать так сладко с ними, как будто ты век жил и жить будешь вечно.

Видел на Кавказе я одного раввина, который Христу молится и меня называл Христом; змей он берёт в руки, по семи дней ничего не ест и лечит молитвой.

Помню, на одной дороге в горах попал я на ватагу смуглых, оборванных мальцов, и они обступили меня, стали трепать по плечам, ласкать меня, угощать яблоками и рассыпчатыми белыми конфетами. Кажется, что это были турки. Я не понимал по-ихнему ни одного слова, но догадался, что они зовут меня с собой. Я был голоден и без денег, а идти мне было всё равно куда.

В сакле, у горного ключа, куда меня привели мальцы, мне показалось очень приветно. Наварили лапши, принесли вина и сладких ягод, пили, ели... Их было всего человек восемь; самый красивый из них, с маковыми губами и как бы точёной шеей, необыкновенно лёгкий в пляске и движениях, стал оспаривать перед другими своё право на меня. Завязалась драка, и только кинжал красавца спас меня от ярости влюблённой ватаги.

Дня четыре эти люди брали мою любовь, каждый раз оспаривая меня друг у друга. На прощанье они дали мне около 100 рублей денег, кашемировую рубаху с серебряным кованым поясом, сапоги и наложили в котомку разной сладкой снеди.

Скала, скрывающая жгучий ключ, была пробита. Передо мною раскрылся целый мир доселе смутных чувств и отныне осознанных прекрасных путей. В тюрьме, в ночлежке, в монастыре или в изысканном литературном салоне я утешаюсь образом Али, похожего на молодой душистый кипарис. Позже я узнал, что он искал меня по всему Кавказу и южной России и застрелился от тоски.

От норвежских берегов до Усть-Цыльмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавинные пути. Плавни

Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы.

Познал я, что невидимый народный Иерусалим — не сказка, а близкая и самая родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая — Святая Русь, что везде, в поморской ли избе, в олонечкой ли поземке или в закаспийском кишлаке есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот — усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия.

Тёплый животный Господь взял меня на ладонь свою, напоил слюной своей, облизал меня добрым родимым языком, как корова облизывает новорождённого телёнка.

Жизнь на русских просёлках, под теленканье малиновок, под комариный звон звёзд всё упорней и зловещее пугали каменные щупальца. И неизбежное свершилось. Моздокские просторы, хвойные губы Поморья выплюнули меня в Москву. С гривенником в кармане, с краюшкой хлеба за пазухой мерил я лапотным шагом улицы этого доселе ещё прекрасного города.

Не помню, как я очутился в маленькой бедной комнатке у чернокудрого, с пчелиными глазами человека. Иона Брихничев — пламенный священник, народный проповедник, редактор издававшегося в Царицыне, на Волге, журнала «Слушай, земля!», принял меня как брата, записал мои песни. Так явилась первая моя книга «Сосен перезвон». Брихничев же издал и «Братские песни».

Появились статьи в газетах и журналах, на все лады расхваливавшие мои стихи. Литературные собрания, вечера, художественные пирушки, палаты московской знати две зимы подряд мололи меня пёстрыми жерновами моды, любопытства и сытой скуки. Брюсов, Бунин, Вересаев, Телешов, Дрожжин, марксисты и христиане, «Золотое руно» и Суриковский кружок — мои знакомцы того нехорошего, бестолкового времени.

Писатели мне казались суетными маленькими людьми, облепленными, как старая лодка, моллюсками тщеславия, нетерпимости и порока. Артисты казались обжорами, пустыми щёголями с хорошо подвешенным языком и с воловьим несуразным лбом. Но больше всего я ужасался женщин; они мне всегда напоминали кондоров на пустынной падали, с тошным запахом духов, с голыми шеями и руками, с бездушным, лживым голосом. Они пугали меня, как бесы солончаковских аральских балок.

Театры, музыка, картинные выставки и музеи не дали мне ничего, окромя польной тоски и душевного холода. Это было в 1911-12 гг. Грузинская Божия Матерь спасла меня от растления. Её миндальные очи поют и доселе в моём сердце. Пречудная икона! Глядя на неё, мне стало стыдно и смертельно обидно за себя, за Россию, за песню — панельный товар.

Моё бегство из Москвы через Питер было озарено знакомством с Нечаянной Радостью — покойным Ал<ександром> Блоком. Простотой и глубокой грустью повеяло на меня от этого человека с тёплой редкословесной речью о народе, о его святынях и священных потерях. До гроба не забыть его прощального поцелуя, его маслянистой маленькой слезинки, когда он провожал меня в путь-дорогу, назад в деревню, к соснам избы и ковриги-матери.

Жизнь на родимых гнёздах, под олонецкими берестяными звёздами дала мне песни, строила сны святые, неколебимые, как сама земля.

Старела мамушка, почернел от свечных восковых капелей памятный Часовник. Мамушка пела уже не песни мира, а строгие стихиры о реке огненной, о грозных трубных архангелах, о воскресении телес оправданных. За пять недель до своей смерти мамушка ходила на погост отметить поклоны Пятнице Параскеве, насладиться светом тихим, киноварным Иисусом, попирающим врата адовы, а после того показать старосте церковному, где похоронить её надо, чтобы звон порхался в могильном песочке, чтобы место без лужи было. И тысячецветник белый, непорочный, из сердца ея и из песенных губ вырос.

Мне же она день и час сказала, когда за её душой ангелы с серебряным блюдом придут. Ноябрь щипал небесного лебедя, осыпал избу сивым неслышным пухом. А как душе мамушкиной выдти, сходилась вихрь на деревне: две тесины с нашей крыши вырвало и, как две ржанных соломины, унесло далеко на задворки; как бы гром прошёл по избе...

Мамушка лежала помолодевшая, с неприкосновенным светом на лице. Так умирают святые, лебеди на озёрах, богородицына трава в оленьем родном бору... Мои «Избяные песни» отражают моё великое сиротство и святыню-мать. Избяной рай остался без привратника; в него поселились пёстрые сирины моих новых дум и чёрная сова моей неизглаголанной печали. Годы не осушили моих глаз, не размыкали моего безмерного сиротства. Я — сирота до гроба и живу в звонком напряжении: вот, вот заржёт золотой конь у моего крыльца — гостинец Оттуда — мамушкин вестник.

Всё, что я писал и напишу, я считаю только лишь мысленным сором и ни во что почитаю мои писательские заслуги.

И удивляюсь, и недоумеваю, почему по виду умные люди на- ходят в моих стихах какое-то значение и ценность. Тысячи стихов, моих ли или тех поэтов, которых я знаю в России, не стоят одного распевца моей светлой матери.

За свою песенную жизнь я много видел знаменитых и про- славленных людей. Помню себя недоростком в Ясной Поляне у Толстого. Пришли мы туда с рязанских стран: я — для духа непорочного, двое мужиков под малой печатью и два старика с пророческим даром.

Толстой сидел на скамеечке, под верёвкой, на которой бы- ли развешаны поразившие меня своей огромностью синие штаны.

Кое-как разговорились. Пророки напирали на «блаженни оскопившие себя», Толстой торопился и досадливо повторял: «Нет, нет...». Помню его слова: «Вот у вас мальчик, неужели и его по вашему испортить?». Я подвинулся поближе и по обы- чаю радений, когда досада нападает на людей, стал нараспев читать стих: «На горе, горе Сионской...», один из моих самых ранних Давидовых псалмов. Толстой внимательно слушал, глаза его стали ласковы, а когда заговорил, то голос его стал повеселевшим: «Вот это настоящее... Неужели сам сочиня- ет?...»

Больше мы ничего не добились от Толстого. Он пошёл куда-то вдоль дома... На дворе ругалась какая-то толстая баба с полным подойником молока, откуда-то тянуло вкус- ным предобеденным духом, за окнами стучали тарелками... И огромным синим парусом сердито надувались растянутые на верёвке штаны.

Старые корабельщики со слезами на глазах, без шапок, шли через сад, направляясь к просёлочной дороге, а я жамкал зубами подобранное под окном яснополянского дома боль- шое с чёрным бочком яблоко.

Мир Толстому! Наши корабли плывут и без него.

Как русские дороги-тракты, как многопарусная белянная Волга, как бездомные тучи в бесследном осеннем небе — так знакомы мне тюрьма и сума, решётка в кирпичной стене, же- лезные зубы, этапная матюжная гонка. Мною оплакана не од- на чёрная копейка, не один калач за упокой, за спасение «не- счастливицу, молоденькому».

Помню офицерский дикий суд над собой за отказ от во- енной службы... Четыре с половиной года каторжных работ... Каменный сундук, куда меня заперли, заковав в кандалы, не заглушил во мне словесных хрустальных колокольчиков, да- лёких тяжковеющих труб. Шесть месяцев вздыхали небесные трубы, и стены тюрьмы наконец рухнули. Людьюми в белых ха- латах, с золотыми очками на глазах, с запахом смертной беле-

ны и йода (эти дурманы знакомы мне по сибирским степям) я был признан малоумным и отправлен этапом за отцовской порукой в домашнее загуберье.

Три раза я сидел в тюрьме. Не жалко острожных лет: пострадать человеку всегда хорошо... Только любить некого в кирпичном кошеле. Убийца и долголетний каторжник Дубов сверкал на меня ореховыми глазами на получасных прогулках по казённому булыжному двору, присылал мне в камеру гостинцы: ситный с поджаристой постной корочкой и чаю в бумажке... Упокой его, Господи, в любви своей! А в поминанье у меня с красной буквы записано: убиенный раб Божий Арсений.

Били меня в тюрьме люто: за смирение, за молчание моё. У старшего надзирателя повадка была: соль в кармане носить. Схватит тебя за шиворот да и ну солью голову намыливать; потом сиди и чисти всю ночь по солинке на ноготь... Оттого и плешивый я и на лбу болезные трещины; а допреж того волос у меня был маслянистый, плечи без сутулья и лицом я был ясен...

Сивая гагара — водяных птиц царица. Перо у сивой гагары зачатое: зубчик в зубчик, а в самом черенке-коленце бывает и пищик... Живой гагара не дастся, только знающий, как воды в земляной квашне бродят и что за дрожжи в эту квашню положены, находит гагару под омежным корнем, где она смерть свою встречает. В час смертный отдаёт водяница таланному человеку заклятый пищик — певучее сивое перо.

Великое Онего — чаша гагарья, её удолье и заплыв смертный.

От деревни Титовой волок сорокавёрстный (сорок — счёт не простой) намойной белой лудой убегает до Муч-острова. На острове, в малой церковке, царьградские вельможи живут: Лазарь и Афанасий Муромские. Теплится их мусикия — учёба Сократова — в булыжном жёрнове, в самодельных горшечках из глины, в толстоцепных веригах, что до наших дней онежские мужики раченьем церковным и поклонением оберегают.

От Муромского через Бесов Нос дорога Онегом в Пудожские земли, где по падым береговым бабы дресву золотую копают и той дресвой полы в избах да лавки шоркают. Никто не знает, отчего у пудожских баб избы на Купальский день кипенем светятся... то червонное золото светозарит. Сказывают, близ Вороньего бора, в той же Пудожской земле, ручей есть: берега, в розмах до 20 саж<еней>, все по земляным слоям жемчужной раковинной выложены. Оттого на вороньегорских девках подзоры и поднизи жемчугом ломятся.

Бабки ещё помнят, как в тамошние края приезжали чёрные купцы жемчуг добывать. На людях накрашены купцы по

лицу краской, оттого белыми днём выглядят; в ночную же пору высмотрели старухи, что обличьем купцы как арапы, волосом курчавы и Богу не по-нашему молятся.

От Вороньего Бора дорога лесами бежит. Крест я в тех лесах видел, в диком нелюдимом месте, а на кресте надпись резная про государева дарева повествует. Старики ещё помнят, как ходили в Низовые края, в Новгород и в Москву сказители и баяны дарева промышлять. Они-то на месте, где по домам расходиться, крест с привозного морёного дуба поставили...

А послея крестовой росстани пойдут Повенецкие страны. Тут и великое Онего суклином сходится. Кому надо на красный Палеостров к преп<одобному> Корнилию в гости, заворачивай мысами, посолонь. Палеостров — кость мужицкая: 10000 заонежских мужиков за истинный крест да красоту молебную сами себя посреди Палеострова спалили. И доселе на их костях звон цветёт, шумит Неопалимое Древо... Видал я, грешный, пречудное древо и звон огненный слышал...

На ладьях или на соймах ловецких с Палеострова в Клименицы богомолье держат. Помню, до 30 человек в нашей ладье было — всё люди за сивой гагарой погонщики. Ветер — шелоник ледовитый о ту пору сходился. Подпарусник волны сорвали... Плакали мы, что смерть пришла... Уже Клименицы в глазах синели, плескали сиговьей ухой и устойчивым квасом по ветру, но наша ладья захлёбывалась продольной волной...

«Поставь парус ребром! Пустите меня к рулю!» — за велгласной исповедью друг другу во грехах памятен голос... Ладья круто повернула поперёк волны, и не прошло с час, как с Клименецкого затона вскричала нам встречу сивая водяница-гагара...

Голосник был — захваленный ныне гагарий погонщик — Григорий Ефимович Распутин.

В Питере, на Гороховой, бес мне помехой на дороге стал. Оболочён был нечистый в пальто с воротником барашковым, копыта в калоши с опушкой упрятаны, а рога шапкой «малоросс» накрыты. По собачьим глазам узнал я его.

«Ты, — говорит, — куда прёшь? Кто такой и откуда?»

«С Царского Села, — говорю, — от полковника Ломана... Григория Ефимовича Новых видеть желаю... Земляк он мой и сомолитвенник»

В горнице с зеркалом, с образом гостинодворской работы в углу, ждал я недолго. По походке, когда человек ступает на передки ног, чтобы лёгкость походке придать, учуял я, что это «он». Семнадцать лет не видались, и вот Бог привёл уста к устам приложить. Поцеловались попросту, как будто вчера расстались.

«Ты, — говорит, — хороший, в чистоте себя соблюдаешь... Любо мне смирение твоё: другой бы на твоём месте в митрополиты метил... Ну да не властью жив человек, а нищетой богатной!»

Смотрел я на него сбоку: бурые жилки под кожей, трещинка поперёк нижней губы и зрачки в масло окунуты. Под рубахой из кручёной китайской фанзы — белая тонкая одета и запястки перчаточными пуговками застёгнуты; штаны не просижены. И дух от него кумачный...

Прошли на другую половину. Столик небольшой у окошка, бумажной салфеткой с кисточками накрыт — полтора целковых вся салфеткина цена. В углу иконы — не истинные, лавочной выработки, только лампадка серебряная — подвески с чернью и рясном, как у корсунских образов.

Перед пирогом с красной рыбой перекрестились на образа, а как «аминь» сказать, внизу или вверху — то невдогад — явственно стон учуялся.

«Что это, — говорю, — Григорий Ефимович? Кто это у тебя вздохнул так жалобно?»

Лёгкое удивление и как бы некоторая муть зарябили лицо Распутина.

«Это, — говорит, — братишко у меня тебе жалуется, а ты про это никому не пикни, ежели Бог тебе тайное открывает... Ты знаешь, я каким дамам тебя представляю? Ты кого здесь в Питере знаешь? Хошь русского царя увидеть? Только пророчествовать не складись... В тебе ведь талант, а во мне дух!»

«Неладное, — говорю, — Григорий Ефимович, в народе-то творится... Поведать бы государю нашу правду! Как бы эта война тем блином не стала, который в горле колом становится?»

«Я и то говорю царю, — зачистил Распутин, — царь-батюшка, отдай землю мужикам, не то не сносишь головы!»

Старался я говорить с Распутиным на потайном народном языке о душе, о рождении Христа в человеке, о евангельской лилии, он отвечал невпопад и, наконец, признался, что он ныне «ходит в жестоком православии». Для меня стало понятно, что передо мной сидит Иоанн Новгородский, заклявший беса в рукомойнике, что стон, который я слышал за нашей молитвой перед пирогом, суть жалоба низшей пленённой Распутиным сущности.

Расставаясь, я уже не поцеловал Распутина, а поклонился ему по-монастырски... Бес в галошах с опушкой указал мне дорогу к Покрову на Садовой...

После каменного петербургского дня долго без морока спится, фабричным гудком не разбудить... По Фонтанке, в том конце её, где Чернышов мост в берега вклевался, утренние гудки чёрными петухами уши бередят...

Вот в такое-то петушиное утро к корявому дому на Фонтанке, в котором я проживал, подъехал придворный автомобиль. Залитый галунами адъютант, с золотой саблей на боку, напугал кухонную Авдотью: «Разбудить немедленно Николая Клюева! Высочайшие особы желают его видеть!».

Холодный, сверкающий зал царскосельского дворца, ряды золотых стульев, на которых сторожко, даже в каком-то благочинии сидели бархатные, кружевные и густо раззолоченные фигуры... Три кресла впереди — сколок с древних теремных условий — места царицы и её старших дочерей.

На подмостках, покрытых малиновым штофом, стоял я — в грубых мужицких сапогах, в пестрядинной рубахе, с синим полукафтанцем на плечах — питомец овина, от медведя полсол.

Как меня учил сивый тяжёлый генерал, таким мой поклон русской царице и был: я поклонился до земли, и в лад моему поклону царица, улыбаясь, наклонила голову. «Что ты, ни-вушка, чернёшенька...», «Покойные солдатские душеньки...», «Подымались мужики-пудожане...», «Песни из Заонежья» цветистым хмелем и житом сыпались на плечи и букли моих блистательных слушателей.

Два раза подходила ко мне царица, в упор рассматривая меня. «Это так прекрасно, я очень рада и благодарна», — говорила она, едва слышно шевеля губами. Глубокая скорбь и какая-то ущемлённость бороздили её лицо.

Чем вспомнить Царское Село? Разве только едой да дивным Феодоровским собором. Но ни бархатный кафтан, в который меня обрядили, ни раздушенная прислуга, ни похвалы генералов и разного дворцового офицера не могли размыкать мою грусть, чувство какой-то вины перед печью, перед мужицким мозольным лаптем.

Гостил я и в Москве, у царицыной сестры Елизаветы Феодоровны. Там легче дышалось и думы светлее были... Нестеров, мой любимый художник, Васнецов — на Ордынке у княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Феодоровна и простая, спросила меня про мать мою — как её звали, и любила ли она мои песни. От утончённых писателей я до сих пор вопросов таких не слышал.

Так развёртывается моя жизнь: от избы до дворца, от песни за навозной бороной до белых стихов в царских палатах.

Не изумляясь, но только сожалея, слагаю я и поныне напевы про крестные зори России. И блажен я великим в малом перстам, которые пишут настоящие строки, русским голубиным глазам Иоанна, цветущим последней крестной любовью...

1922

Праотцы

Говаривал мне мой покойный тятенька, что его отец (а мой дед) медвежьей пляской сыт был. Водил он медведя по ярманкам, на сопели играл, а косматый умняк под сопель шином ходил. Подручным деду был Фёдор Журавль — мужик, почитай, сажень ростом: тот в барабан бил и журавля представлял.

Ярманки в Белозёрске, в веси Егонской, в Кирилловской стороне до двухсот целковых деду за год приносили. Так мой дед Тимофей и жил; дочерей своих (а моих тёток) за хороших мужиков замуж выдал. Сам жил не на квасу да редьке: по престольным праздникам кафтан из ирбитского сукна носил, с плисовым воротником, кушак по кафтану бухарский, а рубаху носил тонкую, с бисерной накладкой по вороту. Разоренье и смерть дедова от указа пришли.

Вышел указ: медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить... Долго ещё висела шкура кормильца на стене в дедовой повалуше, пока время не стёрло её в прах... Но сопель медвежья жива, жалкует она в моих песнях, рассыпается золотой зернью, аукает в сердце моём, в моих снах и созвучиях... Душевное слово, как иконную графью, надо в строгости соблюдать, чтобы греха не вышло. Потому пиши, братец, что сказывать буду, без шатания, по-хорошему, на память великомученицы Параскевы, нарицаемой Пятницей, как и мать мою именовали.

Господи, благослови поведать про деда моего Митрия, как говаривала мне покойная родительница. Глядит, бывало, мне в межбровья взглядом неколебимым, и весь облик у неё страстотерпный, диавола побеждающий, а на устах речь прелестная:

— В тебе, Николаюшка, аввакумовская слеза горит, пуштозерского пламени искра шает. В нашем колене молитва за Аввакума застольной была и праотческой слыла. Как сквозь сон помню, поскольку ребяческий разум крепок, приходила к нам из Лексинских скитов старица в каптыре, с железной панагией на персях, — отца моего Митрия в правоверии утверждать, и гостила у нас долго... Вот от этой старицы и живёт памятование, будто род наш от Аввакумова кореня повёлся...

И ещё говорила мне моя родительница не однажды, что дед мой Митрий Андреянович северному Ерусалиму, иже на реце Выге, верным слугой был. Безусым пареньком провозил

он с Выгова серебро в Питер начальству в дарово, чтоб военных команд на Выгу не посылали, рублёвских икон не бесчестили и торговать медным и серебряным литьём дозволяли. Чтил мой дед своего отца (а моего прадеда) Андреяна как выходца и страдальца выгорецкого. Сам же мой дед был древнему благочестию стеной нерушимой.

Выговское серебро ему достаток давало. В дедовском доме было одних окон 52; за домом сад белый, черёмуховый, тыном бревенчатым обведён. Умел дед ублажать голов и губных старост, архиереев и губернаторов, чтобы святоотеческому правилу вольготней было. С латинской Австрии, с чужедальнего Кавказа и даже от персидских христиан бывали у него гости, молились пред дивными рублёвскими и дионисиевскими образами, писали Золотые Письма к заонежским, печорским и царства Сибирского христианам, укрепляя по всему Северу левитовы правила красоты обихода и того, что учёные люди называют самой тонкой одухотворённой культурой...

Женат мой дед был на Федосье, по прозванию Серых. Кто была моя бабка, от какого кореня истекла, смутно сужу, припоминая причиты моей родительницы, которыми она ублажала кончину своей матери. В этих причитах упоминалось о «белом крепком Нове-городе», о «боярских хоробах перёных», о том, что её родитель-матушка не чернавка была дворовая, родом-племенем высокая,

На людях была учтивая,
С попами-дьяками была ровнею.
По заветным светлым праздничкам
Хорошо была обряжена,
В шубу штофную галунчату,
В поднизь скатную жемчужную.
Шла по улице боярыней
А в гостибье государыней.
Во святых была спасёная,
Книжной грамоте учёная...

Что бабка моя была действительно особенная, о том свидетельствовал древний Часовник, который я неоднократно видел в детстве у своего дяди Ивана Митриевича. Часовник был узорно раскрашен и вызолочен с боков. На выходном же листе значилась надпись. Доподлинно я её не помню, а родитель мне её прочитывала, что «книга сия выгорецкого поселника и страдальца боярина Серых...»

1924

Огненная грамота

Я — Разум Огненный, который был, есть и будет вовеки. Русскому народу — первенцу из племён земных, возлюбленному и истинному — о мудрости и знании радоваться.

Вот беру ветры с четырёх концов земли на ладонь мою, четыре луча жизни, четыре пылающих горы, четыре орла пламенных, и дую на ладонь мою, да устремятся ветры, лучи, горы и орлы в сердце твоё, в кровь твою и в кости твои — о русский народ! И познаешь ты то, что должен познать.

Тысячелетия Я берёг тебя, выращивал, как виноградную лозу, в саду Моём, пестовал, как мать дитя своё, питая молоком крепости и терпения. И вот ныне день твоего совершенлетия. Ты уже не младенец, а муж возрастный. Ноги твои как дикий камень, и о грудь твою разбиваются волны угнетения. Лицо твоё подобно солнцу, блистающему в силе своей, и от голоса твоего бежит Неправда.

Руки твои сдвинули горы, и материки потряслись от движения локтей твоих. Борода твоя, как ураган, как потоп, сокрушающий темничные стены и разбивающий в прах престолы царствующих. «Кто подобен народу русскому», — дивятся страны дальние, и отягощённые оковами племена протягивают к тебе руки, как к Богу и искупителю своему.

Всем ты прекрасен, всем взыскан, всем препрославлен. Но одно преткновение Я нашёл в тебе: Ты слеп на правый глаз свой.

Когда Я становлюсь по правую руку твою — ты уклонишься налево, и когда по левую — ты устремляешься вправо. Поворачиваешься задом к Солнцу Разума и, уязвленный незнанием, лягаешься, как лось, раненный в крестец, как конь, взбесившийся от зубов волчьих. И от ударов пяты твоей не высыхает кровь на земле.

Я посылаю к тебе Солнечных посланцев, красных пророков, юношей с огненным сердцем и мужей дерзающих, уста которых — меч поражающий. Но когда попадают они в круг тёмного света твоего, ты, как горелую пеньку,рываешь правду, совесть и милосердие свои. Тогда семь демонов свивают из сердца твоего гнездо себе и из мыслей твоих смрадное логовище. Имена же демонов: незнание, рабство, убийство, самоунижение, жадность и невежество. И когда семь Ужасов, по темноте своей, завладевают духом твоим, тогда ты из пылающей горы становишься комом грязи, из орла — червём, из светлого луча — копотью, чернее котла смолокура.

Ты попираешь ногами кровь мучеников, из злодея делаешь властителя и, как ошпаренный пёс, лижешь руки своим палачам и угнетателям. Продаёшь за глоток водки свои леса и земли обманщикам, выбиваешь последний зуб у престарелой матери своей и отцу, вскормившему тебя, с мясом вырываешь бороду...

Забеременела вселенная Змеем тысячеглавым. Вдоль и поперёк прошёл меч. Чьи это раздирающие крики, которые потрясают горы? Это — жалобы молодых жён и рыдания матерей. Два всадника, закутанные в саваны, проносятся через сёла и города. Один, обглоданный, как скелет, гложет кусок нечистого животного, у другого вместо сердца — чёрная язва, и волчьи стаи с воем бегут за ним. И нет пощады отцам ради детей.

Горе, горе! Кровь разливается; она окружает землю красным поясом! Какие эти жернова, которые вращаются, не переставая, и что размалывают они?

Русский народ! Прочисти уши свои и расширь сердце своё для слов Огненной Грамоты! Жернова — это законы царей, вельмож и златовладетелей, и то, что размалывают они, — это мясо и кости человеческие.

Хочешь ли ты, сын мой, попасть под страшный, убийственный жёрнов? Хочешь ли ты, чтобы шею твою терзал наглухо заклёпанный железный ошейник раба, чтобы правая рука твоя обвила цепями левую, а левая обвила ими правую? И чтобы во власти злых видений ты так запутался в оковах, что всё тело твоё было бы покрыто и сжато ими, чтобы звенья каторжной цепи прилипли к твоему телу, подобно кипящему свинцу, и более не отпадали?

Если ты веришь тьме — иди во тьму! Вот поднялись на тебя все поработители, все Каины и убийцы, какие есть на земле. И они сотрут имя твоё, и будешь ты как грязь, попираемая на площади. И даже паршивый пёс должен будет нагнуть морду свою, чтобы увидеть тебя. И там, где была Россия — земля родимая, колыбельная, будто холмы из пепла, пустое, горелое место, политое твоей кровью.

О русский народ! О дитя моё! Прекраснейший из сынов человеческих! Я — Разум Огненный, который был, есть и будет во веки, простираю руки мои, на ладонях своих неся дары многоценные. В правой руке моей Пластырь знания — наложи его на тёмный глаз свой, и в левой руке моей бальзам просвещения — помажь им бельмо своё!

Никогда небо не будет так лучезарно и земля так зелена и плодородна, как в час прозрения всенародного. И сойдёт на русскую землю Жена, облечённая в солнце, на челе её начертано имя — наука, и воскрылия одежд её — книга горящая. И,

увидя себя в свете Великой Книги, ты скажешь: «Я не знал ни себя, ни других, я не знал, что такое Человек! Теперь я знаю».

И полюбишь ты себя во всех народах, и будешь счастлив служить им. И медведь будет пастись вместе с телицей, и пчелиный рой поселится в бороде старца. Мёд истечёт из камня, и житный колос станет рощей насыщающей.

Да будет так! Да совершится!

1919

Сновидения

Радости учитель

Мартовские насты — сивы, а зори пахучи и вихрасты. Трактом до росстани около трёх вёрст столбовых, а на третьей версте часоленка пологая у сосняка крест в талом заряничном сусле купает. Здесь под купанным крестом видение мне было, в теле или без тела — просто не знаю. Пришёл я мартовской зарёй к часоленке на крылечной ступеньке посидеть, жалостью себя покормить. А уж поздно было, до дому же обратных три версты столбовых...

Пришёл я домой, с ветерком павечерним в бороде, студёный. С устатка не сумерничал, лёг спать.

И вижу: сижу я на часоленном крылечке, сосны при дороге и заря на снегу... Гляжу — старичок, как бы странник, дорогой к жилью да ночлегу поспешает...

Жалко мне стало батюшку. «Откулешний, — спрашиваю, — дедушка?» А он мне в ответ голосом незабвенным: «Тамбовский, радость моя!».

Ёкнуло у меня сердце, узнал я Серафима-брата, радости учителя. Спыхватился я, глаза открыл: сижу на крылечке часоленном. И уж ночь в мире, звёзды надо мной редкие, полужимные.

Пришёл я домой в изумлении, как пьяный. Таково Серафимово видение, до гроба не забыть. Аминь.

Март 1921

Троицкий хлад

В четверг на Троицкой неделе весь день солнопёк бил в окошко и малиновка после заката теленькала до вторых петухов за стеной. А как вторым петухам протрубить, толкнуло меня, спящего, в бок два раза: мол, что спишь, вставай!

Открыл я глаза и сел на постели. Вижу, передо мной стоят два человека. Первый, ближе ко мне, показывает другому на меня и говорит: «Вот он может написать про тебя!» — «Да, — ответил второй, — он нашего рода, но от малого так страдает».

И пошли говорящие. А я закричал им вслед: «Кто вы, кто? Скажите, Бога ради!». И на вопленьё моё ответ был: «Апостол Пётр...»

Малиновка теленькала за окном. Троицким тонким хладом веяло над землёй... Пролил я слёзы...

2 июня 1922

Два пути

Нездоровилось мне. Всю ночь дождь клевал окошко. А когда задремал я, привиделся мне сон.

Будто горница с пустыми стенами, как в приезжих номерах бывает, белесоватая. В белесоватости — зеркало, трюмо трактирное; стоит перед ним Сергей Есенин, наряжается то в пиджак с круглыми полами, то с фалдами, то клетчатый, то синий с лоском. Нафиксатурен он бобриком, воротничок до ушей, наперед с отгибом; шея жёлтая, цыплячья, а в кадыке голос скачет, бранится на меня, что я одёжи не одобряю.

Говорю Есенину: «Одень ты, Серёжа, поддёвочку рязанскую да рубаху с серебряным стёгом, в которые ты в Питере сокручен был, когда ты из рязанских краёв «Радуницу» свою вынес!..»

И оделся будто Есенин, как я велел. И как только оделся, — расцвёл весь, стал юным и златокудрым. И Айседора Дункан тут же объявилась: женщина ничего себе — добрая, не такая поганая, как я наяву о ней думал. Ей очень прилюбилось, что Есенин в рязанском наряде...

Потом будто приехали мы к большим садам. Ворота перед нами — столбы каменные, и на каждом столбе золотые надписи с перстом указующим высечены: направо — аллея моя, налево — Сергея Есенина... И знаем мы, что если пойдём все по одному пути или порознь — по двум, — то худо нам будет... Сговорились и пошли напрямки...

Темно кругом стало и ветрено... Вижу я фонтаны по садовым площадкам, а из них не вода, а кровь человеческая бьёт... И не пошли мы дальше, а свернули вправо, туда, где деревья зелёные.

Вижу я — дорога перед нами светлым, нежным песком усыпана, а о краю её как бы каштаны или дубы молодые, все розовым цветом унизаны. Меж деревьев стали изваяния белые попадаться, лица же у изваяний закрыты как бы золотыми масками...

Стал я узнавать изваяния: Сократа, Сакья-муни, Магомета, Данте... И вышли мы опять к воротам, в которые вошли, к ка-

литке с моим именем. Подивились мы и порешили пройтись и тем путём, который есенинским назван.

Вижу я — серая под ногами земля, с жилками, как стиральное мыло. И по всему пути огромные мохнатые кактусы посажены, шипы — по ножевому черню. Меж кактусов, как и на первом пути, — болваны каменные, и на всяком болване по чёрной маске одето: Марк Твен, Ростан, Д'Аннунцио, а напоследок Сергей Клычков зародышем каменным уселся. И вместо носа у него дыра, а в дыру таково смешно да похабно цигарка всунута...

Стали мы с Есениным смеяться... В смехе я и проснулся.

7 октября 1922

Царь славы

В канун кануна Спиридона Солнцеворота привиделся мне сон. Стою я будто на лестнице внутренней, домовой. Смотрю вниз на рундук, а там два котёночка маленьких хвостики задирают, пищат — домой просятся. Пожалел я их, отворил двери в квартиру: мол, хозяева котятные найдутся!

Воззрился я вокруг: комната с часами на стене, и о стену стол, салфетка на нём брошена, крючком вязанная, и другие часы, шейные, каки барыни носят, на столе близ салфетки лежат.

Пошёл было я вон из комнаты, дверь открыл на улицу, а за мною погоня, будто я часы украл. Пустился я бежать, улица узкая и панель булыжная, всё в гору, в гору. Прибежал к громадной кирпичной постройке, полез вверх по лесам. Ветер мне в лицо, а леса подо мной гнутся, трещат, а я всё выше забираюсь. Одно держу в мыслях: как бы мне от погони схорониться...

Гляжу, встреча мне: на выступе гнездо орлиное, а в нём орёл с двумя орлятами, воззрился на меня люто, когти выпускает, шипит, вот-вот в кровь меня разорвёт.

Некуда мне укрыться: одна тесина узенькая от выступа к краю стены перекинута, а от стены лестница вниз спущена на крышу какую-то со слуховым окном. Я по тесине да по лестнице вниз опустился, орла минуячи, да в слуховое окошко и нырнул...

Слышу пение внизу... исполатное и трубное: каково возночительно да пасхально поют — ну, думаю, благочестивые здесь люди живут, найду я у них приют и оборону... Сошёл я по пологим ступеням в сени, а из сеней — в горницу. Горница светличная, прибранная и святочистая. У стола, в большом

углу, как бы белицы стоят, а с ними доброликий кто-то в пустынной ряске. И все поют в голос: «Утреннюю, утреннюю глубоко вместо мира песнь принесём Владычице и Христа узрим!». А сами икону на столе рассматривают; икона белых Олипия Печерского писем: преподобный изображён на иконе, а над ним крест с надписью: «Царь славы».

Перекрестился я, грешный, на икону глядячи. Вдруг икона поднялась на воздухе, мягким шёлковым лентием подерживаема, а четыре белицы, подобно камню, что рубином зовут, ало воссияли, крылья над головами крестя. Оглянулся я на себя — а уж я не мирской... в белопламенную ризу облачённый, жезл у меня в руке и на голове венец трёхъярусный слепящий. И возгласили мне невидимые лики исполатное и трубное «Царь славы» трикраты. А существа алопалящие, как бы путь мне указуя, с места содвинулись, а я в одежде Соломоновой по горницам, одна святее другой, за ними крестоходным шагом устремился...

Только стали горницы одна за другой сереть и в худость приходять, мусор какой-то задворочный да помойный стал под ноги мне попадать и за светлые ризы цепляться. Стараюсь я осторожно через нечисть ступать, через голики да через человеческие отбросы, только понапрасно тщание моё... Лужа мне вонючая да зелёная на пути предстала. Я вброд по луже, по колено ризный виссон онечистил...

И уж нет со мной друзей багряных, и путь мой в стену кабацкую упёрся. Поганая такая стена, вся пропадом да грехом обглодана. Дверь в стене этой — дыра гнилая, а над дверью вывеска горькая — «Распивочно и на вынос». Буквы такие проклятые!

На чёрном осклизлом пороге ты, Николенька, сидишь, пьяный и драный, пропащий бесповоротный забулдыга. А рядом тебя черноглазая девка, какие раньше с шарманками ходили, на сербов похожи... стоит, куражится... Одетая девка в военный полушубок, за пазухой одеяло синее байковое свёртком засунуто, а в руке бубен кабацкий. Трясёт она бубном, а сама как бы тебе резоны выставляет: «Говорила я тебе, брось своего Ключева!».

А ты будто плюёшься, слёзы с отчаяния из глаз выжимаешь, по синей опухшей роже размазываешь: «Найди ты, — говоришь, — мне его, и тогда я спасусь!».

Подошёл я к тебе поближе, на жезл драгоценный опираюсь, а светлоогненные ризы мои, почитай, выше колен слизью да калом измазаны. «Коленька, — говорю, — это ведь я! Узнаёшь ли ты меня?» Поднял ты на меня пропитущие гнойные зенки и не узнал. Только хрип твой до меня дошёл: «Ты — Царь славы!».

И во мгновение ока очутился я вновь в святой горнице. Четыре огненных брата со мной и икона Олипиева перед зреньем моим на воздушях, и сам я — во славе светлоризной. Поклонился я иконе, как царь кланяется, а в иконе, как в стекле, даль обозначилась, и ты, Николенька, удавленником на верёвке качаешься, вытянулся весь, и рубище на тебе кабацкое... Тут я и проснулся.

23 декабря 1922

Медвежий сполох

Два сна одинаковые... К чему бы это? Первый сон по осени привиделся.

Будто иду я с Есениным лесным сухмянником, под ногой кукуший лён да богородицына травка. Ветер лёгкий можжевеловый лица нам обдувает; а Серёженька без шапки, в своих медовых кудрях, кафтанец на нём в синюю стать впадает, из аглицкого тонкого сукна, и рубашка белая белозёрского шитья. И весь он, как берёзка на пожне, лёгкий да сквозной.

Беспокоюсь я в душе о нём — если валежина или пень ощерый падёт, указую ему, чтобы не ободрался он... Вдруг по сосняку фырк и рыск пошёл, мяряданье медвежье... Бросились мы в сторону... Я на сосну вскарабкался, а медведь уже подо мной стоймя встал, дыхом звериным на меня пышет. Серёженька же в чашу побежал прямо медведице в лапы... Только в лесном пролежне белая белозёрская рубаха всплеснула и красной стала...

Гляжу я: потянулись в стволинах сосновых соки так видимо, до самых макушек... И не соки это, а кровь, Серёженькина медовая кровь...

Этот же сон нерушимым под Рождество вдругоряд видел я. К чему бы это?

Январь 1923

Живое древо

Под святочную порошу спитса глухо. Колотушки сторожевой не слышно. Спал бы век векущий, да сны будят.

Под святочную порошу видел я себя в лесу. Лес особенный — необхватные стволины, земля сальная, дюжая...Темень в лесу, марево сизое. Все деревья заматерели во мхах, в

корявых наростах, в седилах трущобных. Тронул я перстом одно, самое матёрое дерево, а из него голос ровный, как бы укорный:

«Что ты меня беспокоишь, ведь христианство только теперь началось!..»

Годы дремучие...

Январь 1923

Неприкосновенная земля

Прости меня, Коленька, за грех мой. Не от меня грех исходит, а от древней злобы и мёртвой персти. Не возложения рук твоих молю я, пинка, как ошпаренной шелудивой собаке. Собака я ошпаренная, а вновь и опять видел небо величавое и колыбельную землю сладимую.

На память преподобного Серафима, Саровского чудотворца, привиделся мне сон пространный, лёгкий. Будто я пеш и бос, в пестрядинной рубахе до колен, русская рубаха, загулённая. Понизь — равнина, понизовье поречное без конца без края в глазах моих, и воздуха тихие, благо-растворимые. Там и сям на груди равнинной водные продухи, а на них всякая водяная птица прилёт с северных стран правит..

И будто земля сновидная — Египет есть. Сфинксы по омежньм сухмяням на солнце хрустальном вымя каменное греют. Прохладно и вольно мне, глотаю я воздух дорогой, заповедный. И будто в стороне море спит, ни ряби на нём, ни булька...

Далеко-далеко за морем пушки ухают: это будто в Питере беспокойно... Вдруг два человека мне предстали: один в белом фараоновом колпаке рыбу в десять лес ловит, а другой — ищейка подворотная, в пальтишке длинном, и в руке бумага, по которой я судебной палатой за политику судился. Тявкнула ищейка, а смысл таков: мол, установлено, что я, Николай Клюев, — анархист; что же касательно Распутина, то это установить ещё надо.

«Ну, — думаю, — с меня теперь взятки гладки: в Египте я, в земле древней, неприкосновенной!..» Проснулся обрадованный.

Январь 1923

Сон аспидный

Взят я под стражу... В тюрьме сижу... Безвыходно мне и отчаянно. Сторож тюремный ключами звякает, жалеючи меня, говорит мне, что казнь моя завтра и что придётся меня, хоть и жалко, в холодный каземат на ночь запереть. «Господи, — думаю я, — за что меня?»

А сторож тюремный, жалеючи меня, говорит: «За то, что в дневнике царя Николая II ты обозначен! Теперь уж никакая бумага не поможет!». И подаёт мне чёрный, как грифельная доска, листик, а на листике белой прописью год рождения моего, имя и отчество назnamenованы. Вверху же листа слово «жив» белеет...

Завтра казнь... Безысходная тюрьма, и не вылизать языком белых букв на чёрном аспиде...

1923

Новое счастье

Ещё сон незабвенный, как родительская могила, памятный.

Будто улицей ночной захолустной иду я. Ни огня, ни про духа света, грязь под ногами поросёнком хрюкает, и рубаха моя беспоясная в ветре полощется. Заблужденный будто я, безночлежный, и бесследье дикое вокруг меня...

Набрёл я на ворота, молчанием кованые. Стал плечом калитку напирать, поддалась будто калитка. Вижу, на дворе строенье тёмное. Сотворил я молитву про себя, Духа Святого вспомянул, а кто-то из тьмы тёмной сгрубиянил меня: мол, этого имени здесь не помнят.

Стал подниматься я в крыльца, огни показались мёртвые, как в городских трактирах, и топ, верезг, цап, гуз и прыск человеческий оглушили меня. Вижу, горница на конское побежище велика и вся плясней зыбится, ходуном ходит от чёртовой пляски... Музыка страшная, неминуемая, и кружится окаянное, проклятое, благословения материнского не знавшее: пара в хвостах собачьих калом рыгает, пара в перстах вередовых гнойных, пара — глаз бычий, разъярённый, убойной кровью налитый...

Осолвел я. В неум меня кинуло. Гляжу: ты, Коленька, в дверях, и оборотень, кишащий червями, тебя в пляску тащит. «Ну, — думаю, — пропад тебе!..» Минута за минутой в пляске текли, и уж далеко ты от меня, нелюбезный, оборотень червивый.

Негаданно стена позади меня воссияла, как-то растаяла. Онемели чёртовы дудки, и в глазах у меня видение благое: вижу, идёт муж духосвятный с кропилом в деснице, а полеву — перед ним отроча в венце измарагдовом. Грядёт духосвятный муж, а я за ним, под щитом-кропилом. Кропит святитель ошуюю и одесную, и, как тлен горелый, рассыпается чёртово проклятое.

Горница — конское побежище, гляжу, уже на убыли. Вижу тебя Коленька, червивого, пёс лижет. Стал я пса пинком от тебя гонить, а он голосом вальяжным, чиновным изрёк мне, будто он знакомец твой покойный и велит тебе четвергу не верить.

Помолился я святу мужу рыдающей молитвой о дружбе нашей, и он благословенную десницу подъял и благословение афонское по-гречески проглаголал. И пали живые капли от кропила его на тебя, псиного и червивого...

Гляжу, идём мы дорогой ясной, заморский ветерок в лицо нам дует; деревья, круглые, как чаши, миро зелёное к небесам возносят, и птах на них жёлтых и червонных, как пчёл на медушнике.

Край незнаемый, неуязвимый бедами... «Это — Канарские острова!» — говоришь ты, а сам такой лёгкий, восковой, из червя неусыпного вызволенный... Новое счастье!

Май 1923

Пресветлое солнце

Будто лезу я на сарайную стену, а крыша крутая. Сам же сарай в лапу рублен, в углах столетья жухнут, сучья же в брёвнях паточные, липкие. И будто у самого шолома сосна вилавая в хвойной лапе икону держит, бережно так, как младенчика на воздушях баюкает. Приноровился я икону на руки приять, откуль ни возмись орава людская, разгалдела на меня, вопом да сглазом душу полоша...

Побежал я по шолому, как синица за комаром... Догнала орава меня в тесном месте, руки в оковы вбила, захребётной цепью сковала. Повели меня к тёмному строению. Вижу, к стене лестница поставлена, ушами в полый люк упёрта. И надо мне в этот люк нырнуть, а руки у меня скованы и захребётная цепь грызёт тело моё.

Прыгнул я с лестницы в люк, не убился и плоть не ушиб. Вижу, спит темь, хвост — коридор длинный, голова же — пустая конюшня. Знаю, что есть и глаза у тьмы, и слышание кошачье, только я-то в утлость головную за смертью пришёл, за своей погибелью.

Солдатишко — язва, этапная пустилайка, меня выстрелом кончать будет. Заплакал я, жалко мне того, что весточки миру о страстях своих послать нельзя, что любовь моя не изжита, что поцелуев у меня кошель непочатый... А солдатишко целится в меня, дуло в лик мой наставляет... Как оком моргнуть, рухнула крыша-череп, щебнем да мусором распался коридор-хвост.

Порвал я на себе цепи и скоком-полётом полетел в луговую ясность, в Божий белый свет... Вижу, озеро передо мной, как серебряная купель; солнце льняное непорочное себя в озере крестит, а в воздухах облако драгоценное, виссонное, и на нём, как на убресе, икона возвыглась Тихвинския Богородицы...

«Днесь, яко солнце пресветлое, воссия нам на воздухах, всечестная икона твоя, Владычице, юже великая Россия, яко некий дар божественный, с высоты прияла».

24 июня 1923

Студёная жажда

Будто двор снежный в церковной ограде. На дворе церквушка каменная, толстостенная, почитай, вся снегом занесена. В надворотном кокошнике образ Миколин, и ты, братец мой, в нищем пальтишке, голорукий, в папертные врата стучишься — иззябший и бездомный.

Под оконцем церковным ледяной колодец, а в нём вода близкая, но не нагнуться мне, пясткой не захлебнуть, норовлю я черпаком берестяным водицы испить. Только гляжу, человек передо мной бородатый, на костылях, по имени и отчеству меня окликнул и в церковь позвал причастной теплотой мою студёную жажду погасить.

Человек на костылях и ты, братец, на снежных крыльцах в одно слились, и обличье у вас стало одно и голос один. Врата же церковные открыл Невидимый...

14 июля 1923

Царьградский закат

Будто спасаюсь я от врагов. Забежал в болото, где треста болотная и вода по пояс. Ныряю я в воде, одна голова поверх, боронюсь от врагов... Выкарабкался на сухой берег, бегу берёзовым перелеском куда глаза глядят.

Прибежал к новой избе на опушке. Думаю, добрые люди живут, помолюсь им и спасут меня. Вбежал в горницу, вижу, девка ждёт меня, учливая, зовёт в другую горницу. «Там, — говорит, — бармы для тебя приготовлены!» Знаю, думаю, какие бармы. Петля удавная!

Девка мне нитку сканую показывает. «Вот, — говорит, — на какой тебя повесят!» Размыслил я — не страшно нитки. Пошёл я за девкой в другую горницу. Стал к окну, и в лицо мне горний свет бьёт. Обернулся — не одна, а три девки позади меня на лавке сидят, зубы скалят. Прядеи они, нитки прядут, прялицы крашенные и верётна со звоном. Не опомнился я, нитками весь запряден... Перерезали мне нитки горло, как петля удавная, и умер я в единый миг, плоть девкам оставя, а сам же лебязьим летом лечу над великим озером. Тихи и безбрежны воды озера, вечная заря над ним, о которой поётся «Свете тихий» по церквам русским. Паруса безмятежные в заре, в воздухах и в водах. Лёт лебединый во мне и стихира в памяти:

Парусами в онежские хляби
Загляделся царьградский закат!

24 марта 1924

Лебязье крыло

А я видел сон-то, Коленька, сегодня какой! Будто горница, матицы толстые, два окошка низких в озимое поле. Маменька будто за спиной стряпню развела, сама такая весёлая, плат на голове новый повязан, передник в красную клетку.

Только слышу я, что-то недоброе деется. Ближе, ближе к дверям избяным. Дверь распахнулась, и прямо на меня военным шагом, при всей амуниции, становой пристав и покойный исправник Качалов. «Вот он, — говорят, — наконец-таки попался!». Звякнули у меня кандалы на руках, не знаю, за что. А становой с исправником за божницу лезут, бутылки с вином вылагают.

Совестно мне, а материнский скорбящий лик богородичной иконой стал. Повели меня к казакам на улицу. Казаки-персы стали меня на копьа брать. Оцепили лошадиным хороводом, копьа звездой. Пронзили меня, вознесли в высоту высокую! А там, гляжу, маменька за столом сидит, олашек на столе блюдо горой, маслом намазаны, сыром посыпаны. А стол белый, как лебязье крыло, дерево такое нежное, заветным маменькиным мытьём мытое.

А на мне раны, как угли горячие, во рту ребячья соска рожком. И говорить я не умею, и земли не помню, только знаю, что зовут меня Николой Святошей, князем черниговским, угодником.

8 июля 1925, Петергоф

Пучина кромешная

Страшно рот открыть, про этот сон рассказывать... Будто Новый год на земле, новые звёзды и новый ветер в полях. А я за порогом земным, на том свете, посреди мёрзлой, замогильной глади. И та гладина — немереный и немислимый кал человеческий да трупная стужа...

Иду я тысячу лет, а всё пристанища нету... Но вот будто малый приступочек. Присел я на него — не пойду никуда... Только воем в уши плеснуло: вижу, два беса человека, как боценок, катят. Наросли на человека все грехи его, и, как чан мясной, он катуч... Других два беса под человека одеты, богатых кабаков гости: манишка, джимы и всё прочее; только крещёной душе узнать, что это враги. Кувырком, с плясом и гончей рысью волокут они человека за ноги, как дровни за оглобли. За дровнями третья пара, поперёк трость панельная в серебряных буквах, а на ней голова насажена бабья, в рыжих волосьях, а кишки кал земной и мертвецкий мусор метут... Сотворил я молитву, в душе своей Христу кланаясь, любовь свою к его любви возношу...

Слышу вой человеческий пополам с волчьим степным воем. Бежит оленьим бегом нагой человек, на меня поворот держит. Цепью булатной, неразмыкаемой человек этот насквозь прошит, концы взад, наотмашь, а за один из концов лютый и всезлобный бес, как за вожжу, держится, правит человеком куда хочет. У той и другой ноги человека кустом лезвия растут, режут смертно.

«Николай, нет ли мёду?!» А бес гон торопит. «Ведь я не пьяный, не пьяный!» А бес гон торопит. И помчался оленьим бегом человек Есенин. Погонялка у беса — змей-чавкун, шьёт тело быстрее иглы швальной. На ходу, на утёке безвозвратном два имени городских выкликнул Есенин: Белёв, Бежецк.

Возрыдал я Спасу... Чую, под локтем у меня как бы узенький проходец, только боком втиснуться. Помыслил я укрыться от страха ночного в проходец этот. Тискаюсь, тискаюсь, о лоб и затылок стены задевают. Шуршат стены мертвецкой кожей да волосьями. Стала одёжа с меня, как корка с недопечённой ковриги, отваливаться, а за ней и тело стало строгаться.

Утончился я, белым, костяным стал... Чую, под ногами мокро, всё глубже, глубже ноги в мёртвую кровь уходят. А впереди шум сточный, водяной, кромешная кровавая пучина...

Некуда мне двинуться... Гляжу, человек ко мне идёт. Пучина его держит, не мочит он своих ног в крови. В чёрном весь человек, в мягком, складчатом, а лицо, как воск, лёгкое и тонкое. «Николай Васильевич Гоголь?» — «Да, — говорит, — это я. Пока ещё здесь, за сомнения. Вы всё написали, что я вам советовал? У меня был молитвенник — отец Матвей, к вам же я послал Игнатия. Писать больше не о чем...»

Конец сну.

1 января 1926

**Письма
ИЗ ССЫЛКИ**

В суете жизни человек едва узнаваем. Его сокровенная жизнь сокрыта в этой чаше. Когда же вторгаются страдания, мы узнаём избранных и святых по их терпению, которым они возвышаются над скорбями. Одр болезни, горящий дом, неудача — всё это должно содействовать тому, чтобы вынести наружу тайное. У некоторых души уподобляются духовному инструменту, слышному лишь тогда, когда в него трубит беда и ангел испытания. Не из таких ли и моя душа?

Л. Э. КРАВЧЕНКО

22 мая 1934 г. Томск

Дорогая Лидия Эдуардовна! Получил Вашу драгоценную телеграмму, всем сердцем благодарю за неё. Слова Ваши явился для меня великим утешением и подкрепили меня душевно. На белом свете весна, а я всё за решёткой. Отправку в Колпашев обещают на 24-е, но это не наверно. Больше нет сил и здоровье моё очень плохое, и я без съестных передач и какой-либо помощи. В окне светит голубым май, по видимому, в здешних краях лето лучше, чем в Ленинграде. Соседи-сибиряки рассказывают, что в Нарыме есть пчёлы, созревают греча и огурцы, множество рыбы, но всё это гадательно, и мне не верится во что-нибудь хорошее на моём пути. Но Бог милостив, быть может, призовет меня скоро в иной край, где нет ни печали, ни воздыхания. Как только приеду в Колпашев — напишу и буду ждать обещанного в телеграмме. Нет ли у Вас кого-либо знакомого в г. Томске? Нельзя ли просить сделать мне съестную передачу? Какое было бы счастье! Нельзя ли спросить у знакомых в Питере, нет ли, в свой черёд, у них знакомых в г. Томске? Прошу Вас узнать, что с моей квартирой в Москве. Адрес: Гранатный пер., № 12, кв. 3. Дарье Леонтьевне Швейцер. Я писал, но письма, видимо, не доходят. Ещё раз благодарю за память и за заботу! С сердечным уважением и преданностью целую Ваши руки. Горячо приветствую и кланяюсь всей Вашей семье. Как здоровье Толи? Как он себя чувствует? Жизнь ему и счастье! Прощайте! Простите!

Кланяюсь прекрасному Вашему городу, где я жил так счастливо! Наверно, мне его больше не видать. Ах, жизнь, жизнь! Всё прошло, как одна неделя!

Ещё раз прощайте! И благодарю, благодарю...

Известите телеграфом о получении этого письма!

Прощайте. Н. Клюев.

А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО

5 июня 1934 г. Колпашево

Незабвенное дитяtko, здравствуй!

После четырёх месяцев хождения по мукам я, как после кораблекрушения, выкинут на глинистый <берег?>, усыпанный чёрными от времени и непогоды избами — так называемый г. Колпашев. Это чудом сохранившееся в океанских переворотах сухое место посреди тысячевёрстных болот и залитой водой тайги — здесь мне жить пять унылых голодных лет и, наверное, умереть и похорониться, даже без гроба, в ржавый мёрзлый торфяник. Кругом нет лица человеческого, одно зрелище — это груды страшных движущихся лохмотьев этапов. Свежий человек, глядя на них, не поверил бы,

что это люди. Никакого пейзажа — угрюмая серо-пепельная равнина, над которой всю ночь висит толстый неподвижный туман, не поддающийся даже постоянному тундровому ветру. От 10 часов до четырёх светит солнце и даже жарко, но люди, выходя по делам, и в эти часы несут на руках ватное платье — не надеясь на устойчивость погоды. Говорят, что в этом году лето будет хорошее, ну приблизительно, как август на Вятке. В сентябре уже ледовитый снег, и так до половины мая. Гибель моя неизбежна. Я без одежды и без денег. Как политссылный я должен получать паёк: 15 кило ржаной муки, 2 кило крупы, 800 гр<аммов> сахар<ного> песку и 15 гр<аммов> чаю — вот и всё на целый месяц. Но и этот жалкий паёк я не могу выкупить. Все четыре месяца я питался лишь хлебом и водой, не всегда горячей. Теперь привыкаю есть, но после каждого куска поднимаются страшные боли в животе — я иссох так, что прежние кальсоны обшивкой обвивают два раза тело.

В кособокой лачуге, где ссылный китаец стрижёт и бреет, я увидел себя в зеркало и не мог не разрыдаться от зрелища: в мутном олове зеркала как бы плавала посыпанная пеплом голова и борода, — жёлтый череп и узлы восковых костистых рук. Я перенёс воспаление лёгких без всякой врачебной помощи — от этого грудь хрипит бронхитом и не даёт спать по ночам. Сплю я на голых досках под тяжёлым от тюремной грязи одеялом, которое чудом сохранилось от воров и шалманов — остальное всё украли ещё в первые дни этапов. Мне отвели комнату в только что срубленном баракообразном доме и за это слёзное спасибо, в большинстве же ссылные живут в землянках, вырытых своими руками, никаких квартир в Колпашеве не существует, как почти нет и коренных жителей. 90 % населения ссылные — китайцы, сарты, грузины, цыгане, киргизы, россиян же очень мало — выбора на людей нет. Все потрясающе несчастны и необщительны, совершенно одичав от нищеты и лютой судьбы. Убийства и самоубийства здесь никого не трогают. Я сам, ещё недавно укрепляющий людей в их горе, уже четыре раза ходил к водовороту на реке Оби, но глубина небесная и потоки слёз удерживают меня от горького решения. Я намерен проситься в ссылку в Вятскую губ<ернию>, ведь там ещё не изгладились следы дорогих для меня ног, или, крайне, в г. Томск, где есть хорошие врачи, но для этого нужно тебе немедля сходить в Бюро врачебной экспертизы, куда ты водил меня и где мне выдали свидетельство о том, что я — инвалид второй группы, страдаю артериосклерозом, кардиосклерозом, склерозом мозговых сосудов и истерией. Свидетельство у меня было, но осталось на Гранатном в немецкой Библии и, вероятно, как

и всё, что там было, пропало. Необходимо восстановить этот документ немедленно и выслать ценным письмом, тогда я буду иметь повод хлопотать о переводе. Мне здешнее начальство говорило, что это возможно при наличии документа от Бюро врачебной экспертизы об инвалидности и болезни. В прежнем моём документе в строке о переосвидетельствовании значилось: «Нет» — следовательно, документ пожизненный и очень резонный. Добудь его, дитя моё драгоценное. Поговори с Валентином Михайловичем, спроси его совета, а также и его удостоверения, что я болел суставным ревматизмом — это тоже нужно и важно. Сходи к профессору Нарбуту — попроси его выдать мне удостоверение о глубоком неврозе сердца и общего тяжелонервного состояния с приложением печати и т. п. Кланяйся его семье и попроси Софию Викторовну соорудить мне посылочку: чаю, сахару, компоту, круп и непременно жиров, лучше шпикую свиного, какую-либо тёплую рубаху, кальсоны, если можно, то брюки, хотя бы старые, носки, гребёнку и какую-либо кастрюльку-котелок для варки пищи, эмалированный или какой другой, но полегче. Посылка может быть весом до 15 кило — это новые почт<овые> правила. Здесь растительной пищи нет. Поэтому мне нужен компот и лук в головках, чтобы не заболеть цингой. В тюрьме мне ошибочно рассказывали, что в Колпашеве растут огурцы, — в нём не сеют и не жнут. И съестное редкость, и цены на всё чудовищные. Бутылка молока 2 р. 50 коп. Небольшой хлебец фунта два — 6—7 руб. Масло 30 руб. кило, но пахнет медведем, рыба — караси, 3 руб. штука. Мука 75 руб. пуд и т. д. Но всё это и за деньги надо купить умеючи. Потому что всё редко и скудно. Чем же ты утетишь меня — друг мой?! Можно ли мне питаться надеждой на регулярную месячную помощь, хотя бы на хлеб и воду? Напиши мне об этом! Раздобудешь ли ты для меня что-либо тёплое на зиму? Валенки, штаны ватные, варежки, портянки бумазейные, шапку с ушами размер 15 1/2 вершков в окружности, шарф, рубаху вязаную. (Тёплое пальто мне обещали прислать из Москвы.) Но предупреждаю, не обижай себя! Мне будет тяжело знать, что я для тебя обуза. Подумай об этом и обо всём остальном — поговори с моими друзьями и т. п. Сообщи мне — следует ли мне выслать тебе доверенность на мою квартиру и на всё, что в ней находится, или тебе это трудно, и тогда можно хотя бы Клычкову, у него теперь квартира в доме писателей и места много?

Как бы хотелось пролить к тебе сердце своё, высказать, что накопил, но бумага тоже, как жизнь, конечна. Буду ждать от тебя письма — оно будет для меня великой радостью. Телеграмму я получил. Она мне очень помогла и укрепила душевно. Прощай, дитятко! Будь счастлив. Пусть моё страшное не-

счастье научит тебя, как нужно быть чётким и бережливым к своей судьбе в жизни! Кланяюсь моим друзьям! Кланяюсь тебе — единственному и незабвенному в жизни и смерти моей. Прощай! Прости!

Колпашев, до востребования.

5 июня 1934 г.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

10 июня 1934 г. Колпашево

Дорогая Надежда Фёдоровна!

После четырёх месяцев тюремной и этапной агонии я чудом остался живым, и, как после жестокого кораблекрушения, когда чёрная пучина ежеминутно грозила гибелью и океан во всей своей лютой мощи разбивал о скалы корабль — жизнь мою, — до верха нагруженный не контрабандой, нет, а только самоцветным грузом моих песен, любви, преданности и нежности, я выброшен наконец на берег! С ужасом, со слезами и терпкой болью во всём моём существе я оглядываюсь вокруг себя. Я в посёлке Колпашев в Нарыме. Это бугор глины, усеянный почерневшими от непогод и бедствий избами. Косое подслеповатое солнце, дырявые вечные тучи, вечный ветер и внезапно налетающие с тысячевёрстных окружающих болот дожди. Мутная торфяная река Обь с низкими ржавыми берегами, тысячелетия затопленными. Население — 80 % ссыльных — китайцев, сартов, этнических кавказцев, украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди из разных концов нашей страны — все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев давным-давно стал обглоданной костью. Вот он — знаменитый Нарым! — думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных тёмных лет без любимой и освежающей душу природы, без привета и дорогих людей, дыша парами преступлений и ненависти! И если бы не глубины святых созвездий и потоки слёз, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в чёрных бездонных ямах ближнего болота. Сегодня под уродливой дуплистой сосной я нашёл первые нарымские цветы — какие-то сизоватые и густо-жёлтые, — бросился к ним с рыданием, прижал их к своим глазам, к сердцу, как единственных близких и не жестоких. Они благоухают, как песни Надежды Андреевны, напоминают аромат её одежды и комнаты. Скажите ей об этом. Вот капля радости и улыбки сквозь слёзы за все десять дней моей жизни в Колпашеве. Но безмерны сиротство и бесприютность, голод и свирепая нищета, которую я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающие видения страдания и смерти человеческой здесь никого не трогают. Всё это — дело быто-

вое и слишком обычное. Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром остяки говорят, что болотный чёрт родил Нарым грыжей. Но больше всего пугают люди, какие-то полупсы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от не дающего минуты отдохновения большого сердца, суставного ревматизма и ночных видений.

Страшные тёмные посещения сменяются областью загробного мира. Я прошёл уже восемь демонических застав, остаётся ещё четыре, на которых я неизбежно буду обличён и воплощусь сам во тьму. И это ожидание леденит и лишает теплоты моё земное бытие. Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон берёзовой почки, когда она просыпается от зимнего сна. Где же теперь моя чуткость, мудрость и прозорливость? Я прошу Ваше сердце, оно обладает чудотворной способностью воздыхания. О, если бы можно было обнять Ваши ноги и облить их слезами! Сейчас за окном серый ливень, я навьючил на себя все лохмотья, какие только уцелели от тюремных воров. Что будет осенью и бесконечной 50-градусной зимой? Временно или навсегда, не знаю, я помещён в только что отстроенный дом, похожий на дачный и в котором жить можно только летом. Углы и конуры здесь на вес золота. Ссыльные своими руками роют ямы, землянки и живут в них, иногда по 15 человек в землянке. Попасть в такую человеческую кучу в стужу считается блаженством. Кто кончил срок и уезжает, тот продаёт землянку с печкой, с окном, с жалкой утварью за 200-300 рублей. И для меня было бы спасением одному зарыться в такую кротовую нору, плакать и не на пинках закрыть глаза навеки. Если бы можно было продать мой ковёр, картины или складни, то на зиму я бы грелся живым печужным огоньком. Но как это осуществить? Мне ничего не известно о своей квартире. Нельзя ли узнать и писать мне, что с нею случилось? Хотя бы спасти мои любимые большие складни, древние иконы и рукописные книги! Стол расписной, скамью резную и ковёр одной большой, другой шёлковый, старинной черемисской работы, а также мои милые самовары! Остальное бы можно оставить на произвол судьбы. В комодке есть узел, где хранится плат моей матери, накосник и сорочка. Как это уберечь?! Все эти вещи заняли бы только полку в Вашем шкафу. Но что говорить об этом, когда сама жизнь положена на лезвие! Продуктов здесь нет никаких. Продавать съестное нет обычая. Или всё до смешного дорого. Бутылка жидкого водяного молока стоит 3 руб. Пуд грубой, пополам с охвостьем, муки 100

руб. Карась величиной с ладонь 3 руб. Про масло и про мясо здесь давно забыли. Хлеб не сеют, овощей тоже. Но что нелепей всего, так это то, что воз дров стоит 10 руб., в то время как кругом дремучая тайга. Три месяца дождей и ветров считаются летом, до сентября, потом осень до Покрова, и внезапный мороз возвещает зиму. У меня нет никакой верхней одежды, я без шапки, без перчаток и пальто. На мне синяя бумазейная рубаха без пояса, тонкие бумажные брюки, уже ветхие. Остальное всё украли шалманы в камере, где помещалось до ста человек народу, днём и ночью прибывающего и уходящего. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо, узнавший меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и жёлтые штиблеты, которые больно жмут ноги, но и за это я горячо благодарен. Так развёртывается жизнь, так страдную тропую проходит душа. Не ищу славы человеческой, ищу лишь одного прощения. Простите меня, дальние и близкие! Все, кому я согрубил или был неверен, чему подвержен всякий, от семени Адамова рождённый! Благословляю всякого за милостыню мне, недостойному, ибо отныне я нищий, и лишь милостыня — моё пропитание! Одна замечательная русская женщина мне говорила, что дорого мне обойдётся моя пенсия, так и случилось, хотя я и не ждал такой скорой развязки. Но слава Богу за всё! Насколько мне известно, расправа с моей музой произвела угнетающее действие на лучших людей нашей республики. Никто не верит в мои преступления, и это служит для меня утешением. Если будет милостыня от Вас, то пришлите мне чаю, сахару, если можно, то свиного шпику немного, крупы манной и компоту — потому что здесь цинга от недостатка растительной пищи. Простите за указания, но иначе нельзя. Если можно, то белых сухарей, так как я пока ещё очень слаб от тюремного чёрного пайка и воды, которыми я четыре месяца питался. Теперь у меня отрыжка и резь в животе, ломота в коленях и сильное головокружение, иногда со рвотой.

Получил от Н<адежды> А<ндреевны> 50 руб. по телег<рафу> уже в Колпашев. Сердце моё озаряется счастьем от сознания, что русская блистательная артистка милосердием своим и благородством отображает «Русских женщин» декабристов, «во глубину сибирских руд» несущих свет и милостыню. Да святится имя её! Когда-нибудь в моей биографии чаша воды, поданная дружеской рукой, чтоб утолить алкание и печаль сосновой музыки, будет дороже злата и топазия. Так говорят даже чужие холодные люди. Простите за многие ненужные Вам мои слова. Я знаю, что для Вас я только лишь страдающее живое существо и что Вам и Вашему милосердию я совершенно не нужен как культурная и тем более обще-

ственная ценность, но тем потрясающее и прекраснее Ваша простая человечность!

Простите, не осудите, и да будет ведомо Вашему сердцу, что если я жив сейчас, то главным образом надеждой на Вашу помощь, на Ваш подвиг доброты и милостыни. На золотых весах вечной справедливости Ваша глубокая человечность перевесит грехи многих. Кланяюсь Вам земно. Плачу в ладони рук Ваших и с истинной преданностью, любовью и обожанием, которые всегда жили в моём духе, и только дьявольский соблазн и самая трепетная глубокая забота не причинить Вам горя на время отдалили внешне меня от Вас — в Москве. Жадно и горячо буду ждать от Вас письма. Кланяюсь всем, кто жалеет меня в моём поистине чудовищном несчастье.

Если бы удалось зажить своей землянкой, то было бы больше покоя для души моей, а главное, чужие глаза не видели б моего страдания. Что слышно в Москве про меня? Возможны ли какие-либо надежды? Нужно торопиться с хлопотами, пока не поздно. Я подавал из Томска Калинину заявление о помиловании, но какого-либо отклика не дождался. Не знаю, было ли оно и переслано. Ещё раз прощайте! Ещё раз примите слёзы мои и благословения. Земно кланяюсь Анат<олию> Ник<олаевичу>, милым Вашим комнатам с таким ласковым диваном, на котором я спал! Где будете летом и где будет Н<адежда> А<ндреевна>?

Адрес: Север<о>-Запад<ная> Сибирь, посёлок Колпашев. До востребования, такому-то.

С. А. КЛЫЧКОВУ

12 июня 1934 г. Колпашево

Дорогой мой брат и поэт, ради моей судьбы как художника и чудовищного горя, пучины несчастья, в которую я повержен, выслушай меня без борьбы самолюбия. Я сгорел на своей «Погорельщине», как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озарённую смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича и нашу, такую юную и потому много не знающую. Я сослан в Нарым, в посёлок Колпашев на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и лёгких, обглодали меня до костей. Ты знаешь, как я вообще слаб здоровьем, теперь же я навсегда загублен, вновь опухоли, сильнейшее головокружение, даже со рвотой, чего раньше не было. Посёлок Колпашев — это бур гор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодиц изба-

ми, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки в погоне за жраньём. Подумай об этом, брат мой, когда садишься за тарелку душистого домашнего супа, пьёшь чай с белым хлебом! Вспомни обо мне в этот час — о несчастном, бездомном старике-поэте, лицезрение которого заставляет содрогнуться даже приученных к адским картинам человеческого горя спецпереселенцев. Скажу одно: «Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!». Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячевёрстных болот дожди, немолчный ветер — это зовётся здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что всё моё выкрали в общей камере шалманы. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?! Куда идти? Что делать? Что-либо ра <часть текста утрачена> ему, как никому другому, следовало бы мне помочь. Он это сам хорошо знает. Помогите! Помогите! Услышите хоть раз в жизни живыми ушами кровавый крик о помощи, отложив на полчаса самолюбование и борьбу самолюбий! Это не сделает вас безобразными, а напротив, украсит всеми зорями небесными! <Часть текста утрачена.>

Прошу и о посылке — чаю, сахару, крупы, компоту от цинги, белых сухарей, пока у меня рвота от 4-хмесячных хлеба с водой! Умоляю об этом. Посылка может весить до 15-ти кило по новым почтовым правилам. Летним сообщением идёт три недели. Прости меня за беспокойство, но это голос глубочайшего человеческого горя и отчаяния. Узнай, что с моей квартирой — соседи мои Швейцера тебе расскажут подробно. Ес<ть> ли какие надежды на смягчение моей судьбы, хотя бы переводом в самые глухие места Вятской губ<ернии>, напр<имер>, Уржум или Кукарка, отстоящие от железной дороги в полтысячи верстах, но где можно достать пропитание. Поговори об этом — Кузнецкий мост, 24 — с Пешковой, а также о помощи мне вообще. Постарайся узнать что-либо у Алексея Максимыча. Не может ли мне помочь Оргкомитет хотя бы денежным переводом. Нельзя ли поговорить с Бубновым? Подать ли во ВЦИК Калинину о помиловании? Думаю, что тебе на свежую голову всё это ясней, я вовсе оглох и во всём немощен. Бормочу с тобой, как со своим сердцем. Больше некому. Целую твои ноги и плачу кровавыми слезами. Благословляю Егорушку, земно кланяюсь куме и крепко верю в её милосердие. Не ищущу славы человеческой, а одного — лишь прощения ото всех, кому я согрубил или был неверен. Прощайте, простите! Ближние и дальние. Мёрзлый нарымский торфяник,

куда стащат безгробное тело моё, должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить. Прости! Целую тебя горячо в сердце твоё. Поторопись сделать добро — похлопочи и напиши или телеграфируй мне: Колпашев, до вос-
требования.

12июня 1934 г.

А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО

Первая половина июня 1934 г. Колпашево

Жду — не дождусь весточки-письма. Невероятно тоскую. Усердно прошу З. П. потрудиться и спасти мои любимые вещи, которых не надеюсь больше видеть и ласкать! Крепко надеюсь на милостыню. Написал поэму — называется «Кремль», но нет бумаги переписать. Как с поэмой поступить — посоветуй! Жизнью и смертью обязан твоему милосердию. Потерпи. Вероятно, я зимы не переживу в здешних условиях. Прошу о письме. О новостях, об отношении ко мне. «Кремль» я писал сердечной кровью. Вышло изумительное и потрясающее произведение. Где живёте летом? Райское место — этот городок Арбатов на р. Оке, весь в вишнях и фруктах. Жители только садами и промышленяют. У меня много нужды — всего не перескажешь — получу ответ на это, напишу большое письмо. Но сгораю предчувствием твоего письма. Прощайте. Простите!

С. А. ТОЛСТОЙ-ЕСЕНИНОЙ

17 июня 1934 г. Колпашево

Дорогая Софья Андреевна!

Ради моей судьбы художника и человека помогите мне чем можете. Поговорите с богатыми писателями и с моими почитателями — ведь их у меня ещё недавно было немало. Я погибну в Нарыме без милостыни со стороны, без одежды, без пищи и без копейки. Поговорите с В. Ивановым, Леоновым! Нельзя ли написать Шолохову и Пантелеймону Романову, Смирнову-Сокольскому. Если будет исходить просьба от Вас — они помогут. Если пять человек дадут по жалких 20 руб. в месяц, то я останусь жив. Сходите к Антонине Васильевне Неждановой, Б<ольшой> Кисловский пер<еулок>, дом 4. Поговорите с ней обо мне — и о том, чтобы она поговорила с Горьким — об облегчении моего положения. Скажите А<нтонине> В<асильевне>, что Горькому будет приятно видеть её — не забудьте. Они давно знакомы — ещё по Италии, когда Алексей Макс<имович> был там в изгнании. Объясните Неждановой просьбу: убавить срок ссылки (дано пять лет по 58-10 статье за поэму «Погорельщина» и агитацию ею). Дать минус шесть или даже двенадцать без прикрепления к месту

ссылки. Оставить мне мою писательскую пенсию, просить ГПУ передать мои рукописи в архив Оргкомитета писателей. Если раздобудете денег, то пришлите их телеграфом, — письма и посылки идут месяц и больше. Обрадовали бы, если бы соорудили посылочку — чаю, сахару, сухарей из белого хлеба, компоту от цинги, — простите, но я так тоскую по всему этому! Здоровье моё сильно пошатнулось. Теперь бы Вы меня и не узнали бы — такой я стал. Сообщите — можно ли Вам послать доверенность на всё моё имущество, что на квартире на Гранатном, № 12. Сообщите телеграммой о Вашем согласии. Поговорите с С. Клычковым об этом же — быть может, ему удобней, и квартира у него свободна в доме писателей. Помогите, родимая, простираюсь к Вам сердцем своим, целую Ваши ноги и плачу кровавыми слезами. Милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны. Адрес: посёлок Колпашев Томского округа, Сев<ер>-Запад<ной> Сибири, до востребования, Николаю Ал. Ключеву.

Нельзя ли о переводе меня в лучшие климатические условия поговорить в Оргкомитете писателей — на том основании, что я по тяжёлой болезни сердца и общего ревматизма — погибну в Нарыме!!

А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО

Вторая половина июня 1934 г. Колпашево

Дорогое дитяtko, я послал тебе две телеграммы и большое спешное письмо и доверенность — просил известить о получении телеграммой, но нет и нет от тебя весточки! Ну, здравствуй! Целую тебя крепко и заочно в сердце твоё, такое уже мужественное, прекрасное и простое! Прошу тебя известить телеграфом, где ты будешь проводить летний отдых, лучше бы всего в Сочи в санатории писателей — попринимал бы мацесты, укрепил бы сердце и нервы. Теперь там самое бархатное солнце и виноград. Простираюсь памятью к хрустальным берегам югочерноморья... Где ты, сказка моя? Я живу днём. Когда наступает ночь, с ужасом думаю, что проснусь к новым страданиям. Конечно, достаточно мне услышать звук твоего голоса, чтоб я проснулся и пришёл в себя, а так я разрушаюсь невероятно быстро, а главное, не могу гармонизировать себя, собрать в кучу. Знаю, что многие миллионы двуногих существ всю жизнь пребывают в таком именно состоянии и что оно весьма помогает тому, чтобы слиться с человеческим стадом, но я знаю, что тогда нужно сказать «прости» себе как художнику, а это равносильно для меня самоубийству.

Дорогое дитя моё! Я бы не хотел и для меня очень тяжело описывать тебе свои нужды, ведь нище<та> скучная вещь, и пронзять твоё сердце видениями и жалами горя, будней,

голода и холода — самое вредное дело. Припомни нашу совместную жизнь, когда всё моё напряжение было устремлено на то, чтобы украсить, насколько позволяли обстоятельства, твоё бытие. Хотя бы чашкой кофе, сдобными пышками, стихами и образным мышлением... Теперь же как мне быть? Я в великой нищете. Впереди... Но что об этом рассуждать? Иногда собираюсь с рассудком и становится понятным, что меня нужно поддержать первое время, авось мои тяжёлые крылья, сейчас влачащиеся по земле, я смогу поднять. Моя муза, чувствую, не выпускает из своих тонких перстов своей славянской свирели. Я написал, хотя и сквозь кровавые слёзы, но звучащую и пламенную поэму. Пришлю её тебе. Отдай перепечатать на машинке, без опечаток и искажений, со всей тщательностью и усердием, а именно так, как были напечатаны стихи, к титульному листу которых ты собственноручно приложил мой портрет, писанный на Вятке на берегу с цветами в руках — помнишь? Вот только такой и должна быть перепечатка моей новой поэмы. Шрифт должен быть чистый, не размазанный лилово, не тесно строчка от строчки, с соблюдением всех правил и указаний авторской рукописи и без единой опечатки, а не так, как были напечатаны стихи «О чём шумят седые кедр», что, как говорил мне Браун, и прочитать нельзя, и что стало препятствием к их напечатанию и даже вызвало подозрение в их художественности. Всё зависит от рукописи и как её преподнесёшь. Прошу тебя запомнить это и потрудиться для моей новой поэмы, на которую я возлагаю большие надежды. Это самое искреннейшее и высоко звучащее моё произведение. Оно написано не для гонорара и не с ветра, а оправдано и куплено ценой крови и страдания. Но всё, повторяю, зависит от того, как его преподнести чужим, холодным глазам. Если при чтении люди будут спотыкаться на каждом слове и тем самым рвать ритм и образы, то поэма обречена на провал. Это знают все поэты. Перепечатка не за спасибо и не любительская стоит недорого. Текста немного. Лучше всего пишущая машинка, кажется, системы ундервуд. Прежде чем отдавать печатать, нужно спросить и систему машинки, а то есть ужасные, мелкие и мазаные. Отнюдь не красным шрифтом — лучше всего чёрным. Всё это очень серьёзно.

С радостью я всматривался в снимок с портрета твоей работы — Зоценко. Как ты растёшь, дитя моё! Глупая болтовня Сонечки Калитиной, конечно, ни при чём. Но сколько вкуса в Зоценко! И античный барельеф на стене, и простота позы придают глубину и смывают всякое легкомыслие с этого писателя. Мера портрета, пропорция, весь план говорят о высоком твоём чутье. Прошу тебя, присылай мне всё, что можешь.

Снимки, книги, журналы. В моём сером бытии всё это будет празднично и сладко! У меня голые стены, но на зиму вероятно залечь в земляную яму с каменкой, как в чёрной бане, так как я не смогу платить за жильё 20 руб. в месяц. Ах, если бы были эти аккуратные ежемесячные 20 рублей! Я бы имел совершенно отдельную келью с избяной плотной дверью, с оконцем на сосновый перелесок, с теплом, тишиной и чистотой, отсутствие которых причиняет мне нестерпимые страдания! Подумай об этом, дитятко!

А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО

4 июля 1934 г. Колпашево

Незабвенное моё дитятко! Клянюсь я тебе низко, приветствую, благословляю и целую душевно. Я писал тебе несколько писем, но ответа на них не получал, исключая двух телеграмм — одну в Омск, другую — в Колпашев, по которым сужу, что что-то до тебя дошло. Со слезами благодарю твоё сердце за заботу. Сознание, что кто-то меня пожалел — даёт мне силы тянуть унылые дни, а они воистину так тошны и унылы, что нужно быть остяком, чтобы найти в них смысл и содержание! К тому же я болен, давнишняя болезнь сердца теперь остро даёт себя знать, — я без сил, хожу и шатаюсь, к тому же в дверь мою постучалась мёртвой костью неизбежная в здешнем краю тётушка Малярия. Два дня и две ночи меня трясло то в поту, то во льду. Лекарств, конечно, никаких.

Сейчас 12 ч. дня, за окном тяжёлое, низкое, совершенно зимнее небо; тускло, свинцово-зелёным блеском мреет жалкий картофельный огород, за ним две огромных, покосившихся избы без изгороди, без единого кустика вокруг; собака, похожая головой на щуку, сидит прямо в грязи и как околевшая неподвижно смотрит в бухлое серое небо. Я никогда не мыслил, что есть в мире такие окаянные места.

Из обломка стакана, который заменяет мне чернильницу, я пишу тебе. Не можешь ли ты твоей свежей головкой уловить, что со мной? Кончилась ли моя жизнь или начинается иная, полная привидений и болотных призраков, которые беззвучны и лишь обдают меня сырым холодом? Я сейчас дрожу, нужно бы затопить печку, но дров нет, потому что они десять руб. воз. Послали меня в общежитие исполкома — это только что срубленный длинный дом, с модными огромными окнами, стёкла которых с одного окна с треском вылетают из рам, уступая первому налетевшему ветру. Помещение — летнее. В щели пола виден свет и трава, и т. д. Как я буду коротать в нём 60-градусную зиму? Есть каморка в полземлянке, оконце выходит на Обь, за ним растёт куст лебеды; каморка шагов

пять длины и три ширины, с печуркой — плата 15 руб. в месяц без дров. Что делать? Напиши об этом.

Ссылные своими руками нарыли здесь целые улицы землянок и живут в них. С непривычки в землянке — как в могиле — очень обидно. Стены такой ямы выложены досками, мелким лесом, крыша покрыта дёрном и завалена всяким хламом; горшок, обломок железа заменяет трубу. На зиму я совершенно голый — есть надежда достать сермяги — но нужно 1 1/2 кило ваты, чёрных ниток и метров шесть чёрной подложки, хотя бы самой дешёвой, и марли, чтобы настегать вату. Подумай об этом, согрева моя тёплая, нельзя ли хотя через добрых людей достать всё это, зашить в тряпку и послать ценной посылкой?.. То-то бы была радость мне голому!

Когда я ехал или, скорей, когда нас везли из Томска в Колпашев, кто-то, видимо, узнавший меня, послал мне через конвоира ватную коротенькую курточку — вот и вся моя одежда — что делать? Как быть? Всё, что было на мне, — всё пропало. Как — не буду описывать, нельзя ли устроить мне хотя бы коллективную посылку — ведь можно 15 кило круп, сахару, чаю, белых сухарей. Здесь нет ничего, одна жалкая столовка, где я проедаю 1 р. 10 к. за хлеб и 49 коп. 700 гр. чёрного хлеба — это один раз в день. Кружку кипятку разными извинениями выпрашиваю у соседей по бараку. Просыпаюсь с кислым ощущением голода под ложечкой. Столовка открывается в три часа дня. Сплю я на чужой койке, которую грозят взять от меня хозяева — нужно приобретать какую-либо кроватку, какой-либо стол, лавку. Одним словом, бед моих не перечислить. Написал в Москву в Красный Крест помощи заключённым и ссылным — жене Горького Екатерине Пешковой — просил о содействии дать мне минус шесть или даже двенадцать без прикрепления к одному месту. Просил затребовать из Бюро медицинской экспертизы удостоверение о моей инвалидности второй группы. Удостоверение осталось у меня в Москве в немецкой большой Библии. Если бы оно было со мной — я бы был уже давно в Вятской губ. Так как инвалидность второй группы даёт прямое освобождение или минуса — шесть. Припомни, дитятко, когда мы ходили с тобой в Бюро медэкспертизы, поговори с Белгородским или с Нарбутом — нет ли у них возможности получить вновь на меня удостоверение? В крайнем случае сходи сам — ведь, наверно, ведутся какие-либо записи выданных документов? Если получишь удостоверение, то оригинала не посылай (неприменно ценным письмом), а засвидетельствованную нотариально копию. Ах, если бы у меня был на руках этот документ! Всё бы пошло по-другому. Если Зинаида Павловна доберётся до моих вещей, то в первую очередь пусть переберёт тщательно

листы немецкой Библии — она самая большая из моих старинных книг, удостоверение заложено приблизительно около первой половины листов Библии. Если она найдёт, то высылать мне засвидетельствованную нотариальную копию, а оригинал беречь накрепко. Местная комиссия по больным чисто арестантская — всех подозревает в симуляции, и только такой документ, как мой, заставит здешних врачей отнестись ко мне внимательней. Есть такой закон — по которому инвалид второй группы освобождается совсем или переводится на минус — шесть или двенадцать. При одной мысли об этом я становлюсь счастливым. Где ты проводишь лето? Доволен ли? Как твоё искусство? Как жизнеощущение? Софья Андреевна говорила мне зимой, что можно купить у тебя мой портрет. Как твой взгляд? В таких бедствиях, как моё, отцы продают своих дочерей и кровных в рабство. Подумай об этом. Я всю жизнь не понимал себя и того, что руки мои не приучены гнутья лишь к себе. Я не пил, не ел один, всегда кого-либо угощал — попросту кормил, потому, вероятно, сейчас жду и от людей чего-то и как-то странно, что для людей это очень тяжело и сложно, когда для меня всё связанное с помощью другому было простым и даже приятным.

Прости меня, ангел мой, что я возлагаю на тебя всякие заботы. Но когда пробил час железной проверки моей жизни, то во всём мире один ты для меня и существуешь. Вот почему я не молчу перед тобой о своих бедствиях и ранах, твоя молодая душа оказывается крепче моей — я нуждаюсь в тебе, как и в утешителе. Твоя телеграмма «Будь совершенно спокоен», думаю, не безосновательна, но как быть спокойным в моём положении? Ни одного волоса на моей голове и бороде не осталось <не>выбеленным несчастьем. Ты теперь бы и не узнал своего поэта, а мои красивые, знаменитые и раздушенные знакомые пришли бы попросту в испуг и не удовлетворились бы одной дезинфекцией после моего визита, а самую бы обивку стула или дивана спорили бы и отдали в стирку или заменили бы её новой. <Часть текста утрачена.>

Вот уже четвёртый лист пишу тебе и не могу оторваться от бумаги. Но всего не перескажешь. В ужас прихожу от грозящей зимы. Из Москвы мне выслали две рубахи и пару кальсон, два полотенца, простыню, две наволочки, пять носовых платков, двое носков, наволоку тиковую — набить постель, сухарей ржаных, немного чаю, конфет маленько, мыла и сала свиного. Кланяюсь земно этим людям — за их милосердие. Но, вероятно, всё это только на свежие раны — со временем охладуют, и это приводит меня в леденящий ужас. Как я буду без милостыни?! Лучше умереть или погрузиться в тайгу, чтобы задрал медведь, чем остаться без любви и сожаленья!

Мне так необходима керосиновая кухня, их у меня в Москве две, одна с чугунной накладкой, другая с высокой трубой — обыкновенная. Вот если бы эту обыкновенную, вылив керосин, уложить в крепкий ящичек и послать мне почтой, какое бы было для меня удобство! Вместе можно положить котелки, две вилки и два ножа — чер<енки> из слоновой кости. Если тебе нравятся, то возьми себе и кушай, а мне пошли похуже. Ковёр расстели себе под ноги, они стоят ковра, только ковёр боится чернил и лаков. Картины возврати куме и Сергею Алексеевичу. Но всё это не к спеху. Главное — получить по доверенности и кое-что продать мне на пропитание. Конечно, всё, что тебе нравится, — всё твоё и нераздельно. В одном из писем я просил тебя сходить к Софье Викторовне — попросить её о помощи мне — что ей удобней, ведь профессор был к нам так добр! Поговори с ним — он выдаст удостоверение, что я болен истерией в тяжёлой форме. Я у него лечился много лет.

Нужно бы поговорить с Коленькой — не может ли он прислать мне занавес в окно, на зиму, потеплее — размер 4 ар<шина> на три, если больше, то лучше. Окно было бы закрыто и меньше дуло — ведь всё равно девять месяцев придётся сидеть круглые сутки с огнём, так что оконный свет ни при чём. Прошу и молю о письме: где ты провёл лето, как? И что написал? Если можно, пришли фотографии со своих работ! Кланяйся Васильевскому острову, всем, кто меня знает или спросит. Если Зин<аида> Павл<овна> увидит мою пенсионную книжку, то пусть приберёт её и спросит о моей пенсии — в кассе, что не доходя Зоологического сада, если идти с Кудринской площади вниз, на левой руке. Я думаю, что я могу получить за февраль по май. Это очень важно. Ещё раз простирую к ногам твоим сердце моё, обливаюсь слезами и прошу не оставить милостыней! Мужай, крепни, моё прекрасное дитяtko. Унесу в могилу твой образ, твой аромат. Одно жаль, что не угодно Провидению, чтобы ты закрыл мне глаза в час смертный. Часто я утешал себя этим. Умру в лучшем случае в тесном бревенчатом больничном бараке, в худшем — под нарымской пургой, и собаки обглодают мои кости. И это не гипербола, а простое и никого здесь не волнующее явление. Прощай. Прости. Торопись с весточкой. Почта здесь ходит месяцами, а с осени до саней будет всё прекращено. Кланяюсь твоей маме, папе, Борису — кто у него родился? И кто кум? Где Витон? За ним долг сто руб. Теперь мне в час его возвратить. Прощай, дитяtko! Долгим рыданием-воём покрываю это письмо. Прощай. Прости!

Н. К.

Доверенность посылаю вторично!

С. А. КЛЫЧКОВУ

12 или 13 июля 1934 г. Колпашево

Дорогой брат и поэт, получил твою телеграмму из Новосибирска — благодарю за неё и за твои хлопоты. Денег и посылок ещё не получал (сегодня 13-е июля). Жду от тебя письма. Прилагаю при сём два моих заявления, которые и прошу лично передать по назначению. И немедленно быстрым письмом сообщить мне дословно — всё, что ты услышишь и увидишь. В таких бедствиях, как моё, люди продают своих детей в рабство, чтобы спасти хотя бы малое что. Земно тебе кланяюсь и целую ноги твои, плача кровавыми слезами, — потрудись без шума и без посторонних глаз и ушей — вручить мои заявления по назначению. Если же ты поделиться ими с кем-либо заранее, то знай, что провал обеспечен, ибо сейчас же всё попадёт в кружало 25 — Тверской бульвар и оттуда по всей Москве. Особенно постараются разные поэтические звёзды. Говорю это со всей тревогой и серьёзностью. Также нужно не завалить заявления, а приступить к делу немедленно, чтобы мне ответ получить до наступления зимы, когда Нарым отрезан на девять месяцев ото всего мира. С ужасом жду зимы. Я — нищий, без одежды и без хлеба. Умоляю Владимира Кириллова подарить мне оленье пимы и шапку, которые он привёз с Большой тундры. Они у него всё равно погибнут от моли и полной ненужности. Поговори с ним, не волоча времени. Это было бы моим спасением от 60-гр<адусной> нарымской зимы.

Пимы и шапка укупорки не потребуют — завернуть покрепче в газеты, зашить в тряпку и послать мягкой Ценной посылкой. Только непременно Ценной, иначе может потеряться. Посылка идёт с Москвы месяц, письмо 15—17 дней. За всякий кусок, за каждый рубль стираю к твоим ногам сердце своё. Лучше всего, если бы ты сам взял у Кириллова помянутые вещи и потрудился лично выслать. Мне большого труда стоило разыскать сносной бумаги и написать эти заявления. Бумаги здесь нет. Прошу тебя и о ней. Также нельзя ли достать хинина из Кремлёвской аптеки от малярии. Это страшное явление не минет меня — оно здесь повально. Умоляю об этом! Прощай, прости! За грубость, но не за холод сердца, ибо такого греха перед тобой я не знаю. Прощай, милый и любимый! Кланяюсь Варваре Николаевне, благословляю Егорушку. Завещаю тебе в случае моей смерти поставить на моей могиле голубец — в хмурой нарымской земле. Я, как голодающий индус, каких видел на страницах «Нивы», — и не узнать теперь. Очень ослаб. Весь поседел, кожа стало бурой и растрескалась, как сухая земля. Пришли мне «Мадур» в изд<ании> Академии. Если вышло что у Васильева —

тоже. Сходи на Гранатный — вниз к моим соседям — узнай, что с моей квартирой, и сообщи мне. Я ничего не знаю и не слышу. О получении этого письма телеграфируй. С трепетом буду ждать ответа. Отнесись, умоляю тебя, посерьёзней — к этому своему благороднейшему труду! Горячо целую. Безмерно скучаю. Долгим рыданием покрываю это письмо. Не забывай милостыней; скажи и другим про это.

Прощай, мой прекрасный брат.

12 июля 1934 г. Н. Клюев.

При личном свидании с Михаилом Ивановичем лучше всего было бы, если бы ты с первых же слов сам вслух прочитал ему моё заявление, а потом уже подал ему. Это очень важно. Нельзя ли поговорить с Молоковым, или со Шмидтом, или с матерью Дмитрова, наконец, с Верой Фигнер. Все эти люди меня знают. И аудиенции не пришлось бы ждать.

А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО

24 июля 1934 г. Колпашево

Ты просишь написать о моей жизни. Я, кажется, в каждом письме описываю её. Относятся ко мне люди несчастные очень хорошо, зовут все дедушкой и по-звериному жалеют. Начальство же весьма хорошее. Начальник опер-сектора, его заместитель совершенно культурные люди и как-то досадно, что все они забиты в глушь Нарыма, хотя могли бы быть чрезвычайно полезными даже в Москве. Начальник Шестаков так прямо сошёл с тех обаятельных и волнующих старинных гравюр, которые нам оставила французская революция. Вот бы с кого написать тебе портрет! Он похож на беркута, когда тот сидит на синей скале и зорко глядит в туман ущелий. Помощник его — красавец, с бледным, кипящим силой и страшным психическим напряжением лицом, мне чрезвычайно нравится. Есть оригинальные монголы. Помесь тунгусов с великороссами очень привлекательна, агатами глаза с косинкой, стальными волосами. Женщин здесь я не видел прекрасных — всё какая-то мелочь белобрысая.

Колпашево — стоит на р. Оби. Река на тысячи вёрст, шириной разлив до шести вёрст, теперь версты полторы или меньше, песчаные косы, низкие берега, покрытые ивняком. Один берег повыше, на нём сосновая и кедровая тайга. По воскресеньям базар — молоко, масло, яйца, рыба, мясо, ягоды, творог, картошка, мука, квас, лук зелёный — это всё есть. Имей я рублей двести в месяц — я бы был сыт по горло. Но за всё лето, т. е. за два месяца, я позволил себе купить только два литра молока. Масла и рыбы ещё не пробовал и позабыл их вкус. 50 руб. в месяц хватает только на хлеб и на тарелку хлёбова в столовке и то один раз в день. Всё это очень печаль-

но. Если бы издать поэму! Напечатать её в журнале рублей по 8-ми за строку. Какое бы было счастье! Я бы купил отдельную избушку с печкой кирпичной, с полом — содержал бы её в чистоте — ты ведь знаешь, как я люблю обиход и чистоту! Всё мечтаю об этом. Неужели не удастся? Как ты думаешь? Поговори с Сорокиным — нельзя ли выцарапать где деньжонок. Поговори с Фединым — нельзя ли так устроить, чтобы у меня были аккуратные 20 руб. за келью? Нужно написать или поговорить с Горьким о моей судьбе.

От Клычкова получил телеграмму из Новосибирска — мол, еду на север, но ко мне не заехал, хоть проехать по Оби одно удовольствие, только хлеба нужно захватить на дорогу. На пароходе его не продают почему-то. Таков сибирский обычай. Но мой милый кум не заехал.

Всё, что пришлётся мне, — за всё земной поклон. Потормоши моих знакомых, чтобы угостили посылочкой, да объясни, что она идёт сюда месяца полтора, а с закрытием навигации в октябре месяце сообщение прерывается до зимней дороги. До Томска триста вёрст лошадьми, тогда почта идёт быстрее, чем пароходом. Все мои знакомые если бы послали посылку с крупой, сахаром, макаронами, то я был бы сыт. Потрудись, похлопочи, тем продлишь мою горькую жизнь. Послал заявление во ВЦИК и Калинин о помиловании, в Москву ценным письмом в 50 руб. на имя Клычкова, но страшно беспокоюсь, что отнесётся ко всему этому только для позы, разгильдяино, ведь, в сущности, они с Васильевым до чёртиков рады моей гибели. Между тем таинственно нарождается во мне новое сердце, а с ним и сознание; только слушая внутреннее сознание, я послал в Москву свои потрясающие заявления. Если бы было при мне моё инвалидное свидетельство, то я бы смело пошёл на комиссию, и меня если бы не освободили совсем, то, наверное, перевели бы в место, где можно жить, не подвергаясь прямой гибели. Прошу тебя сходить в Бюро врачебной экспертизы, куда ты водил меня, когда точно — припомни. Подай заявление о моей инвалидности второй группы. Многих ссыльных освобождают на основании такого документа. Ведь я совсем болен. И только чудом жив. Дитя моё, услышь меня, не медли в помощи. Поговори с Валентином Михайловичем, он близок к мед-миру, он тебе поможет получить свидетельство.

Если получишь, засвидетельствуй нотариально копию, это легко, и пошли ценным письмом или с обратной распиской. Дитятко, помоги! Вся надежда на твои труды. Как ты будешь без полушубка зимой? Не может ли кто послать мне 1 1/2 кило ваты, чёрной подложки 5 метр, и кисейки для стёжки ваты, чёрных ниток две катушки № 30. Это было бы очень нужно.

Не может ли кума смастерить мне ватные штаны, они здесь зимой неизбежны, портянки тёплые, рукавички — хотя бы на вате, потолще и повыше к локтю. Шарф, шапку с ушами.

Всё нужно мне, голому. Если по доверенности получите вещи, телеграфируйте, я вышлю адреса, кому их можно продать. Если можно, вышли деньги телеграфом. В июле я обедаю только через день, т. е. в двое суток раз. Скажи об этом моим сытым друзьям.

Моё инвалидное свидетельство осталось в Москве, заложено в немецкую большую Библию. Если Зин<аида> Павловна станет хозяйкой моей квартиры, то первым долгом пусть отыщет этот счастливый документ и пошлёт мне ценным письмом с обратной распиской засвидетельствованную копию. Что нового в Ленинграде? Что написали поэты, пусть мне пришлют. Так от меня всё невероятно далеко! Хотя езда от Питера через Омск четверо суток до Томска, потом пароход по Оби сутки с часами до меня. Живу я в общежитии исполкома, есть здесь и гостиница рядом с тем домом, где я. В гостинице № 3 руб. в сутки с кипятком. Если кто поедет, пусть знает. Погода здесь переменная, но всё-таки лучше, чем весной. Днём температура 18-20 градусов. Я два раза купался. Есть хорошая баня, 50 коп. с человека — сосновая и просторная, очень приятная. Знакомых я ещё не завёл. С ссыльными не схожусь — всё это мне чужие до духу люди, какие-то глупые троцкисты. А с остальными я только нукаю да дакаю в разговорах — стараюсь скорее отделаться.

Но <если> все мои вещи-то нельзя зашить в половик — маленькую перину и послать посылкой: бельё, белый материал для кальсон, если это будет стоить дороже самих вещей, то и не надо, лучше деньги, за них здесь можно купить и подушки, и перину, иногда дёшево. Здесь попадаются прекрасные кошмы татарской работы — узорные — тебе бы на пол или на стену, было бы прекрасно! Не забывай, дитя, деда. Кланяюсь тебе низко и люблю кровно. Умоляю о письмах, о помощи, чтобы мне собраться с силами, а там видно будет.

Кланяюсь прекрасной Неве, всем, кто знает меня. Где дядя Пеша? Пусть приезжает сюда. В Нарым много приехало добровольцев. А ведь ему всё равно где жить. Жалею расстаться с письмом, как с тобой говоришь, но делать нечего, в глазах зарябило, до того дописал. Любимый мой, дитя моё, не замедляй письмами!

Прощай. Прости! Горячо целую. Желаю счастья. Прямых путей. Да будет твоё искусство чисто и не осуждено перед Вечными Очами. Душа моя с тобою. Жду письма и помощи на пропитание.

24 июля 1934 г.

Н. С. ГОЛОВАНОВУ

25 июля 1934 г. Северо-Запад<ная> Сибирь, посёлок Колпашево

Дорогой Николай Семёнович, прошлую зиму я был поставлен в очень тяжёлые и невыносимые жизненные условия и в силу их отдалился от многих драгоценных моему сердцу людей, старался лишний раз не быть и у Вас, подвергаясь, быть может, дурному о себе самом пониманию, но ради моей судьбы как художника и человека прошу, помогите мне участию, ибо вся моя надежда на помощь тех, кто не может пройти мимо трагедии поэта. Я сослан за поэму «Погорельщина», ничего другого за мной нет. Статья 58-ая, пункт 10-й, предусматривающий агитацию.

Я неминуемо погибну без помощи со стороны.

Услышьте, помогите!

Все свои прекрасные и заветные вещи в Москве я хотел бы предоставить Вам, на Ваши оценку и усмотрение.

Сообщите телеграммой, возможно ли через Вас передать лично Калинин или Ворошилову моё заявление о помиловании? Это самый верный путь к моему спасению.

Прошу великую Нежданову о помощи. (Так я и не окончил «Повесть об Алконосте нежданном», где есть потрясающие по красоте русские рапсодии об Ант<онине> Васильевне).

Если останусь жив — допишу — это небывалое и многоцветное, как павлин, произведение.

Умоляю о посылке Вашу маменьку и сестрицу — чаю, сахару, макарон, крупы для каши, сала, сухарей белых, компоту яблочного от цинги и т. п. Деньги только телеграфом.

Сообщение почтой тянется месяцами, с октября до зимнего пути совершенно прекращается.

История и русская поэзия будут Вам благодарны. Целую ноги Ваши и плачу кровавыми слезами.

Николай Клюев.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

28 июля 1934 г. Колпашево

Дорогая Надежда Фёдоровна!

Получил Ваши посылки, как бы из другого мира гостинцы. Такой сказкой пахнуло мне в душу от милых вещей, ведь они пришли из Москвы, с Голутвинского переуллка, где меня любили и где я видел столько ласки и внимания, и только мучительные и безобразные условия, в которые я был поставлен за последний год, разлучили меня с ним. Но всё к лучшему. Ваши сердечные прямые слова — как корпия на мои раны. Умоляю Вас о письме. Каждое Ваше слово я пью, как липовый мёд. Так мне никто не скажет. Я очень обрадован, что для Вас

понятна моя чисто внешняя неискренность, я очень страдал за это не присущее мне по природе свойство, но я пробовал раз в жизни обыграть чёрта в карты — теперь познал, что для этого я не гожусь. Сколько труда было Вам с посылками! Как трогательны клубки с шерстью! Облил я их слезами. Два платочка с голубыми каёмочками — благодарю за них, через всё я общаюсь с дорогими мне людьми, и вот уже три дня как будто гощу у Вас, вижу Ваши милые комнаты, где столько пережито мною чистых чувств, слов и видений. Я готов оставить Нарыму руку или ногу, как медведь капкану, только бы ухватиться за порог Вашего жилища и рыдать благодарно, как может благодарить человек, снятый с колеса! Вечные очи любви и звёзды небесные — порука за мою искренность и благодарность. Над<ежде> Андр<еевне> я написал письмо и в Москву, и на Кавказ. Горькому, думаю, напрасно писать. У него есть секретарь Крючков, который моё письмо непременно затормозит. Нужно письмо вручить лично и поговорить. Горький всю жизнь относился ко мне хорошо, я крепко надеюсь, что и теперь он не изменился ко мне. Ведь поэт Павел Васильев, которого он поучает и отвечает письмами на его, Васильева, письма, только мой младший ученик в искусстве. Квартира моя ещё в июне была запечатана. Послал доверенность, заверенную официально, не знаю, что будет. У меня ведь все вещи-то на любителя и для ширпотреба не годятся. Если продать, напри<ер>, ковёр или древние складни, то я хотя бы сколько-нибудь смягчил Ваше беспокойство обо мне и моём куске хлеба. Ах, если бы удалось это! Недавно получил сообщение, что мне разрешено печататься везде, где пожелаю, дело лишь за созвучными с нашей эпохой произведениями. Но не оставляйте меня! Время своё покажет. Вот идёт полярная зима, уже тянет из тундры изморозью по вечерам, а я ведь только что перенёс воспаление лёгких, очень ослаб, горю и глухо кашляю, если к этому прибавить старинную болезнь сердца, общий ревматизм и болезнь сосудистой ткани, то хлопотать обо мне долго не придётся. Напишите, как живёте? Что нового в искусстве Миши? Окончил ли он своего Сирина? Жалеет ли меня? В Колпашеве театра нет. Хотя часто сердце щемит от необходимости побывать в нём, но приходится убаюкивать себя прошлыми видениями. Интересных людей я не вижу. Иногда на улице кланяются незнакомые, но я ни с кем из ссыльных не схожусь. Слишком уж кровоточит душа, чтобы с кем-либо чужим сходитьсь. Местное начальство относится ко мне хорошо. Внешне никто меня пока не обижает и не шпыняет. Начальник здешнего ГПУ прямо замечательный человек и подлинный коммунарь. Всякий день варю суп из присланной ветчины, приправляя манной крупой,

картофелем и луком. Очень вкусно. От Толи получил письмо, обещает посылку, но что он может, когда сам ещё учится, и всё, что я имел в Москве, отсылал ему в Питер. Он переведён в третий индивидуальный класс. Читал о нём статью в журнале — называется «Большие горизонты». Мне очень приятно, что мой посев принёс в лице этого юноши пока ещё цветы, а в будущем, быть может, и плоды. Его последняя живописная работа: «Портрет Зоценко» — очень хорош — помещён в журнале и прислан мне. У Толи уже жена — очень видная и красивая женщина, что будет дальше, покажет время. Сейчас за окном ливень и по обыкновению серое нарымско-е небо. На столе у меня букет лесных цветов в глиняном горшке. Цветы здесь задумчивые, всё больше лиловые, покрытые пухом, как шубой. Это они защищены от холодных утренников. Недавно был на жалком местном кладбище — всё песчаные бугорки, даже без дёрна, без оградок и даже без крестов. Здесь место вечного покоя отмечают по-остяцки — колом. Я долго стоял под кедром и умывался слезами: «Вот такой кол, — думал я, — вобьют и в мою могилу случайные холодные руки». Ведь братья-писатели слишком заняты собой и своей славой, чтобы удосужиться поставить на моей могиле голубец, которым я давно себя утешал и многим говорил о том, чтобы надо мной поставили голубец. Простираюсь к Вам сердцем своим. Земно кланяюсь. Простите меня за всё вольное и невольное, за слово, за дело, за помышление. Желаю Вам жизни, света и крепости душевной. Передайте от меня поклон всем, кто знает меня или спросит обо мне. Ещё очень важная просьба к Вам. Мне необходимо получить медсвидетельство от профессора Плетнёва с приложением печати и его подписью, что я болен кардиосклерозом, артериосклерозом и склерозом мозговых сосудов, что даёт мне право на инвалидность второй группы. Это может облегчить моё положение. На основании такого документа я могу смелей идти на комиссию, и она, я уверен, примет к сведению то, что меня лечил Плетнёв и удостоверял документом. Я могу быть переведён в лучшие условия, где есть специальное по моей болезни лечение. Потрудитесь. Поговорите об этом с Над-еждой-Андреев-ной. Она хорошо знает Плетнёва, и он её выслушает, а сам я хотя и лечился у него, но забыл адрес, чтобы просить о свидетельстве письмом. Повторяю: это очень может мне помочь. Многие по инвалидности второй группы совершенно освобождались. Моё свидетельство, выданное Бюро врачебной экспертизы, осталось в Москве в квартире. Его даже обещались мне добыть, но это не наверно. Простите. Прощайте! Жизнь Вам и свет. Ещё раз прошу о письме и милостыне.

Н. Клюев.

С. А. КЛЫЧКОВУ

18 августа 1934 г.

Дорогой Серёженька — прими мою благодарность и горячий поцелуй, мои слёзы — за твои хлопоты и заботу обо мне. В моём великом несчастье только ты один и остался близ моего креста, пусть земля и небеса благословят тебя. Моё несчастье не человеческое, а какое-то выходящее из всех понятий о бедах и страданиях. Уж очень я нелеп в среде ссыльных и поселенцев на р. Оби. Нежный, с сивой, как олений мох, бородой, с маленькими руками, с погасшим, едва слышным голосом, с глазами, ушедшими в череп... но что об этом? Я думаю, что всё равно меня не спасти, лето я ещё прожил, страшная полярная зима — меня доконает. Нужно иметь хотя бы 50 руб. аккуратно в месяц — за комнатуху и дрова, которые здесь, как это ни нелепо, дороги, потому что привезти их некому — у жителей нет лошадей. Милый мой — подумай, как раздобыть эти ежемесячные 50 руб.? Нельзя ли собрать, попросить кого? В своём отчаянии я ничего не могу сообразить. Но сейчас же — по телеграфу пусть, кто может, помогут мне. Поговори с Леоновым — быть может, он пошлёт мне немедленно 50 руб. Квартира моя запечатана — когда будет возможно и что только можно, нужно продать и деньги выслать телеграфом, но когда это — неизвестно. Крепко надеюсь, что ты, тщательно и любовно потрудясь, устроишь эти заявления — они писаны мною, как пишут с эшафота. Если будешь лично передавать, то проси в крайнем случае о смягчении моей участи. Уменьшения срока, перевода туда, где есть медпомощь и назначения мне хотя бы хлебного пайка. Прошу П. Н. Васильева о милостыне — ради моих песен! Целую его ноги за милосердие — передай ему.

Неужели он пройдёт мимо моей плахи — только с пьяным смехом?!

Кланяюсь Варваре Ник<олаевне>, Георгию. Так бы и стукнул лбом перед кумой — наревелся бы досыта. Прошу телеграфировать о получении этого письма — оно меня до смерти волнует. Хорошо бы результаты получить до зимы, пока ходят пароходы. Если зазимую, не знаю, где буду жить, придётся в землянке-яме — где цинга и... конец. Но и за яму нужно платить. Спасите, кто может! Посылки от тебя не получил. 15 р. и 30 р. получил — благодарю.

Прощайте! Простите всё. Попроси В. Кириллова об оленьей шапке и об оленьих пимах. Родной мой — живи. Поминай меня — ради нашей молодости и песен.

Жду письма. Помощи. Сердце моё ждать долго не может. Не забывай. Милый, родной, певучий, сладостный брат мой!

Напиши, как съезд писателей — я послал ему заявление-письмо. Нельзя ли узнать, как оно принято?

Прощай!

Н. Клюев.

В. Я. ШИШКОВУ

Лето 1934 г. Колпашево

Дорогой Вячеслав Яковлевич — после двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах русской литературы я за чтение своей поэмы «Погорельщина» и за отдельные строки из моих черновиков — слова моих стихотворных героев — сослан в Нарымский край, где без помощи добрых людей должен неизбежно погибнуть от голода и свирепой нищеты. Помогите мне чем можете ради моей судьбы художника и просто живого существа. Умоляю о съестной посылке. Деньги только телеграфом. Адрес: Северо-Западная Сибирь, Нарымский край, посёлок Колпашево, до востребования, Клюеву Николаю Алексеевичу. Низко Вам кланяюсь.

Н. Клюев.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

6 сентября 1934 г. Колпашево

Дорогая Варвара Николаевна, получил Ваше письмо — облил его слезами, благодарю за память, за утеху словами, они так мне нужны. Говорят, что 8 сентября уходит последний пароход, и, быть может, мой стон с этим листком дойдёт до Москвы. Я погибаю от <недое>дания. Впереди страшная полярная зима, цинга и т. п. <Часть текста утрачена> поэтически <несколько слов утрачено> изложить ей мою судьбу <несколько слов утрачено> что её будет рад видеть у себя большой писатель, знакомый ей ещё по Италии, и что только она может им по моему делу быть принята и выслушана, в Большой Кисловский пер., дом 4. Нежданова меня хорошо знает и высоко ценит и, вероятно, жалеет. Заявление о помиловании Калинину, если только Серёжа находит это разумным, можно передать через Нежданову же, если она уклонится — то нужно просить Надежду Андреевну Обухову, но всё лично, а не по телефону, и в том случае, если Серёже вырастет какая-либо рогатка и препятствие. Пока же помогите шибко не замедлять милостыней по телеграфу, не то я могу, не дождавшись помилования, умереть с голоду, или меня под свирепые матюги остячка выгонит из угла на снег за неуплату.

Дорогая В. Н., урвите минутку, напишите мне ещё страничку. Поговорите о деньжонках с Тренёвым, он, я верю, меня пожалеет и попросит других. Пусть не стесняется суммой. Ва-

ших 50 руб. в Томске я, вероятно, получил, но мне не объявляли, от кого получение, таков острожный режим. Доверенность я посылал и Серёже, и Толе, и другим, но ни от кого не получаю ответа. Напрасно Вы не сообщили имени, отчества и фа<миллии> <часть текста утрачена> может <утрачен текст одной строки> стал слаб. Пенсио<нное> удостоверение лежит на столике в моей <квартире>, была бы радость, если получить что-либо. Прошу Вас, не медлите ответом.

Каждый день жизни моей сосчитан. Не припомните ли, сколько раз по моей высылке был у Вас Павел Васильев и Рюрик. Утешали ли они меня или виноватили? Очень прошу обратиться на это внимание.

Кланяюсь Вам земным поклоном. Благословляю крестника. Простите. Прощайте.

Адрес: Сев<еро>-Зап<адная> Сибирь, посёлок Колпашев.
6-го сентября 1934 г.

Поговорите с Пастернаком, он, наверно, примет — писатель.

С. А. КЛЫЧКОВУ

21 сентября 1934 Колпашево

Весьма нуждаюсь в твоём письме, милый. Давно послал заявления, как ответ на твои телеграммы. Кланяюсь земным поклоном за твои труды и заботу обо мне недостойном. Помоги. Не забывай. Кланяюсь Варваре Никол<аевне>, Георгию. Скоро — вероятно, в конце октября — пароходы не будут ходить. Сообщение будет лишь телеграфом. Прощай. Прости! Н. К.

А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО

25 сентября 1934 г. Колпашево

Ты пишешь мне, чтобы я нашёл смысл в своём положении и что это поможет мне не разлагаться психически. Так вот, пускай янтари твоих глаз искупаются в цветистых и раскалённых струях моей поэмы — и ты будешь уверен, что твой дед душой богат и крепок, как никогда, и только тело нужно поддержать куском хлеба — чтобы не опухло оно, не пошло на пролежни и раны и не сошло преждевременно в мёрзлую нарымскую землю. Об этом должны бы позаботиться мои друзья и почитатели. Подумай и ты, моё дитяtko, по мере своих сил и возможностей. От Софии Викторовны я получил медсправку, но посылки, которую она обещает, я до сих пор не получал, передай ей об этом. В этом году пароход обещает ходить весь октябрь, потом будет перерыв почты до зимней дороги от Томска до Нарыма, приблизительно до первых чисел декабря. Рассчитайте для посылок время. Деньги можно

телеграфом круглый год, так же и все телеграммы. Прошу о валенках. Полушубок и проч. получил. Говорю с ним, как с тобой, и плачу. Ты пишешь мне, чтобы я не унывал и был спокоен, но подумай, дитятко, ведь впереди четыре года с лишком проклятого положения нарымского ссыльного! Если бы я попал ногой или рукой в капкан, я бы оставил ему руку или ногу, а сам бы ушёл, но силе, которая держит меня в плену, — не нужно моих рук и ног, и я глубоко несчастен от сознания этого, здоровье моё страшно пошатнулось. Целыми неделями я питаюсь лишь кипятком и хлебом. Ильюшина бабушка послала очень хорошую посылку — пользую её со всей скупостью и земным поклоном кланяюсь за эту потрясающую душу милостыню, передай бабушке про сие. Скажи, что особенно был хорош и памятен чай, уже давно я не пивал такого. От доктора В. М. Б. получил телеграмму, 20 руб. с деревни, медсвидетельства не получил.

По твоему уверению, что ты будешь платить за комнату — я поселился у вдовы остячки в старинной избе над самой рекой Обью — за оконцем водный блеск и сизость, виден жёлтый противоположный берег. По ночам летят с криком перелётные гуси. Огромную печь посреди избы остячка начинает топить на рассвете такими же поленьями, какими топят камские пароходы. Я за бревенчатой, обмазанной глиной с навозом стеной — слушаю странную музыку нарымских пустынь и неустанного ветра с океана. Ни одного дня не бывает здесь без пронзительного ветра, а битва и борьба чугунных туч, никогда и нигде мною не виданная. Изба большая, с подвалом. В углу «Знамение», высеченное из камня, и грубо раскрашено, помнит ещё Ермака. Остячка говорит, как мужик, и ругается матерно на цепную собаку в жалком из жердей придворке. Сейчас 12 ч. дня. Часы отбивает колокол посреди посёлка. Летит густой снег. Прощай, Толечка, тёплое сердце моё, любимый художник и роковое дитя моё! Прощай, не медли письмом. Торопись делать добро, чтоб не опоздать тебе, как опоздал ты в феврале! Кто спросит обо мне — передай всем любовь мою. Милые, желанные люди — как бы я припал к ногам вашим, наревелся бы досыта от горечи сердца и радости, что могу ещё обнять вас, что жив ещё. Ведь, вероятно, скоро кончится путь мой земной. По-видимому, ждать мне иной свободы нечего. Не ищу славы человеческой, нуждаюсь лишь в одном прощении и забвении моих грехов вольных и невольных. Простите все!

Адрес прежний.

25 сентября 1934 г.

От Льва Ивановича получил прямо какое-то окровавленное письмо — он сослан в концлагерь в Мариинск в Сибири

на три года. Ты, кажется, должен его немножко припомнить, он в последнее время жил у меня. Несчастный парень. Сколько ему стоило кожи и голодовок кончить университет, и вот апофеоз!

Ещё раз прошу о письме. Не забывай. Быть может, недолго тебе придётся беспокоиться обо мне. Кланяюсь Зинаиде Павловне. Пусть она простит меня, а я желаю ей счастья и искреннего благополучия. Пусть её красота и молодость украшают твои труды и дни! Ещё раз прощай!

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

5 октября 1934 г. Колпашево

Дорогая Надежда Фёдоровна, кланяюсь Вам земным поклоном, приветствую от всей крови сердечной, преисполняясь глубокой преданностью и благодарностью за Ваше милосердие ко мне недостойному. Под хмурым нарымским небом, под неустанным воющим болотным ветром, в сизое утро и в осенние косматые ночи — простираюсь к Вам душой своей и, умываясь слезами, вызываю перед внутренним своим зрением все дни и часы, прожитые мною в общении с Вами. Какой великий смысл в них, во днях чистоты и в часах святых слов и благоуханных мечтаний! Но всё как сон волшебный. Я в жестокой нарымской ссылке. Это ужасное событие исполняется на мне в полной мере. За оконцем остяцкой избы, где преклонила голову моя узорная славянская муза, давно крутится снег, за ним чернеет и гудит река Обь, по которой изредка проползает пароход — единственный вестник о том, что где-то есть иной мир, люди, а быть может, и привет с родным гнездом. Едкая слёзная соль разъедает глаза, когда я провожал глазами пароход: «Прощай! Скажи своим свистом и паром живым людям, что поэт великой страны, её красоты и судьбы, остаётся на долгую волчью зиму в заточении — и, быть может, не увидит новой весны!». Моё здоровье весьма плохое. Средств для жизни, конечно, никаких, свирепо голодаю, из угла гонят и могут выгнать на снег, если почуют, что я не могу за него уплатить. Надежда Андреевна прислала месяц назад 30 руб. Это единственная помощь за последнее время. — Что же дальше? Близкий человек Толя не имеет ничего, кроме ученической субсидии. Квартира запечатана, и трудно чего-либо добиться положительного о моём жалком имуществе, правда, есть из Москвы письмо с описанием впечатлений от съезда писателей. Оказывается, на съезде писателей упорно ходили слухи, что моё положение должно измениться к лучшему и что будто бы Горький стоит за это. Но слухи остаются в воздухе, а я неизбежно и точно, как часы на морозе, замираю кровью, сердцем, дыханием. Увы! для писа-

тельской публики, занятой лишь саморекламой и самолюбованием, я неощутим как страдающее живое существо, в лучшем случае я для неё лишь повод для ядовитых разговоров и недовольства — никому и в голову не приходит подать мне кусок хлеба. Такова моя судьба, как русского художника, так и живого человека. И вновь, и снова я умоляю о помощи, о милостыне. С двадцатых чисел октября пароходы встанут. Остаётся помощь по одному телеграфу. Пока не закуёт мороз рек и болот — почта не ходит. Я писал Николаю Семён<овичу>. Ответа нет. Да и вообще мне в силу условий ссылки — почти невозможно списаться с кем-либо из больших и известных людей. К этому есть препятствия. Вот почему я прошу переговорить с ними лично. В первую очередь о куске насущном, а потом о дальнейшем спасении. Посоветуйтесь с Н. Г. Чулковой, она поговорит со своим мужем и т. д. Как отнесётся Антонина Васил<ьевна> Нежданова? Она может посоветоваться со Станиславским, а он в свою очередь с Горьким. Нужно известить Веру Фигнер — её выслушает Крупская и, конечно, посоветует самое дельное. Очень бы не мешало поставить в известность профес<ора> Павлова в Ленинграде, он меня весьма ценит. Конечно, всё это не по телефону, а только лично или особым письмом. Ещё раз извещаю Вас, что Ваши три посылки я получил в целости и, как это ни тяжело, я вынужден вновь просить Вас не оставить меня милостыней, хотя бы на первое время — если возможно — телеграфом. Простите. Прощайте и благословите.

5 октября. 34 г.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

24 октября 1934 г. Томск

Дорогая Надежда Фёдоровна.

На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск, это на тысячу вёрст ближе к Москве. Такой перевод нужно принять за милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студёное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я побрёл по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался, то на случайную скамейку, то на какой-либо приступок. Промокший до костей, голодный и холодный, уже в потёмки я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города — в надежде выпросить ночлег Христа ради. К моему удивлению, меня встретил средних лет бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой человек — приветствием: «Провидение послало нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали». При этих словах человек с улыбкой стал раздевать меня, придвинул стул, стал

на колени и стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принёс валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, едва сдерживая рыдание, разделся и улёгся, — так как хозяин, ни о чём не расспрашивая, просил меня об одном — успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро, на столе кипел самоварчик, на деревянном блюде — чёрный хлеб... За чаем хозяин поведал мне следующее: «Пришла, — говорит, — ко мне красивая, статная женщина в старообрядческом наряде, в белом платье по брови: прими к себе моего страдальца — обратилась она ко мне с просьбой — я за него тебе уплачу — и подаёт золотой». Дорогая Надежда Фёдоровна, Вы поймёте мои слёзы и то состояние человека, когда всякая кровинка рыдает в нём. Моя родительница упреждает пути мои. Мало этого — случилось и следующее. Я полез в свой мешок со съестным, думая закусить с кипятком, но сколько я ни ломал ногтей, не мог развязать пестрядиной кромки, которую завязал мне конвойный солдат мешок. Хозяин подал мне ножик, я стал пилить по узлу и вдоль рубца. Отлетела уцелевшая пуговка, а за ней из-под толстой домотканной заплатки вылез жёлтый кружочек пятирублёвой золотой монеты! Вы мне писали, чтобы я пересмотрел свою жизнь. Я знаю, что за грехи и за личины житейские страдаю я, но вот Вам доказательство того, что не меркнет простой и вечный свет. Хозяин, ссыльный диакон с Волыни, скоро кончает срок своей ссылки, поедет в Москву и, если можно, то зайдёт к Вам с поклонами. Только расспрашивать его не нужно. Если он почувствует внутреннее разрешение, то и сам расскажет. Про такие явления нельзя говорить холодным, набитым лукавыми словами людям. Теперь я живу на окраине Томска, близ берёзовой рощи, в избе кустаря-жестянщика. Это добрые бедные люди, днём работают, а ночью, когда уже гаснут последние городские огни, встают перед образа на молитвенный подвиг. Ничего не говорят мне о деньгах, не ставят никаких условий. Что будет дальше — не знаю. Уж очень я измучен и потрясён, чтобы ясно осмысливать всё, что происходит в моей жизни. Чувствую, что я вижу долгий, тяжкий сон. Когда я проснусь — это значит, всё кончилось, значит, я под гробовой доской. Прошу Вас — потерпите ещё немного, не бросайте меня своей помощью по-человечески и по простоте Вашей. Моя Блаженная мать небесным бисером отплатит Вам за Вашу хлеб-соль и милосердие ко мне недостойному.

Томск — город путаный, деревянный, утонувший по уши осенью в грязи, а зимой в снегах... Это на целую тысячу вёрст ближе от Нарыма к России. На базаре можно за деньги купить разную пищу: мясо 8 р., хлеб 1 р. 50 к., картофель 3 руб. ве-

дро, нет только яблок и никаких круп. Я чувствую себя легче, не вижу бесконечных рядов землянок и гущи ссыльных, как в Нарыме. А и в Томске как будто бы потеплее, за заборами растут тополя и берёзы, летают голуби, чего нет на Севере. Комнаты у меня нет отдельной, изба общая с печью посредине. Приходится вставать ещё впотьмах. Приходят в голову волнующие стихи, но записать их под лязг хозяйской наковальни и толкотню трудно. В феврале будет год моих скитаний, впереди ещё четыре — но и первый показался на столетие. Как живёте Вы? Как Наумовы? Я писал им письмо, но ответа не получил. Слёзно прошу Вячеслава о письме. Как его искусство? Мне это весьма интересно. Сообщите, как живёт Надежда Григорьевна, — я не знаю её адреса, — хотелось бы написать ей письмо. От Н<адежды> А<ндреевны> получил письмо и 50 р. уже в Томске. Лучшие перлы из моих сердечных морей вплетаю в её венец Сирин-птицы. Поплакал я, когда прочитал в её письме, что прекрасный Собинов отзвучал навеки. Как мало остаётся красивых людей в нашей стране! Не могу оторваться от письма, но так трудно говорить на бумаге. Простите. Не забывайте. Помогите, чем можете. Адрес: г. Томск, переулок Красного пожарника, дом № 12.

24 октября 34 г.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

26 ноября 1934 г. Томск

Дорогая Варвара Николаевна, не знаю, как и благодарить Вас за заботы обо мне. Кланяюсь Вам земным поклоном и умываюсь слезами. Прошу Вас не забывать меня весточкой. Можно ли наведаться в Оргкомитете — передано ли во ВЦИК моё заявление? Надо об этом по возможности чаще напоминать Комитету, потому что он может тянуть передачу годами, как тянул мои заявления о пенсии, пока я сам не добился личного свидания с Калининым. Мне пишут из Москвы, что дама, которой я просил Вас позвонить, — была очень больна, вероятно, она ещё медленно поправляется. Но весьма бы было любопытно, а быть может, и полезно под каким-либо интересным предлогом, который бы был не похож на просьбу о деньгах, — получить от неё разрешение свидеться — и передать ей мой документ лично. Быть может, она что и сделает, если захочет. Я послал Вам доверенность (и список вещей). Когда будете её предъявлять, нельзя ли узнать, почему на предъявленную Зинаидой Павловной Кравченко доверенность не последовало разрешения получить вещи? Это мне очень важно знать. О результате Вашего предъявления доверенности известите меня письмецом. Как вещи? По возможности их нужно проверить по списку.

В первую очередь нужно попытаться продать ковёр и складень красный, обложенный медной оковкой, Неопалимой Купины. Этот складень принадлежал Андрею Денисову — автору книги «Поморские ответы». Писан же он тонким письмом в память Палеостровского самосожжения иже на озере Онего, при царе Алексии. Сплошной красный цвет выражает стихию огня. Этому складню всего бы больше приличествовало быть у меня — связу<я> меня, сгоревшего на своей «Погорельщине», с далёкими и близкими отцами и дядичами, но что же делать? Они простят меня, слабого и уже одной ногой стоящего во гробе. За складень раньше мне давали полторы тысячи. Теперь сколько дадут. Предложите его Николаю Семёновичу Голованову, изв<естному> дирижёру из Большого театра. Его адрес: Средний Кисловский, дом № 4. Но цены не назначайте — сколько даст сам. Он видел эту вещь у меня на Гранатном, если даст 750 руб., т. е. половину прежнего, — то отдайте, а так попытайтесь продать где-либо иначе. Складень Феодоровской Б<ожией> М<атери> может пойти от 500 руб. Ангел Хранитель большой — от 200 руб. Остальные иконы от ста до 50 руб. штука. Ковёр, если он не очень разрушился от сырости, стоит от 300 до 750 руб. Как можете вырядить — Вам виднее. Смотри по покупателю. Древние книги предложите Демьяну Бедному — он любитель. Свиток пергаментный на древнееврейском языке — стоил тысячу рублей, теперь хотя бы дали сто рублей. Это повесть о Руфи, X-го века. В ларце узорном теремном статуэтка Геракла в юности бронзовая <нрзбр> времён и царя Андрияна. Там же серьги из Микенских раскопок — можно предложить Музею изящных искусств. Но умоляю что-нибудь продать вскорости, в течение декабря месяца. Чтобы меня не выгнали на 40-градусный мороз в лохмотьях, без валенок, голодным. Прошу Вас — нельзя ли валенки получить Вам в распределителе — размер отнюдь не больше галош № 10-ый. В моём комоде осталось белого материала 9—10 метров, желательно его получить — прикрыть мою наготу. Если наторгуете денег, то нельзя ли купить мне хотя бы пару кальсон готовых и бумазеи чёрной и тёмно-синей четыре метра на верхнюю рубашку, если бумазеи нет, то какого-либо хотя бумажного материала!

И ещё к Вам особенное моление: прямо снаходу получите книгу — немецкую Библию — она пуд весу с медными углами и серединой на кожаном переплёте. Библия на готическом немецком языке — а в ней, приблизительно в первой половине толщины — заложено в листах моё инвалидное свиде<те>льство, бережно переложите его особо в крепкое место, снимите с него копию в горсовете у нотариуса, копию

пришлите мне «ценным письмом», а оригинал берегите лучше денег. Дело в том, что этот документ даёт мне право если не полного освобождения, то перевода в лучшие климатические условия, чем Сибирь. Я могу очутиться в Воронеже или в Казани, а это было бы для меня истинным счастьем! Потрудитесь для спасения меня несчастного, перелистайте не торопясь Библию — оно там, моё спасение! И я пойду на комиссию. Многие по такому свидетельству освобождаются по чистой. Ах, если бы мне в руки моё инвалидное свидетельство! Помогите! И ещё прошу Вас принять во внимание, что если иконы покрыты плесенью, то отнюдь их не тереть тряпкой, а поставить вдоль стенки, хотя бы на пол, но не к горячей паровой трубе, и маленько просушить, пока плесень сама не начнёт осыпаться — тогда уже протереть аккуратно ватой. Но, Бога ради, не трите никаким маслом, особенно лампадно-гарным, это вечная гибель для иконной живописи!

Пенсионную книжку я получал в Хрустальном переулке. Книжки у меня две — большая, что потерялась, и на место её получена поменьше, уже вновь действительная (первая неожиданно нашлась). Хотя бы мне получить пенсию со дня моего ареста 2-го февраля по 2-ой май, и то бы было облегчение. В книжке есть листы для доверенности получения, кому я пожелаю.

Если получение за прошлое возможно, то я вышлю Вам доверенность, или Вы пришлите самую книжку — я напишу и вновь возвращу её Вам почтой — с доверенностью.

До отчаяния нужно мало-мало денег. У моих хозяев в январе освобождается комната 20 руб. в месяц — два окна, ход отдельный, пол крашенный, печка на себя, — то-то была бы радость моему бедному сердцу, если бы явилась возможность занять её, отдохнуть от чужих глаз и вечных потычин! Господи, неужели это сбудется?! Мучительней нет ничего на свете, когда в тебя спотыкаются чужие люди. Крик, драка, пьянство. Так ли я думал дожить свой век...

Прошу Вас поговорить с Пришвиным, он ведь близок к Алексею Максимовичу, и сам многие годы относится ко мне хорошо, и злополучную «Погорельщину» мою слушал в моём чтении — и может ясно представить мои преступления. Как принимать мой перевод в Томск? К хорошему это или к худому? Как живёт и чувствует себя Серёжа? Близок ли он к Павлу и Рюрику? Если они Вас не посещают, то я весьма рад этому. Ещё раз прошу не забывать меня восточкой. Я ведь живу от письма до письма. В опись я забыл внести фонарь железный, что висел над столом. И икону Николы с Григорием Богословом в рост, Никола в ризе чёрными крестами. Размер 6 вершков на 4 вершка. 15-й век. От Толи не получаю уже три

месяца никаких известий. Нельзя ли ему написать под каким-либо предлогом, не упоминая меня, чтобы он ответил Вам и я узнал, что он жив и благополучен? Низко кланяюсь всем милым сердцу. Прошайте. Простите!

Адрес: Томск, пер. Красного Пожарника, изба № 12. Мне.
26 ноября 1934 г.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

Начало — первая половина декабря 1934 г. Томск

<Пишу Вам че>твёртое письмо, <дорогая Варва>ра Николаевна. <В них я говор>ил, что удастся, <быть может>, кое-что из моего <имущества прода>ть и выслать <мне деньги на> хлеб. Свыше человеческих сил моё страдание. Быть может, уцелело что-либо из продуктов: в чайном поставце осталась четверть хорошего чаю не раскупоренной, и в стеклянной чайнице высыпана другая четверть фунта. Кофе в глиняной зеленовато-чёрной большой сахарнице с крышкой, жареный, два фунта, цикория в пачках. В кухонном столе двадцать фунтов гречи. Ах, если бы чудом всё это уцелело! Много и другого, макароны, рис, пшено, всего не помню. Быть может, удалось бы соорудить посылочку. Какое бы было счастье! Жадно жду письма от Вас. Нельзя ли вспомнить мужских чёрных ботинок? Они совершенно хорошие, и мне хватило бы их надолго. Есть и сандалии, словом, всё, что можно. Побеспокойтесь! До гробовой доски не забуду Вашего милосердия. Вся надежда, что в течение декабря что-нибудь выяснится с деньжатами. Иначе меня выгонят на улицу. За угол нужно платить 20 руб. в месяц.

С января можно бы было уже нанять отдельн<ую комна>тушку, но, повторяю, не<где> взять ежемесячные 20 руб. <Толечка не мо>жет ничего боль<ше сделать. Он> живёт только на <ученическую стипендию, совершенно без помощи>, так как родные его оставили, переехали на постоянное местожительство в Севастополь. За семьёй-то ему было легче, а теперь вовсе тяжело, желательно бы не сломать резной спинки у моей скамьи. Скамья разбирается, и спинка снимается, только выбить клинышки с испода и положить спинку плашмя на скамью, перевязать, и она не сломается при перевозке. В Томске глубокая зима. Мороз под 40°. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удаётся выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб. Деньги от двух до трёх рублей — в продолжение почти целого дня — от 6 утра до 4-х дня, когда базар разъезжается. Но это не каждое воскресенье, когда и бывает мой выход за пропитанием. Из поданного варю иногда похлёбку, куда полагаю всё: хлебные крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немножко клеверного

сена, если оно попадает в крестьянских возах. Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало. Сахар великая редкость. Впереди морозы до 60°, но мне страшно умереть на улице. Ах, если бы в тепле у печки! Где моё сердце, где мои песни?! Ещё раз умоляю о письмах. Про запас прощайте. Кланяйтесь моим знаменитым друзьям — русским художникам и поэтам!

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

1 января 1935 г. Томск

Дорогая Надежда Фёдоровна!

К неземной стране
Путь указан мне,
И меня влечёт
Что-то всё вперёд!
Не растут цветы
На пути моём.
Лишь шипов кусты
Вижу я кругом!
Соловьи зарёй
Не ласкают слух,
Лишь шакалов вой
Слышу я вокруг!
Не сулит покой
Мне прохлады тень,
Но палящий зной
Жжёт и ночь, и день!
Не в тиши идёт
Путь кремнистый мой —
Ураган ревёт,
Проносясь над мной!
Не среди лугов
Под шумок ручья,
По камням холмов
Пробираюсь я!
И встречаю я
Всюду крови след:
Кто-то шёл, скорбя,
Средь борьбы и бед!
В чёрной мгле сокрыт
Путь суровый мой.
Но вдали блестит
Огонёк живой!
Огонёк горит,
И хоть вихрь шумит,
Но меня влечёт
Что-то всё вперед!

Поздравляю Вас со Святками, со звёздной ёлкой счастья и благословения. Я получил Ваше письмо, наполненное грустью о моих грехах. Я заплакал над ним тихими очистительными слезами. Оно живое доказательство, что я один из тех тёмных грешников, ради которых и пришёл во плоти Свет на земле, ибо Он пришёл не к праведникам, а к ужасному сборщику римских податей Закхею, к сиропиниянке-блуднице, львице восточных бань и публичных сатурналий, к бесноватому, живущему во гробах, к гнойным прокажённым. О, какое счастье встать в ряды тех, про которых сказано в Евангелии от Луки в главе VI-ой, стих 22-ой: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное». И ещё стих 26-ой того же евангелиста: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо».

Дорогое чадо Божие — тёплая и родная Надежда Фёдор<овна>. Да не смущается сердце Ваше и да не устрашает! Не принимайте мои спокойные встречи с искушениями за самый грех. Будьте в покое, и раскалённые стрелы сатаны возвратятся туда, откуда они прилетели! Ибо ведь «Христос есть мир (в английском переводе — покой) наш» (Ефес. II, 14). Никогда не выходите из этого покоя, если Вы хотите возрасть в очищении. Тогда исчезнет и смущение Ваше. «Что скажет Он, то и сделайте» (Иоанн. II, 5). Ожидайте всякий день избавления от греха: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешили» (Иоанн. II, 1). Я же скажу вместе с апостолом Павлом: «Хотя я ничего и не знаю за собою, но тем не оправдываюсь: судия же мне Господь». Возьмите человека, который по причине многогранности своей души не может жить среди официальных праведников, выкиньте его из общественных предприятий, изгоните из общества, — и Христос скажет: «Вот человек, которого Я ищу! Я пришёл взискать и спасти погибшее!». Ещё раз прошу Вас пребывать в покое, дабы не затемнить уверенности, что «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветёт, как кипарис» (Ис. XXXV, 1).

О Ты, дыханье вечности,
Дохни на сушь души моей,
И мирта цвет, и кипарис
Поднимутся в песках сухих,
И у потоков вод Твоих
Пустыня станет, как нарцисс!..
Мой дух к Тебе весь обращён,
Я всё забыл, стремлюсь к Тебе,
Я чудной мыслью поглощён,
Что ты, Нарцисс, теперь во мне!

Дождь благодатный и живой —
Не тщетно ждал Тебя душой!

Простите, прощайте! Прошу о письме и милостыне.
Душа моя с Вами.

Н. К.

Переулок Красного Пожарника, изба № 12.

1 января 1935 г.

Л. Э. КРАВЧЕНКО

20 января 1935 г., г. Томск

Потрясли Вы мне душу, дорогая Лидия Эдуардовна, Вашей заботой обо мне и милой посылкой.

Поплакал я всласть над Вашими мешочками, так пахнуло мне на сердце чем-то родным. Вижу Вашу жизнь до последней солонки, до пуговки. Ах, если бы имел я возможность припасть к ногам Вашим и выплакать моё страдание. Я на чужой стороне среди двуногого дикого зверья — без угла, без куска хлеба, больной, изъеденный вшивыми лишаями, от которых я очень страдаю. Лишай покрывает полголовы, весь живот и обе голени, но я не всегда могу купить даже свежий бинт. Живу в общей избе с жестянщиками — часто пьянка, смрад, страшные морды...

Только за последние дни слухи обо мне начали доходить до местной интеллигенции. Пришли ко мне местные писатели — в хорьковых шубах, раздушенные, но скучно провинциальные — морщили нос на мою долю, по-видимому, моя судьба потрясла их до крови. Они сидели на треногой лавке у вонючей лохани, как истуканы. Я говорил им об узком, тернистом, но спасительном пути, на который поставила меня история и по которому ведёт меня Провидение. Один из них, самый юный, вдруг разрыдался...

Томск — город суровый, ко всему привычный. Появился хлеб без карточек, но вот уже несколько дней его нет нигде, ни даром, ни за деньги. Я так радовался вольной хлебной продаже, до неё приходилось хлеб просить на базаре у приезжих крестьян Христа ради. Я знаю, Вы, как никто, почувствуете мои кровавые слёзы, когда я, мокрый от волнения, со страшно бьющимся сердцем, дожив до седин, в первый раз в жизни протянул руку за милостыней... Но слава Богу за всё! До меня доходят слухи из столиц, что всё самое лучшее и мыслящее не осудило меня. Но никто не верит в мои преступления. Мои книги, портреты, частые письма — поднялись даже в оценке на современный рубль. Так, например, моя книга «Песнослов» дошла до ста рублей и т. п. Всё это меня, хотя и мало, но утешает.

Прошлую зиму и всю весну я болел цингой. Выпало восемь зубов, я был так худ, что обшивка прежних кальсон об-

вивалась два раза кругом. Теперь на воздухе я немного окреп. Мою седую бороду треплет сибирский ветер. Время и вера понемногу умягчают раны. Я безумно, с неиспытанной никогда жаждой, — люблю жизнь, небо, солнце, человеческое сердце!.. От всего своего существа желаю Вам благополучия на новом месте. От Толи четвёртый месяц не получаю никакой весточки. Его любовница слишком опытна, чтобы выпустить добычу из своих когтей. Но я надеюсь на природный ум нашего горячего художника. В его годы человек меняет не только кожу, но и душу.

Посылка пришла в целости. Яблочки, конечно, поморозило, но я сварил их, остудил и съел. Рубашка очень нравится. Жаль, что нет цикория и кофе. Чай прямо клад. Местные цены на продукты: мясо от 4 до 6 р. кило. Свинина 5—6 руб., картофель 1 р. 50 к. ведро. Молоко 4 р. 50 к. четверть. Мороженое дешевле. На базаре есть всё, но я нищий, целыми неделями сижу на хлебе с кипятком. Мука весной была 60 р. пуд, осенью 30 руб. Сеянка 40—50 р., дрова берёз<овые> 20—30 рублей воз, дёшево капуста и всякая огорожина. Постараюсь разыскать Ваших знакомых. Простите. Прощайте. Горячо благодарю. Сердцем со всеми вами.

Н. К.

Адрес прежний.

А. А. РУДАКОВОЙ

2 марта 1935 г., г. Томск.

Здесь ещё глубокие мелов<ые> снега и по ночам белые ледовитые звёзды. Изба, в которой я коротаю своё изгнание, уцепилась бревенчатými лапами за край обрыва. В овраге глухо ворчит вода. Изба располосыми остяцкими глазами зорит в поле, где сибирские ветросвисты, и в снеговых саванах и балахонах кружатся в мёртвой безумной пляске снеговые столбы. В такие часы я часто вижу своих друзей и Вас, Ада Алексеевна, похожую на речную золотистую кувшинку, и жёлтая купальская влюблённая в Вас. Она льёт на Ваши одежды червонный мёд, и вся Вы сладостная и всегда юная, и комната Ваша не подвержена власти времени, в ней живут мечты и томность девушки, которая только что окончила пансион. Господи, почему я этого не сказал Вам вслух, когда я был гостем в Вашем доме и меня принимали и, быть может, даже уважали?? Приношу к Вашим ногам пригоршню слёз. Знаю, что это скучно и может быть объяснено недостатком мужества в моём страдании, но это немного и даже совсем не так! Вы из тех душ, которые никогда не скажут про меня: «Бедняк, мы думали о нём гораздо лучше». И не оставите меня в нужде, не перевязав моих ран! Вот уже со 2 февраля пошёл вто-

рой год, как я в изгнании. Впереди ещё тысяча дней и долгих ночей одиночества, потерь и распятия сердечного. Помогите, если кто есть жив человек! Удивительнее всего, что моя слаянская муза не покидает меня. Её тростниковые свирели — многообразней и ярче всех прежних. Я написал две больших поэмы — потрясающих по чувству и восточной красоте.

Как бы мне хотелось прочесть их доброму и втайне любимому Валериану Рудакову! (У меня туманится память на имена.)

Кланяюсь прекрасному Петербургу!

Благодарю горячо того доброго человека, который по Вашему поручению выслал мне 20 руб. На переводе нет адреса, а фамилии я не мог, несмотря на все старания, разобрать.

Дяде Паше писал два письма, но ответа не получил, очень бы хотел с ним изредка переписываться.

Если возможно, не оставьте меня милостыней и впредь. Будет время — отблагодарю сторицей. Поцелуйте от меня Рудакова.

Сердце моё нежно удерживает его образ. Кланяйтесь, если найдёте не досадным, Печковскому. В моей поэме в урагане музыки проходит и он — прекрасным Германом!

Простите! Прощайте!

Адрес: г. Томск, пер. Красного Пожарника — мне.

(Клюев.)

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

22 февраля 1935 г. Томск

Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя.

Исайя, XXV, стих 4

Милосердие Божие обновляется каждое утро.

Плач Иеремии, III, 22—23

И знамя его надо мною — любовь.

Дорогая Надежда Фёдоровна!

В острожной больнице одна сиделка принесла арестанту-уголовнику сваренное яйцо. «Слишком круто сварено», — сказал больной и оттолкнул его. Сиделка удалилась так же спокойно, как если бы арестант прилично поблагодарил её... Вскоре она <пришла?> со вторым яйцом и ласково предложила больному... «Оно недостаточно сварено», — проворчал он с досадой. Женщина ушла, ничуть не изменившись, и пришла в третий раз, держа в руках кастрюльку с кипящей водой, сырое яйцо и часы. «Подержите, дорогой, — сказала она ласково, — теперь у вас под рукой всё, что нужно, чтобы сварить яйцо

так, как вам хочется...» — «Позовите ко мне батюшку», — сказал преступник и приподнялся. Сестра с удивлением, недоумевая, посмотрела на этого зверя. «Я не шучу, — ответил он на немой вопрос сиделки. — Я желаю причаститься... Так как на земле существует такой ангел терпения, как вы, то я теперь верю, что и на небе существует милосердный Бог».

Ваше отношение ко мне целиком повторяет этот случай, захлёбываясь слезами, я прочитал Ваше письмо. Никакой богословский реферат не дал бы моему сердцу столько убеждения и свежести душевной — сколько дают Ваши простые строки, в которых журчит и струится глубочайшая человечность.

Елиазар — слуга Авраама — просит у девушки, пришедшей из города, почерпнуть воды напиться. «Пей, господин, и верблюдов твоих я напою». Это была Ревекка — мать всех плачущих матерей.

Я прошу у Вас кусок хлеба, а Вы обслуживаете и верблюдов моих — мои грубые телесные нужды. Вот уж истинно: «Плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» (Послание Павла к Римлянам, VI, 22). «Когда я немощен, тогда силен» (2 <послание> к Коринфянам, XVII, 10).

Когда деревья стоят в густом зелёном уборе, то нелегко находить на них плоды, — и многие из них остаются незамеченными. Когда же наступает осень и оголяет деревья, то плоды все обнаруживаются. В сутолоке жизни человек едва узнаваем. Его сокровенная жизнь сокрыта в этой чаще. Когда же вторгаются страдания, мы узнаём избранных и святых по их терпению, которым они возвышаются над скорбями. Одр болезни, горящий дом, неудача — всё это должно содействовать тому, чтобы вынести наружу тайное. У некоторых души уподобляются духовному инструменту, слышимому лишь тогда, когда в него трубит беда и ангел испытания. Не из таких ли и моя душа?

Я известил Вас телеграммой, что все переводы я получил в целости. Кажется, сообщал о каждом из них открыткой при получении, не выходя из здания почты. Но в Сибири все порядки несколько другие, чем в Москве, иногда кучу писем находят в овраге — потому что рассыльный исчез неизвестно куда. Простираюсь сердцем в Ваш уголок за шкафом. Кланяюсь всем милосердствующим мне недостойному. Я теперь не в общей избе — у меня угол за заборкой, хотя дверь в общую избу не навешена. Но у меня чисто. Купил кровать за 20 руб., есть подушка и одеяло, чайник для кипятка, деревянная чашка для еды с такой же ложкой. Люди, которые меня приветили, ушли не сказавшись. За заборкой живёт мужик с бабой и с двумя ребятами — выселенцы из

Вятской губер<нии>. В боковой половине живут две старухи, старик и девка-поломойка. Наезжают с базара колхозники, пьют водку, жрут сырой лук от цинги, которой здесь по зимам болеют повально. Я познакомился с одной очень редкой семьёй — учёного-геолога. Сам отец — пишет какое-то удивительное произведение, ради истины зарабатывает лишь на пропитание, но не предаёт своего откровения. Это люди чистые и герои. Посидеть у них приятно. Я иногда и ночую у них. Поедет сам хозяин в Москву, зайдёт к Вам — он очень простой — хотя ума у него палата. Я написал Вам свои мысли об очищенном сердце — вышлю большое сочинение. Много в нём сердечного волнения, но боюсь послать его почтой, чтоб не затерялось, как затерялось безмерно красивое и душистое письмо к Н<адежде> А<ндреевне>, посланное ей на Рождество. Постараюсь своё писание о чистом сердце послать с оказией. 2-го февраля исполнился год как я в изгнании, впереди ещё годы... «Но для всех благоговеющих перед именем Моим взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Пророк Малахия, глава IV, ст. 2). Доверенность на моё имущество я послал Сергею Клычкову, но ещё ничего определённого не добился. Толечка женился на особе за 30-ть лет. Очень опытной житейски. Занят своею любовью по уши и даже матери в Севастополь не пишет ни строчки. Время покажет, что с ним будет дальше. Он в Академии учится и ещё ничего не зарабатывает. Клычкова не печатают. Это добрый, хотя и рассыпанный человек — иногда его жена мне посылает милостыню. И я кланяюсь земным поклоном ночным тучам и вершинам сибирских сосен за её милосердие.

Ходит ко мне в гости кот Рыжик, — туземный, с глазами рыси и пушистым хвостом. Хлеба не ест, а мяса у меня нет. Угощаю его жвачкой изо рта.

В театре здесь идёт оперетта — «Цыганский барон», «Марица» и т. п. Поёт Дарский, Лидарская — что-то я слышал краем уха о них — но не знаю их как артистов. Университетская библиотека здесь богатая. Заведует ею Наумова-Широких. Женщина из редких по обширному знанию. Она меня приглашала к себе — хорошо знает меня как поэта. Но, признаться, мне на люди выйти не в чем. Моя синяя рубаха прирвалась и полиняла, кафтанец же украли в этапе, сапоги развалились — и во всём Томске нет кусочка кожи их починить. Н<адежда> А<ндреевна> прислала мне в посылке бумазейную рубаху, но она к горю моему оказалась тесной и короткой. А без этой маленькой декорации я не могу читать своих русских стихов. Особенно людям, которые меня не знают. Кланяюсь ещё раз всем — кто меня жалеет и кому моя судьба не кажется скучной. Многих я веселил в жизни — и за это плачусь изгнанием,

одиноким, слезами, лохмотьями, бездомным и, быть может, гробовой доской, безмянкой и затерянной.

Простите. Целую порог жилища Вашего. (В письмах не нужно адрес на Кузнецова, а прямо на меня.)

22 февраля 1935 г.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

Не позднее 2 марта 1935 г. Томск

...Не сообщите ли мне, сколько икон сохранилось? Складня было три. Успение большое, два аршина высоты, на полуночном фоне — чёрном. Икона весьма истовая: Спас стоит — позади его олонецкая изба — богатая, крашеная — с белыми окнами. Спас по плечи — большой на чёрном фоне. Ангел-хранитель аршинный. Зосим, Савватий — семивершковая икона. Ангел-хранитель — икона девятивершковая с тропарём, писанным вокруг лика. Корсунская с большим ликом. Явление Богородицы пр<еподобному> Сергию — икона семь вершков, с нею в руках умерла моя мать. Книга Псалтырь с серебряными уголками — очень для меня дорога. Евангелие, рукописное новгородское. Толковое Евангелие, рукописное. Книга «Поморские ответы», рукописная. Крест деревянный (*следует рисунок. — Г. К., С. С.*) такой формы. Лампадка стоячая медная (*следует рисунок. — Г. К., С. С.*) гладкая, без птички (было ещё две с ножкою в виде птицы). Из всего перечисленного я хотел бы сохранить Псалтырь с серебряными уголками, изображённый крест, икону Явление Сергию, гладкую лампадку и складень с Богородицей посредине, левая сторона расписана у складня белым узором (у второго же складня боковые створки подбиты кожей). Особенно прошу о книге Псалтырь! Впрочем, всё в Вашей воле. За всё благодарю со слезами. Все ваши заботы обо мне недостойном слагаю в сердце своём. Не удосужитесь ли передать поклон, хотя бы по телефону, Георгию Чулкову, и сообщить мне его адрес? У меня есть несколько нужных слов к нему. Кланяюсь Гранатному пер<еулку>. Там я пережил много прекрасного.

Простите. Не осудите.

Адрес прежний.

Н. Клюев.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

21 апреля 1935

Вышла из мрака молодая с перстами пурными Эос.

Из книги «Одиссея» Гомера

Так ослепительно воспевал зарю мой древний брат Гомер. Вся жизнь — солнце, пир солнца, где потоками льётся лучистое и светозарное вино. Вино новое, как поют ангелы

в новых временах. Эти слова дошли до нас. Мы слышим их в предвесеннюю неделю — после глубокого вербного вечера. Воскресшее солнце погрело смерть. С праздником, красное солнышко! Мысленно вхожу в жилище Ваше с охапкой горных лилий, чтобы сложить их у Ваших ног. На лилиях не роса, а слёзы. И тают житейские тучи, — открывая незабудковое небо, как бы омытое слезами:

С Праздником!

Я уже не считаю дней и месяцев. Жизнь проходит, уплывают, как волны, душа и тело. Только ты одна живёшь вечно, бессмертная музыка! Ты — внутреннее море. Ты — глубокая душа. Угрюмое лицо жизни не отражается в твоих ясных зрачках. Далеко от тебя бегут вереницей дни знойные и ледяные, как стадо облаков по небу, быстро сменяя друг друга. Только ты одна живёшь вечно. Ты — вне мира, Ты сама — целый мир. У тебя — своё солнце, свои законы, свои приливы и отливы! Музыка — девственная мать, несущая в бессмертном лоне своём все страсти человеческие, скрывающая добро и зло в лоне своих очей цвета тростника и бледно-зелёной воды тающих горных ледников. Тот, кого ты приютила, живёт вне веков; цепь его дней будет только одним днём, и смерть, <которая?> пожирает всех и всё, ломает себе зубы!

Смертию смерть поправ!

Музыка — любовь моя и счастье, я лобзаю твои чистые уста, я прячу лицо моё в твоих медовых волосах и прижимаю мои воспалённые веки к нежной ладони твоих рук! Блаженны те, кого приютило твоё крыло!

Дорогая Надежда Фёдоровна — простите за эту лирику, но я желаю Вам только праздника, и в праздничном письме стараюсь избегать будничных серых слов.

Адрес прежний.

Л. Э. КРАВЧЕНКО

13 мая 1935 г. г. Томск

Помните страждущих, как и сами находитесь в теле.

Послание к Евр<еям>. III, 3

Когда отдаёшь голодному душу твою и напиташь страдальца, тогда свет твой взойдёт во тьме и мрак твой будет как полдень.

Книга пр. Исайи. LVIII, 10

Тяжёлые переживания жизни — это божественные сотрудники, удаляющие из нашего характера все нечистоты и наросты.

Слова Лютера

Подобно тому, как человек, когда непременно хочет открыть глухо замкнутую дверь, пробует из связки ключей

один ключ за другим, так и Провидение применяет одно средство за другим, чтобы подействовать на сердце человека.

Александр Дюма

Во дни несчастья — размышляй.

Из книги Екклесиаста, VII, 14

В чаше страдания не может быть ни одной лишней или бесполезной капли.

Из письма Александра Блока

Дорогая Лидия Эдуардовна!

Кланяюсь Вам земным поклоном за Ваше милосердие ко мне недостойному за удивительное сердечное письмо, где Вы сообщаете о приезде Бори и т. д. Толечка, конечно, поправится — он весьма упорный и жиловатый, а Судак — лекарственное место и санатории там хорошо обставлены. Получил я и праздничную телегр<амму>. Очень тронут и благодарен. Прошу Вас усердно, напишите по листочку своим томским друзьям — напомните им о себе — расскажите обо мне и попросите принять меня и выслушать — я схожу с Вашими письмами и это будет самое верное. Пошлите мне — заказным письмом. Очень этим поможете. Гладиевы обе в Новосибирске, а к другим я схожу с Вашими листочками.

В Томске стало тепло, солнышко, черёмуха в почках. Окошко у меня на солнышко, за заборкой ревет ребёнок, и баба его утешает, чем бы Вы думали? Матюгами! Это широко распространено в Сибири. Как бы плоха <ни> была погода в Севастополе — это дело преходящее, вот Сибирь — зима была волчья, тёмная и угарная, на кипятке с брусникой и небольшим количеством хлеба. Из Ленинграда мне прислали на Пасху трое кальсон, две рубахи, простыню и пять пар носков. Ведь у меня в Москве всё погибло, что было припасено и на чёрный день. Золотая статуэтка Геркулеса, четыре монеты Александра Македонского, по старой цене стоящие пять тысяч рублей, и многое другое... Прошу Борю по приезде в Ленинград узнать условия поступления в студию ТРАМа у Михаила Соколовского — это директор ТРАМа. Общежитие и квартира Соколовского — Бассейная ул., № 11. Меня очень просят об одном способном пареньке, а я не знаю условий поступления. Пусть Боря не замедлит и мне сообщит. Кланяюсь всем семейным. Живу по-старому — ничего в волнах не видно. Если будет милость и возможность собрать посылочку, то нельзя ли раздобыть кофейку, это было бы большой радостью. Будет время — отплачу сторицей. Прощайте. Простите.

Н. К.

13 мая 1935 г.

Не бойтесь, что меня Ваши письма беспокоят...

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

25 июля 1935 г. Томск

Горячо благодарю Вас, дорогая Варвара Николаевна, за сердоболие и милосердие ко мне горькому и недостойному. Гостинец Ваш по почтовому переводу получил. Летние месяцы старался Вас не беспокоить своими письмами. Знаю, как Вам дорого обходится летний отдых и как он нужен для Вас. На Вашу милостыню я жил в последние месяцы, как никогда. Купил пшена, чаю, сахару, каждый день хлеб и молоко, но жилища не смог переменить, хотя и были и по внутренним и внешним условиям благие и прекрасные кельи. К несчастью моему, не дешевле сорока рублей в месяц. У меня же общая изба, где народу 14 человек — мужичья и баб с ребятами. Моя бедная муза глубоко закрыла свои синие очи, полные слёз и мучительных сновидений. Пусть спит до первой утренней звезды! С тревогой и болью смотрю на первые хмурые тучи, на желтеющий уже березняк — показатель ранней сибирской 8-месячной зимы. Как-то буду коротать я её?

Здоровье моё сильно пошатнулось — лежал в больнице десять дней. Какая-то незнакомая досель болезнь сердца и желудка: невыносимая боль. Лежал десять дней за плату 6 руб. в сутки. Бесплатно ссыльным лекарства и больницы не полагается. Часто вспоминаю свои «заявления», где они и читал ли их кто? Есть ли вообще надежда на помощь мне и спасение?

Как живут поэты? Вспоминает ли кто меня? Или все слишком заняты собой? Обидней всего, что Ленинград молчит, а ведь я ему отдал много сердца, денег и хлеба-соли. Как чувствует себя Васильев? Каковы его победы?

<Часть текста утрачена> зиму. В феврале минет два года, а там поднатужился бы и на третий. Удивляюсь малодушию моих знаменитых друзей. Вы пишете, что они отнеслись очень холодно к моему самосожжению. Мужики так не поступили бы. Но всему своё время. Нельзя ли сообщить мне адрес Пришвина и как его по батюшке? Нельзя ли поговорить с Мстиславским. Узнать в Оргкомитете, сделано ли что-либо по охране моих многолетних рукописей. Я писал в Орг — об этом заявление.

Пронзает моё сердце судьба моей поэмы «Песнь о великой матери». Создавал я её шесть лет. Сбирал по зёрнышку русские тайны... Нестерпимо жалко. Как гостил Жан-«Крис»тоф; увидел ли он святого «Христофора» на русских реках? *<Часть текста утрачена>*.

Клянюсь земным поклоном. Не забывайте меня горького.

Клянюсь прекрасной Москве.

Если можно, вышлите летнее пальто и нельзя ли добыть каких-либо брюк — покрепче — мои совсем развалились. Очень бы жетельны какие-либо штиблеты, размер 43. Хотя бы держанные.

Простите. Не осудите.

Благословляю крестника. Потерпите малость мои вопли. Ещё раз кланяюсь. Н К.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

25 октября 1935 г.

Дорогая Варвара Николаевна. Кланяюсь Вам земно и благодарю кровно за милосердие Ваше. Прихожу с почты, получив от Вас переводы — и рыдаю в своей конуре, простираюсь сердцем к Вам, целую ноги Ваши — <неза>бвенная сестра <несколько слов утрачено> <чем я> только заслужил <несколько слов утрачено> глазами, полными горь<ких> слёз, прошу Вас пожертвовать для меня ещё некоторое время — может, меня Господь простит и я умру в жизнь вечную.

Какое здесь прекрасное кладбище — на высоком берегу реки Томи, берёзовая и пихтовая роща, есть много замечательных могил... Но жаворонков и сельских ласточек по весне здесь не слышно. Ласточки только береговые и множество сизых ястребов. Ещё до Покрова выпал глубокий снег, ветер низкий, всешарящий, ищущий и человечески бездомный. Мой знакомый геолог говорит, что и ветер здесь ссыльный из Памира или из-за Гималаев, — но не костромской, в котором сорочий щёкот и овинный дымок. Как Москва? Как писатели и поэты — как они, горемыки миленькие, поживают. Жалко сердечно Павла Васильева, хоть и виноват он передо мною чёрной виной. Переживу зиму — на весну оправлюсь. Теперь же я болен. Лежал три недели в смертном томлении, снах и видениях — под гам, мерзкую ругань днём и смрад и храпы ночью. Изба полна двуногим скотом — всего четырнадцать голов. Не ему мои песни. Лютый скот не бывал в Гостях у Журавлей. Может ли он быть любим? Но блажен тот, кто и скота милует! <Часть текста утрачена>.

<Копию> инвалидного свид<етельства> вышлю. Никак не могу сбить 25-ти руб. на нотариальные расходы. Стараюсь. Волнуюсь. Помогите, Свете Тихий, Матерь-роза и простое человеческое Сердце!

Пожалейте меня, не бросайте!

Ваш раб и поэт, не лукавый должник, оставляющий долги всем врагам своим, несущий к Вашему порогу пригоршню горячих слёз, с обожанием и преданностью истинной Н. Клюев. Благодарю, благодарю!

Простите. Не осудите.

Адрес прежний. Переводы 60 р. и 40 р. получил.
Как поживает Осип Эмильевич? Я слышал, что будто он в
Воронеже?

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

Конец 1935 г.

...Конечно, лучше бы всего устроить подачу помилованья трём представителям искусства: Н<адежды> А<ндреевны> от сцены, Кончаловского от живописи и от литературы Вересаева. Всем троим и явиться к Калинин. Он русский и зорко провидящ и, конечно, понял бы, что такая подача челобитной значительна политически и незабвенна историей искусства. Положение моё очень серьёзно и равносильно отсечению головы, ибо я, к сожалению, не маклер, а поэт. А залить расплавленным оловом горло поэту тоже не шутка — это похуже судьбы Шевченка или Полежаева, не говоря уже о Пушкине, которого Николай 1-ый сослал... и куда же? — в родное Михайловское под сень тригорских холм<ов>. Я бы с радостью туда поехал. Поплакал бы, пожаловался бы кое на что на могилке Александра Сергеевича! Не жалко мне себя как общественной фигуры, но жаль своих песен — пчёл сладких, солнечных и золотых. Шибко жалят они моё сердце. Верю, что когда-нибудь уразумеется, что без русской песенной соли пресна поэзия под нашим вьюжным небом, под шум плакучих новгородских берёз. С болью сердца читаю иногда стихи знаменитостей в газетах. Какая серость! Какая неточность! Ни слова, ни образа. Всё с чужих вкусов. Краски? Голый анили, белила да сажа, бедный Врубель, бедный Пикассо, Матисс, Серов, Гоген, Верлен, Ахматова, Верхарн. Ваши зори, молнии и перлы нам не впрок. Очень обидно и жалко. В избе есть у меня и друг — жёлтый кот — спит со мной, жалеет меня, кормлю его жамкой. Здоровье моё плохое. Простите. Прощайте! Прошу Вас, не оставьте меня на Рождественские звёзды голодным! Ещё раз прощайте.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

23 февраля 1936 г. Томск

Получил Ваше письмо и переводы (115 и 180 р.), дорогая Варвара Николаевна! Обрадовался всему этому до слёз — правду сказать, разрыдался — по-ребячьи или по-стариковски — не знаю, но теплотой повеял мой угол, и маленько я успокоился.

Купил молока, муки белой, напёк оладий, заварил настоящего трёхрублевого чая, а когда собрал стол, то и пить не мог, всё бормотал, шептал и звал любимых со мной чайку испить! И они пришли. Первой явилась маменька как бы в венчальной

фате, и видима почти по колени, потом дядюшка Кондратий в отсвете самосожженческого сруба, Серёженька — сильно неподвижный, не освободившийся, Александр, Николай, Владимир, Ильюша — все отошедшие, но в неистребимой силе живущие, даже до цвета и звука! До Ваших переводов как-то мне не елось, не пилося, теперь же я приотъелся, починился, часто заходил в баню, — это моё любимое учреждение в Томске. Переулок, где я живу, по ворота и до крыш завьюжен снегом, но уже начали сизеть и желтеть зори. Я часто хожу на край оврага, где кончается Томск, — впиваюсь в заревые продухи, и тогда понятней становится моя судьба, судьба русской музы, а может быть, и сама Жизнь-матерь. Но Сибирь мною чувствуется как что-то уже не русское: тугой, для конских ноздрей, воздух, в людской толпе много монгольских ублюдков и полукровок. Пахнущие кизяком пельмени и огромные китайские самовары — без решёток и душика в крышке. По домам почему-то железные жаровни для углей, часто попадается синяя тьян-дзинская посуда, а в подмытых половодьями береговых слоях реки Томи то и дело натыкаешься на кусочки и черепки не то Сиамы, не то Индии. Всё это уже не костромским суслом, а каким-то кумысом мутит моё сердце: так и блёкнут и гаснут дни, чую, что считанные, но роковое никакой метлой не отметишь в сторону. Не могу надивиться, что складень Неопалимая Купина оказался писанным в Казани в 19-м веке! По каким это данным? Выменян он в 60-х годах от последнего большака знаменитой Даниловской обители иже реце Выге у понта Океяна-моря, а принадлежал он Андрею Денисову — писателю книги «Поморские ответы». Письмо называется иконопоморское. Складень подписной одинаковой графьёй со всеми имеющимися на нём подписями. Обыкновенный приём у антикваров — охаять вещь — пустив в ход свой авторитет — оповестить об этом и любителей, которые все у них на счету, а потом через десятые руки, якобы простачка, вырвать у разочарованного владельца вещь за дешёвку. Я напишу в Москву одному человеку, который в своё время хотел у меня купить этот складень. Если он придёт к Вам с моим письмом — то покажите складень — получите деньги, не задерживая переведите их мне. Да порядитесь — чтобы деньги были уплачены зараз, а не по частям. А не то ведь вечно около предметов искусства наслаивается множество разнообразных мнений, а это может затормозить выплату. Уж потрудитесь! Зловеще, но для меня не неожиданно — рассказали Вы об Анатолии, он пьян призрачным успехом, до первого пинка, до первого испытания, котор<ое> для него может оказаться громовым ударом и поразить насмерть. Ещё немного, и его путь упрётся в пулю или в цианистый кали. Не первого такого встречаю я на своём

веку. Ужасаюсь и содрогаюсь и за это обольщённое дитя! Ничего я от него не прошу. «Правду говорят: не спеши волчонка хвалить, дай зубам у серого вырасти. Слётышь, материно молоко на губах не обсохло, а клони перед ним седую голову!» «Не от сильного, не от могучего, не от знатного, от властного — от своего выкормка терплю предательство и поношение!» «Ему расти, мне же малитися! Что ж? Господня воля!.. Благо ми, яко смирил мя еси Господи! Да это что? Трын-трава! Знали бы Вы сердце моё, ведали бы думы мои сокровенные!» «Как Волги шапкой не вычерпать, так и слёз моих не высушишь!»... По неволе вспомнишь Патапа Максимыча Чапурина и Алёшку Лохматого. И сивушек ему Максимыч подарил, и одел в бархат, и бородой щёки ему, как кровному да родимому, ластил, ан вот что получилось! Свирепая душа поромоновского токаря сказала. Ежовую щетину и бархатом не укроешь! Прошу Вас при встрече с Толей и виду не показывать, что Вы знаете моё душевное землетрясение и что его модная фигура пока мне одному в подлинности понятна! Как Вы узнали Обухову? Продавайте всё, что можно и что покупают. За всё буду глубоко благодарен! Здоровье моё всё хуже. Боли в области живота здешние врачи объясняют язвой желудка, — которая быстро увеличивается. Сердце не даёт покоя, особенно ночью. Я скоро и тяжело устаю от ходьбы. Жилище моё без тишины — с 5 часов утра до 10—11 ночи. Слава Богу, что огромный вшивый лишай, занимавший часть шеи, плечо и половину живота, очистился. Это для меня большое облегчение.

Одним словом, преувеличивать нечего, — кой-что пережито и кой-чему я научился и многое понял. Особенно музыку. Везде она звучала — и при зареве костров инквизиции, и когда распускается роза. Извините меня за эти известные строки! До Прощёного Воскресенья бабы и мужики — соседи по избе всю неделю пили и дрались, сегодня же, к моему изумлению, все перекланялись мне в ноги, стучая о пол лбом: «Прости, мол, дедушка, что тебя обижаем!». И я всем творил прощу. Весь этот народ — сахалинские отщепенцы, по виду дикари, очень любят сатиновые, расшитые татарским стёгом рубахи, нежно-розовые или густо-пунцовые, папахи дорогого кашмира с тульёй из хорошего сукна, перекрещенной кованым серебряным галуном, бабы любят брошки «с коралловой головой», непременно в золоте — это считается большой модой — и придаёт ценность и самой обладательнице вещи. Остячки по юртам носят на шее бисерный панцырь, с огромным аквамарином посредине; прямо какая-то Бирма! Спят с собаками. Нередко собака служит и подушкой. Избы у всех обмазаны изнутри, тепла ради, глиной и выбелены. Под слоями старого мела — залежи клопов. В обиходе встречаются вещи

из чёрной меди, которые, наверное, видели Ермака и бывали в гаремах монгольских каганов. Великое множество красоты гибнет. Купаясь в речке Ушайке, я нашёл в щебне крест с надписанием, что он из Ростова и сделан при князе Владимире. Так развёртывается моя жизнь в снегах сибирских. Покая нет. Всегда под угрозой, что тебя отправят в Берёзов или на Чукотский полуостров. Хотелось бы умереть под широкой весенней берёзой, когда ещё клейкий пушок с листочков не съели тундровые вихри, и чтобы в тоненькую дудочку наигрывала отходную лазоревая птичка. Об этом моё моление к вечным звёздам! Обыкновенно при переброске ссыльные посылают телеграммы своим ближним, и те хлоппочут перед Верховным Прокурором об оставлении. Если Вы, дорогая Варвара Николаевна, получите от меня такую весть, то от моего великого несчастья прошу Вас — сходить тогда в Камеру Прокурора — объяснить ему, что я уже был в Нарыме, теперь в Томске, и что я и так скоро умру, так как непоправимо и тяжело болен. Но всё это немедленно ни на час после телеграммы, ибо на сборы времени не даётся. Заявление во ВЦИК я вышлю отдельно. Что делает Журавинный Гость? Как живёт? В Томске есть кое-кто из милых и тоскующих по искусству людей, но я боюсь знакомиться с ними из опасения, как бы наша близость не была превратно понята. Приходил ко мне юноша с лирическими великолепными стихами, но как стихи были сплошь лиричны, по музыке, чувству, краскам и слову изумительны, но я не сказал о них правды, а послал поэта в местную газету, чтобы он был ближе к жизни. Очень меня волнует судьба Васильева, не знаете ли Вы его адреса? Видели ли Вы что-либо из живописных работ у Толи? Не припомните ли, какими словами вспоминал меня? Он мне ничего не пишет, и адреса его я не знаю. Очень бы хотелось написать Осипу Эмильевичу, но его адреса я тоже не знаю. Что выдающегося в поэзии? Я ничего не вижу, а газет не читаю, ибо столичные нужно покупать где-то и каким-то особым умением, а в местной — всё местное. Тепло ли у вас в новой квартире? Каков Егорушко? Чай, уже ходит и говорит? Несмотря на бездомье и отсутствие уединения, сердце моё полно стихами. Правда, все они не записаны, а хранятся в арсенале памяти и тихо радуют меня — видно, кое-что осталось и для меня в жизни. Простираюсь сердцем на Нащокинский. Кланяюсь Вам земным поклоном. Посылку с носильными вещами получил. Все они не мои — все сгнили. Купили только в особый ларёк, где принимают утиль. Один пиджак оказался покрепче, — я его продал отдельно за 15 рублей. Было Вам беспокойства с этой посылкой! Как Вас благодарить, не знаю. 2-го февраля мой печальный юбилей: исполнилось два года моего изгнания...

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

Июль (после 5-го) 1936 г. Томск

<Очнулся> как от летаргического сна, <дорогая Вар>вара Николаевна. Четыре ме<сяца был прико>ван к постели: разбит пара<личом и совер>шенно беспо<мо>щен. Отнялась <левая рука> и нога, и левый глаз закрылся <несколько слов утрачено> сослать в Туруханский край <несколько слов утрачено> мои не выдержали, к тому же я непоправимо болен пороком сердца в тяжёлой форме. Всё это удостоверили врачи по распоряжению местного НКВД. Теперь я в своей комнатухе среди чужих людей, которым я нужен как собаке пятая нога. День и ночь лежу, сегодня первый раз сполз к столу и, обливаясь потом от слабости, пишу Вам: сходите к прокурору республики — просите его на основании моей неповторимой болезни освободить меня досрочно. Возьмите меня на своё иждивение — это ровно Вас ни к чему не обязывает и нужно лишь официально. Не бойтесь. Я не утружу Вас. Без человека же и бумажки о том, что кто-то меня больного берёт на иждивение, — не освобождают, а заключают в лагерь для инвалидов до смерти. А это равносильно тюрьме. Умоляю не откладывать хлопот — так как великое моё несчастье в лице новой ссылки может всегда и неожиданно повториться. Моя тяжкая болезнь сибирскому начальству не помеха. Несмотря на то, что существует определённая статья по болезни досрочно <освободить>. Болезнь же моя превышает пр<одолжи>тельность всякой статьи. П<рошу подать> заявление и Калинин. Ес<ли будет из> Москвы хотя бы слабое дунов<ение милости>, то меня не казнят. Облива<юсь потом,> очень слаб. Кругом ждут <несколько слов утрачено> денег нет. На беду, появился аппетит. Кланяюсь милостому Журавлю. Тоскую невыразимо, под несметными изьяными мухами — лежу в духоте, давно без бани, вымыть некому, накормить тоже. Левая рука висит плетью. На ногу маленько ступаю. Она распухла, как корчага. Помогите, чем можете! Жду весточки. Кланяюсь со слезами. Заранее сердцем благодарен. Адрес: переулоч Красного Пожарного, 12.

Долго был без памяти, да и сейчас много не помню.

Простите. Не осудите.

Н. Клюев.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

После 5 июля 1936 г. Томск

Дорогая Надежда Фёдоровна!

Радостной теплотой заливают мне сердце сознание, что я снова могу писать Вам — говорить с Вами! С марта месяца я прикован к постели. Привезли меня обратно к воротам домишка, в котором я жил до сего, только 5 июля. Привезли и вынес-

ли на руках из телеги в мою конуру. Я лежу... лежу, мысленно умираю, снова открываю глаза — всегда полные слёз. Из угла смотрит мне в сердце «Страстная» Владычица. Архангел Михаил на пламенном коне низвергает в пучину Вавилоны, Никола Милостивый в белом омофоре с большими чёрными крестами, с необыкновенно яркими глазами, лилово-агатовыми, всегда спасающими. В своём великом несчастье я светел и улыбчив сердцем. Я посещён трудной болезнью — *параличом левой стороны тела*. Не владею ни ногой, ни рукой. Был закрыт и левый глаз. Теперь я калека. Ни позы, ни ложных слов нет во мне. Наконец настало время, когда можно не прибегать к ним перед людьми, и это большое облегчение. За косяком оконцем моей комнатухи серый сибирский ливень со свистящим ветром. Здесь уже осень, холодно, грязь по хомут. За дощатой заборкой ревут ребята, рыжая баба клянёт их, от страшной общей лохани под рукомойником несёт тошным смрадом, остро, но вместе нежно хотелось бы увидеть сверкающую чистотой комнату, напоённую музыкой «Китежа», с «Укрощенирем бури» на стене, но я знаю, что сейчас на берегу реки Томи кончается город, под ворохами осенних листьев и хвороста найдётся и для меня место. Вот только крест некому поставить, а ворота в берёзовую рощу всегда открыты... Прошу Вас — напишите о себе, о Москве! Мне передали, что один сибиряк был у Вас. Я его не видал. Он приедет по заморозкам и всё мне расскажет. Из Москвы редко получаю письма. Почти два года квартира моя была заперта. Моё доверенное лицо недосчитал многого, что бы можно было удобно и скоро продать. На то, что осталось, нет покупателей, следовательно, и милостыня мне прекращается. Мне в настоящем моём положении калеки и просить ради Христа позволительно. Прошу Вас поговорить с Николаем Семёновичем — об иконескладне, который он у меня смотрел. Тогда ему показалось дорого, теперь пусть он сам назначит цену и приобретёт этот редкий и прекрасный складень. Он ничего не потеряет через эту покупку. Очень прошу Вас об этом. Мне необходимо лечь в клинику, но нужно платить шесть руб. в сутки. На беду, у меня явился аппетит. Я немного стал бродить от койки до стола и до рукомойника. Очень тяжело на чужих людях хворать. Каждую минуту жди ворчанья и оскорбления. Таков мой крест. Господь меня не забывает, посещает и пасёт меня своим жезлом железным! Я писал Вам в начале марта. Письмо со вложением карточки Фёдора Кузьмича Томского — легендарного старца. Получили ли Вы его? Если сотворите мне убогому милостыню, заплачу Вам за неё слезами, преданностью и любовью! Не найдётся ли чего из белья, нет ли брюк, перчаток, старых штиблет? За всё земной поклон.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

10 августа 1936 г. Томск

Дорогая Варвара Николаевна.

Подучил Ваш перевод телеграфом и письмо, принял с глубоким сердечным волнением. Благодарю, что не забываете меня несчастного. Благодарю и за хождение и хлопоты Ваши! Я не каждый день могу вставать с кровати. Когда опухоль с ног немного спадёт, тогда я чувствую себя пободрее. Но письмо написано было давно, только некому его снести на почту и не было конвертов. Что мой дядюшка был с Вами суров, то это доказывает, что он всё-таки считал Вас более и <ли> менее за представителя общественного мнения, в частности, литературных и художественных кругов. Иначе ведь нельзя. Немножко удивляет, что моё писание понадобилось для его архива. Оно ведь не ему предназначалось. Пусть так. Теперь посылаю заявление — с горячей просьбой отослать его, как Вы советуете, прямо. Если мне послать здесь с таким громким адресом, то оно до Москвы не дойдёт. Потрудитесь послать его по городской почте. Не знаю только, заказным или простым. На заказном нужно писать адрес отправителя, и я затрудняюсь, можно ли в Москве — с томским адресом. Потрудитесь спросить на почте, если нельзя, то пошлите простым. Быть может, и будет что хорошее. Слезы заливают мне лицо. Думаю, что эту зиму я не переживу и не дождусь нового зелёного шума — в этот год я не видел весны, а лето вижу с жалкого двора, когда меня вытащат посидеть на вечерке у поленицы дров. Давно не бывал в бане, она от избы далеко и дорога оврагами — мне не дойти. Всё тело искусано клопами и расцарапано нестерпимым чёсом. С сентября откроется клиника — быть может, примут на лечение, если я смогу платить шесть рублей в сутки! Вы пишете, что послали мне в больницу 30 руб. Я получил 20 руб., а от кого, мне не сказали. Там этого не сообщают. Но за всё благодарю со слезами.

Как бы мне хотелось услышать что-нибудь от милого Журавиноного Гостя! Как он живёт и как его певучая душенька? Что волнующего в искусстве? Я написал поэму и несколько стихов, но у меня их уже нет: они в чужих жестоких руках. Быть может, нападёте на след Толечки — передайте ему от меня низкий поклон. На Ваше письмо, в котором Вы писали, что Толя был у Вас очень модный и пьяный успехами, я написал Вам свою обиду на него. Получили ли Вы такое письмо? Что слышно о П. Васильеве? Где он? Как бы я хотел иметь «Мадур-Вазу»: почитал бы с упоением! У меня были с трудом приобретённые кой-какие книги и старинные иконы — мимо которых я как художник не могу пройти равнодушно, но они с злополучного марта в чужих руках. Сибирь объясня-

ет знание древнего искусства — вульгарным церковничеством. Иное понимание этих вещей не входит здесь никому в сознание. Вот тебе и университетский город! Мне ставится в вину — конечно, борода и непосещение п<и>вного зала с уединёнными прогулками в сумерки за городом (я живу на окраине). Посещение прекрасной нагорной цекркви 18-го века с редкими образами для ссыльного чудовищное преступление! Не знаю, в теле или без тела, наяву или во сне, но мне в этой церкви — на фоне северной резьбы и живописи — несколько раз являлась моя покойная мать, — вся как лебединое пёрышко в синеватых радугах, утешала меня и утирала мои слёзы неизреченно ароматным и нежно-родимым платочком. Извините, что рассказывваю неделовое, но поверьте, что это не лирика, а самая живая — жизнь. Прошу Вас не оставить меня недостойного без милостыни, без весточки! Целую всех милосердных и про запас прощаюсь.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

Сентябрь — начало октября 1936 г.

Не скроется вовеки поистине град, вверху горы стоящий. Ты же, отче блаженне, градом великим добродетельми соделавшись, не замедлил прославлен быти! Се бо друг твой ближайший поведа нам чудесное видение, егда еси во сне в рай восхищен быв, зрел обители горни, и во единой от них на престоле некоего мужа светла сидяща, ангела ему сопутствуют вопросы: «Кто убо сей?» — «Се Филарет Амниатский!»

Из акафиста Филарету Милостивому

Ничего другого не приходит мне на ум и сердце, дорогая Надежда Фёдоровна, кроме этих строк, когда я получил от Вас милостыню. Говорю так потому, что не стыжусь нищеты своей, такое это блаженное чувство, но большее счастье ублажать милосердные руки, которые подают милостыню! Благодарю Вас! Извещаю Вас, что здоровье моё восстанавливается очень медленно. Нужно лечь в клинику и платить шесть рублей в сутки — следовательно, я должен обходиться своими домашними средствами. Одна добрая старица принесла мне бутылку пареных муравьёв натираться. Очень помогает. Другая таскает меня в баню и моет по субботам. Я уже хожу по избе и за всякой своей нуждой, но всё-таки больше лежу. Иногда приливает тоска к сердцу. Хочется поговорить с милыми друзьями, послушать подлинной музыки!.. За дощатой заборкой от моей каморки день и ночь идёт современная симфония — пьянка, драка, проклятия, рёв бабий и ребячий, и всё это покрывает доблестное радио. Я бедный всё терплю. Второго февраля стукнет три года моей непригодности

в члены нового общества! Горе мне, волю ненасытному! Всю жизнь я питался отборными травами культуры — философии, поэзии, живописи, музыки.... Всю жизнь пил отблеск, исходящий от чела избранных из избранных, и когда мои внутренние сокровища встали передо мной как некая алмазная гора, тогда-то я и не погодился. Но всему своё время, хотя это весьма обидно.

Я сейчас читаю удивительную книгу. Она написана на распаренной бересте китайскими чернилами. Называется книга «Перстень Иафета». Это не что другое, как Русь 12-го века, до монголов. Великая идея святой Руси — как отображение церкви небесной на земле. Ведь это то самое, что в чистейших своих снах провидел Гоголь, и в особенности он, единственный из мирских людей. Любопытно, что в 12-м веке сорок учили говорить и держали в клетках в теремах, как нынешних попугаев, что теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, т. е. из Исландии царём Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Колывань — теперешние вятские края, а сначала содержались при киевском дворе как экзотика. И ещё много прекрасного и неожиданного содержится в этом «Перстне». А сколько таких чудесных свитков погибло по скитам и потайным часовням в безбрежной сибирской тайге?! Пишу Вам в редкие минуты моей крепости телесной. Обыкновенно я очень слаб, шатаюсь, не держусь на ногах, кричу и охаю от боли в сердце и в голове.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

25 октября 1936 г. Томск

Дорогая Надежда Фёдоровна!

Будьте благосклонны к предварительным стихам греческого поэта Феогнида! Жил в половине шестого века до нашей эры. Мне попались из него отрывки и очень меня поразили:

*Слишком в беде не горюй и не радуйся слишком при счастье:
То и другое умей доблестно в сердце нести!*

*Сердце! Не в силах тебе я доставить, чего ты желаешь.
Нужно терпеть: красоты хочешь не ты лишь одно!*

*Не было, нет и не будет вовек человека такого,
Кто бы в Аид низошёл, всем на земле угодив!*

*Радуйся жизни, о дух мой! Появятся скоро другие
Люди, а я, умерев, чёрною стану землёй!*

*Бедность проклятая! Как тяжело ты ложишься на плечи!
Как развращаешь зараз тело и душу мою!
Я так люблю красоту и молитву, а ты против воли
Учишь насильно меня грех возлюбить и позор!*

Это классическое язычество, а вот тропарь Роману Сладкопевцу: «Се питаеши красными песнопениями помыслы наши и пополняеши сладости божественные — *паче всего богатства мира, пищи и пития тленных!* Цитра золотая, нищетою богатая!».

Я так нищ, что оглядываясь на себя, удивляешься чуду жизни — тому, что ты ещё жив. На меня, как из мешка, сыплются камни ежечасных скорбей от дальних лжебратий и ближних — с кем я живу под одной крышей. Но как ветром с какой-то ароматной Вифаиды пахнёт иногда в душу цитра золотая, нищетою богатая! Я всё более и более различаю эту цитру в голосах жизни. Всё чаще и чаще захватывает дух мой неизглаголанная музыка. Ах, не возвращаться бы назад в глухоту и немоту мира! Как блаженно и сладостно слушать невидимую цитру!

Вот ещё из русских гимнов. Из письма Иоанна Кронштадтского:

*Как тебе приятно, как весело
Сидеть под цветущей яблоней; —
Она проста — потому и счастлива.
Бог прост, и душа проста.
Какая радость знать это!*

Я не пишу никаких произвольных выводов от себя, но не могу не поделиться с Вами этим небесным бисером. А уж выводы сделайте сами.

Я получил от Вас перевод — в самый чёрный день нужды. Смотрю на Вашу руку с милостыней для меня недостойного глазами, полными слёз. 25 окт<ября> — получил и письмо. В Ваших словах я всегда нуждаюсь. Прошу Вас не оставлять меня восточкой — мне веселей от них на чужой стороне. От Н<адежды> Андр<еевны> ничего не получал, попросите её о милостыне. Быть может, я и потянусь ещё сколь-нибудь. 10 ноября нужно платить за месяц харчей хозяевам 75 руб. Если я их соберу — месяц вперёд буду жить без намёков и шпилек. О, как они тяжелы и как от них больно! Если сколько-нибудь возможно — помогите к этому числу! 30 руб. пошли за сентябрь. Я не могу ещё ходить в лавочку, чтобы как-либо промыслить себе питание. Всецело завишу от Анны Исаевны — властной и дикой мещанки. Очень тяжело. Только ночью, уже в часа 3—4, начинаю отходить от дневной брани и избяных криков и... для бедной души моей играет Роман Сладкопевец

на своей золотой цитре, и я засыпаю счастливым. 2-го февраля исполнится три года, как повешен мне жёрнов на шею. Сниму ли я его? Но прошу не забывать меня. Горячо целую Мишу. Ещё раз, как брата по вечным звёздам, прошу его простить меня. Прошу его написать мне отпуск вины моей. Мил он сердцу по-прежнему. Прошу Вас передать эти строки ему. Дай Бог, чтобы они открылись ему во всём их значении, полезном нам обоим. Прошу о белье, рубахах и кальсонах. Отсутствие их очень мучительно. Особенно после бани (она от меня через овраг). Стесняться худостью белья нечего — за всё земной поклон. Нужно и полотенце, наволочка и т. п. Как живёт Вячеслав? На Брюсовский напишу Н<иколаю> С<емёновичу> сам. Кланяюсь глубоким большим поклоном Анатолию> Ник<олаевичу>. Расписываюсь самой жаркой, самой заветной слезой. Прощайте! Видитесь ли с Надеждой Григорьевной?! Поговорите с ней о моём положении. Умоляю о памяти! Хотя годы и сильны изглаживать всё.

25 октября.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

25 октября 1936 г. Томск

Приветствую Вас, дорогая Варвара Николаевна! Я всё ещё лежу. Хожу очень плохо — едва до скамеечки у ворот, чтоб после общей избы, криков и брани — подышать сибирскими тучами, снегом ранним, каким-то лохматым и густосивым, посмотреть на звёзды и на санцах памяти прокатиться по прошлому. Вот уже скоро три года — мрачных, мучительных и тяжких (как жёрнов на шее), как я в изгнании, а теперь калека... Умываюсь слезами. Огорчений каждый день не предусмотреть. Я беспомощен что-либо промыслить и сделать для себя по пропитанию. Анна Исаевна — моя хозяйка по квартире, властная базарная баба, — взялась меня кормить за 75 р. в месяц. На исходе месяца начинаются справки, получил ли я перевод и т. п. Следом идут брань, придирки. Очень тяжело. Слёз моих не хватает, и я лежу, лежу... С опухшей, как бревно, ногой, с изжелта-синей полумёртвой рукой. Напишите мне весточку. Ваши слова мне очень помогают! Я послал Вам спешное письмо с новым заявлением. Волнуюсь, жду ответа. На это спешное от Вас извещения я не получал. Весьма беспокоюсь. Как Вы поживаете? Всё ли у Вас благополучно?! Какие новости в искусстве? Я ничего не знаю и не слышу. Вам говорили, что Томск — город университетский, для кого как, а для меня это пустыня, гноище Иова. Для кого озеро Лаче, а для Даниила Заточника оно было озером плача. Большая охота поговорить с поэтом-художником. Трудно, конечно, представить, как я придавлен и как болят мои язвы. Как бы поде-

ржаться ещё на поверхности? — какие существуют для этого средства? Переслано ли «непосредственно» моё заявление? Прошу Вас, уделите полчаса от своих забот и трудов — напишите мне! Всякое слово из Москвы для меня ценно, порождая целый хоровод видений и выводов. Очень прошу Вас о милостыне и о письме! Нельзя ли где раздобыть мне смену-две белья — хотя заплатанного, нет у меня тёплой шапки и ничего на руки. Если попадётся шапка, то самого большого размера — у меня голова большая, 15 вершков в окружности. Конечно, здесь можно и купить, но для этого нужно самое малое 25 рублей на ушанку овечью <одно слово нрзбр>, какая только и спасает от сибирских морозов и пурги. Не знаете ли адреса Толи — раз он очень модный, то, может быть, он мог бы что-либо купить из моего барахла себе на память обо мне и моей судьбе. Нельзя ли предложить чего Обуховой: Брюсовский пер., дом 7?

Низко вам всем кланяюсь. Погибну, — поминайте и верьте моей любви к вам и истинной теплоте сердеч<ной>. Ещё раз прошу о милостыне и о письме — как Вы поступили с моим спешным письмом?

25 октября.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

22 декабря 1936 г. Томск

...пластинка на кромке этой лавицы гласит об этом. Её предложили бы Вы своей маме, быть может, она бы её приобрела. Предложите складень Николаю <Семёновичу> Голованову — Брюсовский пер., № 7, по цене, какую сам назначит, ну хотя бы 700—600 руб. Он когда-то у меня покупал его, но списаться так трудно. Быть может, Ваше письмо дойдёт до него. То-то была бы для меня радость, и даже с тёплым углом, на 9-тимесячную зиму. Я содрогаюсь — куда я попаду! В жакты я не имею права, у частников нужно искать по слободкам и трущобам на окраине города, а там зловонные татары и страшный культурный люмпен. Если выкрадут у меня мои полупудовые, усеянные бесчисленными заплатами, — валенки, то я погибну! Когда-то денди, ещё без успехов и денег, был совестливей и так или иначе обул меня в эти бегемоты, — они мне кажутся тёплым раем. Слёз моих не хватает от жестокостей моего пути до кладбища. На моё заявление ничего не слышно. Получил обрывок письма Льва Пулина — очень обрадовался. Недоумеваю, что ищет меня, прекрасно зная мой адрес! Я писал два заявления его начальству по заточению, но ответа не получил. А он уже давно на воле. Спасибо, что не забыл! Это очень нежный и слабый человек. Как он сохранился — просто чудо!

Объявился ли Васильев или пишет из тюрьмы? Что Литгазеты назвали его бездарным — это ничего не доказывает. Поэт такой яркости, обладатель чудесных арсеналов с кладенцами, может оказаться бездарным совершенно по другим причинам (так сказал один мудрый китаец). Мне бы очень хотелось прочесть «бездарные» стихи Павла. Хотя он и много потрудился, чтобы я умолк навсегда. Передайте ему, что я написал четыре поэмы. В одной из них воспет и он, не как негодяй, Иуда и убийца, а как хризопраз самоцветный! Извините ещё за просьбу: если устроите мои вещи, то нельзя ли купить мне мануфактуры — чёрного на верхнюю рубаху 3 1/2 метра или белого, или в полоску на две нижних рубахи по 3 1/2 метра и кальсоны, — на мне одни лохмотья, а купить здесь нечего. Ещё мне нужны тёплые трикотажные кальсоны (большого размера), тёплые носки и хотя бы парочка носовых платков и наволочек. О простыне и не мечтаю. Ещё раз Вам кланяюсь земным поклоном. Напишите денди или скажите, что он слишком занят и опоздает на мои похороны.

Адрес прежний.

Кланяюсь друзьям. 22 декабря 36 г.

А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО

23 и 29 декабря 1936 г.

Незабвенное дитячко моё!

Я получил твоё письмо из Москвы. Ты знаешь мои чувства на все случаи твоих триумфов или утрат, поэтому воздерживаюсь их повторять. Слишком я болен и слаб, чтобы в тысячный раз уверять тебя в моей любви и преданности к тебе. Не требуй у жертвы, когда над ней уже поднят топор, сладких клятв и уверений. Твою укоризну, что я тебя забыл, сердце моё принимает только лишь как кокетство. Это вполне понятно в твои годы и в твоём нынешнем положении! В письме о дяде Пеше я написал тебе самые нужные, самые глубокие слова, на которые я способен. Если они дошли до твоего сердца, то слава Богу, если же нет, то других слов к тебе у меня сейчас нет. Избранное и подлинное вообще редки. Я болен, хожу едва до нужника и в избу. Сейчас меня гонят из комнаты. Деться мне некуда, город завален приезжими, углы в татарских зловонных слободках от 25 руб. и выше. Я нашёл было через людей комнатку за 50 руб., но внезапно получил и, к счастью, от дяди Пешки уведомление, что «на Толю надейся, как на весенний лёд». И я остался в старом углу. Напрасно ты назвал этот угол «хорошей комнатой». Она, правда, очень опрятная, я в грязи не вижу ничего доблестного и сам мою, но она без печи, с одинарным полом, под которым ночуют уличные собаки. И это в Сибири, в морозы от 40° до 60°.

Никаких обещанных 150 руб. я не получил, хотя очень ободрился, когда получил заверения, что я буду получать их ежемесячно. То-то была радость! Конечно, я уверен, что ты это понимаешь и чувствуешь, как никто! Как я чувствую, что салоны Парижа и Нью-Йорка увидят твои картины! При условии, что на первых порах ты не накопишь около себя толпу врагов и перестанешь разжигать в полулюдях зелёную зависть! Радостной теплотой полнится моё сердце от твоих слов: «Мир и красоту своего жилища я ценю выше всего». Я позволяю себе вместе с великим Вальтер Скоттом сказать: жилища, — в котором живёт и благоухает Книга Книг — Библия! Хотя найдётся много пингвинов, тюкающих, что полёт орла к солнцу есть «упадочничество» и что внешний линолеумный комфорт — есть могучая жизнь, дитя моё незабвенное, — поторопись милостыней! Пожалей меня! Ещё прошу тебя — пошли посылкой акварельных красок: киновари, белил, спокойно-синей и охры от тёмной бурой до самой светлейшей! Две колонковых кисточки, самых острых и маленьких, и одну обыкновенную побольше для наведения тонов! Мне очень нужно! Прости, дитяtko! Благословляю, крепко обнимаю! Усердно прошу о милостыне! Вышли мне «Кремль» для переделки. Это очень важно!

23 декабря.

Дорогое дитяtko. Письмо было уже написано, как хозяева заявили мне, что дом они продают и уезжают к дочери в г. Барнаул. Пришлось спешно выехать в комнату по цене 6 м<етров> зимних — 40 р. и 6 м<етров> летних — 30 р. Я весь переполнен заботой и страхом, где я добуду аккуратную выплату! Помоги! Устрой. Ведь столько удобных средств и возможностей в твоих руках. Уверенно говорю, что если бы ты был на моём месте, я бы отыскал тебе 40 р. в месяц!

Прости! 29 декабря.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

6 апреля 1937 г. Томск

X<ристос> В<оскресе>!

Из книги «Моя жизнь во Христе» о<тца> Иоанна Кронштадтского: «Благородного и возвышенного духа тот человек, который благостно и щедро рассыпает всем свои дары и радуется, что он имеет случай сделать добро и удовольствие всякому, не думая о вознаграждении за то.

Благородного и возвышенного духа тот человек, который никогда не зазнаётся с часто посещающим его и пользующимся его милостыней человеком, не охладевает к нему в мыслях своих, но всегда считает его таким, каким считал при первой встрече с ним. А то мы обыкновенно охлаждаем к тому, кто

часто пользуется нашей помощью, так сказать, насыщаемся им и становимся равнодушными к нему в ту ночь, когда всего для него нужнее милосердие, когда, связавши, поведут его во внутренний двор Пилата».

Из книги «Разум цветов» Метерлинка:

«Я смотрю на луг, горящий маком, резедой, колокольчиком... Что ждёт меня по ту сторону хрупкой иллюзии, которая зовётся существованием? В мгновение ока, когда остановится сердце, начинается ли вечный свет или бесконечный мрак? Хрупкие цветы учат нас чувствовать то, что мы вечны. Пчёлы знают ароматы рая, мы можем знать сладостный труд цветка, подающего пчеле от того, что он имеет!».

Дорогая Надежда Фёдоровна!

Поздравляю Вас с весенним солнцем! С Воскресением Матери сырой земли, давно не получал от вас весточки. Писали Вы мне, что собираете посылку, но я беспокоюсь, что её нет и нет! Как Вы поживаете, здоровы ли? Я последние три месяца не вставал с койки — всё болею и болею.

Время делает своё — всё реже и реже приходит милостыня и вести от моих далёких друзей, а ведь мне осталось ещё не так много — полтора года, если я их вынесу — продержусь, то я спасён, если Бог грехам потерпит. Поэтому прошу Вас — подайте мне милостыню, если это возможно! Если бы не помощь тех, кто ничего не имеет, таких же горемычных, как и я недостойный, то уже наверно бы я сокрушился и стал бы чёрной землёй... Но Обрадованная Мария делится со мной мало-мало радостью. Одно духовение края ризы Мариной — <i>я встаю и отряхиваюсь, как орёл после линяния и сброски старых отживших перьев. Какой радостью-светом полнится моё сердце! Помогите мне ради «Днесь весна ликует!»>. Волною морскою омоет и мою душу. Не оставьте без праздника, когда о тебе радуется благодатная всякая тварь! Передайте привет Мише с женой и мамой! Милому певцу и, хотелось бы, Николаю Алексеевичу. Как они живут, как Мишино искусство? Послал Вам недавно стихи. Получили ли? Я вынужден был перебраться на другую квартиру и попал в страшное бандитское гнездо. Вновь придётся искать убежища, а это очень трудно, особенно при моих ногах — я хожу ещё очень плохо и очень недалеко. Устаю невероятно. Кипяток с брусникой да хлебец чаще всего мой обед — отсюда и поправка крайне медленна. Мой знакомый говорил с Вами по телефону — благодарю Вас за добрые слова, он мне их передал. Простите! Буду ждать весточки. Мариинский пер<еулок>, дом 38, кв. 2.

6 апреля 37 г.

В. Н. ГОРБАЧЁВОЙ

Вторая декада апреля 1937 г. Томск

Приветствую Вас от всего сердца, дорогая Варвара Николаевна! Благодарю со слезами за помощь, за 100 и 60! Время делает своё, и я всё реже и реже получаю милостыню от своих милых и кровных. Осталось ещё полтора года. Вероятно, они будут самые тяжёлые без помощи, при моём нездоровье. Все три последних месяца я не слезал с постели — от тяжёлого гриппа, теперь хожу, но плохо, и глубокий непрерывный бронхит истерзал меня. На великую беду Толечка обещал платить за лучшую и тёплую комнату, я поверил, переехал, но теперь меня гонят за неуплату. Обещание осталось лишь словами. Неимоверная горечь на мои старые раны!

У вас там весна, а здесь мороз, — едва почернела дорога. Если возможно, не оставьте меня на праздники без милостыни! Прошу и молю Вас! Если зайдёт милый Толечка — поговорите с ним о ковре. Скажите ему, что не было бы для меня лучшей радости знать, что мой любимый и заветный ковёр украшает его комнату! Но он ведь при деньгах, знает моё исключительное горемычное положение, почему же он уклоняется от уплаты за него каких-то грошей?! Прошу Вас передать ему точно эти слова! На днях ухожу опять в конуру за 25 руб., полутёмную и сырую. И то слава Богу. Город не имеет жилплощади. Крепко обнимаю Журавиного Гостя, большим крестом благословляю крестника. Земно кланяюсь Вам! В предыдущем письме я просил Вас раздобыть мне что-либо из белья. На мне одни лохмотья! Восемь месяцев не был из-за болезни в бане. Самому не дойти, а помочь некому. Прощайте. Живите. Прошу о весточке! Адрес можно: Мариинский пер., 38. Только заказным письмом, простое не передадут.

Такие варнаки около меня.

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ

ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА

Сердце чистое сотвори во мне, Боже!

Пс<алтырь>. Л, 12.

Существует три категории людей:

- 1) Люди, имеющие только природное сердце ветхого человека;
- 2) Люди с сердцем обновлённым и 3) Люди с очищенным сердцем.

Природное сердце. Марк VII, 21—23: «Ибо извнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, ковар-

ство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Всё это зло извнутри исходит и оскверняет человека». Люди, у которых такое сердце, совершают грех добровольно, по влечению сердца и обычаю мира сего (Еф. II, 1 — 3). Совесть их не пробуждена. Они страшатся суда и смерти, но не боятся греха. В сердце у них нет борьбы. Если таково состояние моего сердца, то я человек необращённый и сердце моё плотяное. Одно для меня есть спасение — поверить Богу на слово: «Не бойся. Я искупил тебя» (Ис. XLIII, 1).

Обновлённое сердце. 1 Кор. III, 2—3: Таково состояние сердца человека обращённого. Тогда духовный опыт мой следующий: я не хочу грешить, но не могу избежать греха. Подобно учащемуся ходить ребёнку — я то встаю, то падаю. Иногда я беру верх над грехом, иногда меня грех побеждает. То я стою на высокой горе, то в глубокой долине. В сердце происходит непрерывная борьба. Я стараюсь не грешить, но это мне не удаётся.

Очищенное сердце. Очищено оно кровью Иисуса Христа, сделавшего его собственностью Своею. Вот тогда-то я уже не уклоняюсь от прямого пути, жизнь моя течёт, как река. Новые песни вложены в уста мои. Достигли ли Вы этого? Если нет — читайте дальше, дабы Вы не потеряли благословения, которое Господь через меня грешного хочет Вам даровать. Читайте без предубеждения, читайте не с желанием найти в словах моих ошибки или критиковать их. Сообразуйтесь только с Богом и с книгой Его, тогда только душа Ваша получит уготованное Вам Богом благословение от чтения этих строк.

Многие проверяют Писание своим опытом, вместо того чтобы проверять свой опыт Писанием. Многие объясняют Слово Божие согласно с своими мыслями, чтоб успокоить совесть. Не верьте ни своему, ни чужому опыту: верьте тому, что говорит Бог о благословении, Им даруемом. Видят ли это другие или нет, я лично могу получить это благословение. Если я не докажу всего, что я говорю, Словом Божиим, не принимайте слов моих как произвольных; но я уверен, что через это письмо Господь говорит Вам, и Он побудил меня его написать. «Бог верен, всякий человек лжив» (Рим. III, 4). В своём последнем письме ко мне Вы несколько раз советуете мне обратиться и очиститься. Но при обращении душа не получает очищения — она только с момента обращения становится собственностью Христовой, но ещё не получает очищения, о котором говорит Иоанн, XV, 2: «Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает». Итак — очищению подвергается ветвь, уже находящаяся на лозе. Во мне есть уверенность, что я на лозе, что душа моя искуплена и что только при этом условии

я буду очищен, дабы сделаться сосудом, «благопотребным Владыке» (2 Тим. II, 21). Потому что сосуд нечистый не может быть наполнен таким драгоценным даром, как Дух святой. Только очищенный делается сосудом «для почётного употребления». Очищение необходимо для того, чтобы можно было духовно возрасть и приносить больше плода. Ветвь находится на лозе; она приносит плод; но Бог её очищает, чтобы она более принесла плода (Иоанн. XV, 2). Я нуждаюсь в очищении, потому что иначе люди увидят несоответствие между моею жизнью и моими верованиями — и соблазнятся этим, как сказано в Иак. III, 11: «Течёт ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?». Пока сердце Ваше не очищено, Вы не можете ощущать присутствия Бога в душе своей, хотя бы и веровали в Него. Потому что храм должен быть очищен прежде, нежели он наполнится славою Бога — Самим Господом Иисусом Христом и силою Духа Святого. Это совершает Сам Бог, делая Вас своим сосудом. Пока человек не осуществит этого очищения от всякой неправды, он не может ощутить Господа Иисуса в себе. «Духа истины... мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его» — «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим» (Иоанн. XIV, 17; 23).

* * *

Возьмите Библию и отмечайте места, которые я Вам буду указывать. Вы много потеряете, если сами не будете перечитывать каждого из приводимых стихов. Начнём с Ветхого Завета. Книга Числ VIII, 6: «Возьмите левитов из среды сынов Израилевых и очистите их». Из Нового завета прочтите: 2 Кор. VI, 17: «Выйдите из среды их и отделитесь», 2 Кор. VII, 1: «Очистим себя от всякой скверны <плоти> и духа».

Итак, Бог требует как отделения, так и очищения. Все сосуды Иерусалимского храма очищались, — некоторые огнём, некоторые водою (2 Пар. XXIX, 16—19). От чего душа освобождается через очищение?

«От всякой скверны плоти и духа» (2 Кор. VII, 1).

«Беззаконие твое удалено... грех твой очищен» (Ис. VI, 7).

«От всех скверн ваших и идолов ваших» (Иез. XXXVI, 25).

«В щелочи очищу с тебя примесь, и отделию от тебя всё свинцовое» (Ис. I, 25).

Из этих изречений я вижу, где я могу очиститься. И я послушен этим изречениям. Грех возник по непослушанию; избавление от него совершается через послушание.

«Очистите старую закваску» (1 Кор. V, 7).

«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. V, 24).

«Я сораспялся Христу» (Гал. II, 19).

Наше Я, таким образом, уже не существует.

«Очищает... от всякого греха» (1 Иоан. 1,7).

«Очисти от всякой неправды» (1 Иоан. 1,9).

Богом было дано повеление истребить всех хананеев, не щадя никого. Аврааму было приказано выгнать Измаила (Быт. XXI, 10). Бог обещает избавление от врагов, от всякого страха и т. д. (Лук. I, 74). Итак, как видите, Слово Божие обещает нам полное освобождение от греха. Вы, быть может, спросите: «Что же станется с плотью? Могут ли плотские страсти наши <быть> вырваны из сердца?». Да, могут. Потому что Сам берётся их оттуда изъять. Плоть наша пригвождена была ко кресту вместе с Христом; прочтите Рим. VI, 6; Гал. II, 19; V, 24.

Оставьте её там, куда Бог удалил её. Верую человек открывает Христу сердце своё, и Он изгоняет оттуда грех. При неверии — в сердце царит сатана.

* * *

«Славлю тебя, Отче, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам».

Есть люди, изучающие Божье Слово с помощью науки и логики, вместо того чтобы принять в сердце истину. Они подвергают критике Слово: так саддукеи препирались и спорили о рождении мессии, и прозевали его. Не будьте подобны сидящим за уставленным яствами столом и обсуждающим свойства предлагаемого им угощения вместо того, чтобы протянуть руку и есть!

Многие обладают известным запасом знания. Они с презрением относятся к слишком простому учению и считают очищение от всякого греха нелепостью. Многие не очищаются от своих грехов потому, что слушают людей, которые сами не получили очищения. Так, напр<имер>, человек, который сам не избавился от своей вспыльчивости, не может учить других, как от неё освободиться; человек не может быть лучше своего сердца и с убеждением говорить о том, чего сам не испытал. Бог не даёт более того, чего мы от Него ожидаем. По вере вашей — будет вам. Значит, сколько веры — столько же и дарования.

Дорогая (имярек)! Если Вы внимательно прочли все мною упомянутые стихи, если хотите оправдать меня в сердце своём, для Вашей же духовной пользы, и получить Христово благословение — сделайте то, что я скажу: обратитесь к Богу с такой молитвой:

«Господи, научи меня истине, согласно с словом Твоим! Если это письмо не согласно со словом, не допусти меня следовать указаниям этого письма. Если же указания эти согласны с волей Твоей, то дай мне сделаться доверчивой, ради имени Твоего!». Для того, чтобы получить от Бога очищение, необходимо выполнить некоторые условия: отделение, посвящение, вера. Отделение от всего, в чём ты видишь грех (2 Кор. VI, 14), отделение от всех идолов (2 Кор. VI, 16). Посвящение Богу всего существа своего (Рим. XII, 1-2). «Не моя воля, но Твоя да будет» (Лук. XXII, 42). Вера в то, что Вы получите очищение, к которому стремитесь. Без исполнения этих условий человек не получает очищения и ещё мёртв («Оставьте мёртвым хоронить своих мертвецов»).

1 Пет. II, 1—3: «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие... Возлюбите чистое словесное молоко... Ибо вы вкусили, что благ Господь».

Злословие. Сюда относятся: раздражительность, критика, осуждение, невоздержание в слове, интриги и клевета, преувеличение, ложь (Притчи Соломона. XX, 14; XV, 28; Матф. V, 34—37; Фил. И, 3; Прем. Соломона, XXVII, 4), гордость (1 Тим. III, 6; Ис. III, 16).

Кто совершает очищение? Сам Бог. Ни Вы, ни я — не можете сами себя очистить. Бог один может очистить. В Вашем письме я слышу отголоски Вашей личной тоски о чистоте, хотя они и прикрыты обличением. О дорогое чадо Божие, предоставь Самому Богу совершить это, потому что Он обещает его совершить (Иез. XXXVI, 26 — 27). Разве Вы не верите обетованию Его? Вы, быть может, скажете: «Это ветхозаветное обетование, и относится оно к евреям». Действительно, обетования Божии были даны евреям, так как Господь Иисус пришёл прежде всего к ним. Он сказал сирофиникиянке: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Марк VII, 27—28). Но если Вы признаёте Господа Иисуса своим Спасителем, Вы должны относить и к себе обетования Божии. Отказаться от этого обетования — значит отказаться от всего.

Как совершает Бог очищение? Духом Своим, словом Своим, кровью Своею. Отдайте себя в распоряжение Духа Святого: Он поставил Вас перед зеркалом Слова Божия и даст Вам увидеть и осознать свои грехи. Тогда кровь Христа очистит Вашу душу, и Вам станет ясно, что пишет Вам не «страшный человек», а брат по упованию, вместивший в себя многое, что утаено от многих ревнителей закона, избивающих Стефанов камнями! Вы увидите чистое сердце, оправданное верою. Деян. XV, 8—9: «Сердцеведец Бог дал им свидетельство... верою

очистив сердце их». Еф. IV, 22: «Вы научились отложить раз навсегда...»; Евр. XII, 1: «Свергнем с себя всякую злобу». И это подлинная реальность, и я, осуждённый, свергнул с себя всякую злобу.

Но как получить это благословение? Только верою. Если Вы верите этому как подлинности, Бог сделает это. Как получил я спасение? Только верою (Рим. V, 1). Вам это, быть может, покажется странным, но иным путём Вы очищения получить не можете. Все, кто получил чистое сердце, — получили его верою (Деян. XV, 9): «Верою очистив сердца их».

Поэтому, если Вы решили добиться получения этого дара, встаньте на колени и ухватитесь за обетование Божие (Иез. XXXVI, 25—27). Примите верою это очищение. Поблагодарите Бога за него раньше, нежели Вы встанете с колен. Ничего, что Вы этого очищения пока не почувствуете: Господь Иисус возблагодарил Бога за воскресение Лазаря раньше, чем Лазарь вышел из погребальной пещеры, — тогда он действительно из неё вышел! Если Вы, стоя на коленях, возблагодарите Бога за очищение, — значит, Вы его уже получили. До тех пор, пока сердце моё не было очищено, Христос был только пророком и Первосвященником для меня: *Царём* своим я его ещё не признал. Он ещё не воцарялся в моё сердце, хотя мне и казалось, что Он обитает в нём. Многие христиане невольно впадают в это заблуждение. И они живут целые годы в полной уверенности, что Христос в них, тогда как на самом деле Он не воцарялся в сердце их. Поэтому, если мы только думаем, что Христос в сердце нашем, это не заставит Его действительно войти в него, пока мы не поверим так, как Он этого желает. Теперь Вы, быть может, уразумеваете, совершил ли я — осуществил ли — очищение всякой скверны плоти и духа?

Итак — лишь после очищения начинает Христос жить в нашем сердце. Согласно обетованию в Отк. III, 20: «Войду к нему». Согласно Еф. III, 17: Христос вселяется в сердце чистое. Он «хранит его». Теперь мне сердце моё уже не принадлежит, — оно полная собственность Царя славы. Если враг «постучится в дверь», ответит на стук Он, а не я. Мне надлежит только стоять, не сводя духовного взора с обетования Божия, уповая на то, что Христос хранит меня. «Очи мои всегда к Господу» (Пс. XXIV, 15); это не значит, что всё время надо обращать глаза свои на небо, это означает только, что надо вполне спокойно положиться на обетование Божие. Когда мы покоимся на обетованиях Божиих, Он хранит сердце наше (Ис. XXVI, 3).

Можем ли мы чувствовать, что очищены? Нет, если мы будем вглядываться в самих себя. Только устремляя взгляд веры своей на Слово обетования Божия, а я их привожу немало,

мы увидим, что Господь очистил сердце наше. Смотря на самого себя — никогда мы этой уверенности не получим. Пока мы покоимся на обетованиях Божиих, мы чувствуем очищение. Лишь только заглянем в самих себя, сейчас начнём сомневаться и падать.

* * *

Очищение совершается многократно, всякий день нашей жизни. Я Вам объясню, как это происходит. Возникает вопрос: если Бог очистил тебя раз навсегда и от всего, — зачем необходимо ещё очищение?

Хотя Бог очистил меня от всего нечистого, но видеть нечистоту я могу только при свете, который во мне Бог объявляет через своё Слово, что я очищен, что сердце моё белее снега. Кровь Иисуса Христа помимо меня самого очищает меня. Моё дело только идти вперёд по пути Света, чтобы Слово Божие не стало для меня мёртвой формулой. Постоянное движение вперёд обуславливает постоянное очищение. Нужно всё время всматриваться в зеркало Слова Божия, и оно покажет Вам всё, что Вам следует знать о самой себе.

Почему люди осуждают очищенного и всегда зверем в самих себе жаждут крови праведника и причиняют ему страдания?

Во-первых, подавляющее большинство совершенно не испытывали близости Христа и сердечного очищения и не могут судить об этом. Другие же люди, получив первоначальное дуновение очищения, слишком занимаются после этого собою, слишком смотрят на искушения, их окружающие. О, они не пойдут к Закхею в гости, не сядут за стол с блудницами и мытарями. Они первые враги праведников. Они обращают лишь внимание на чувства свои, вместо того чтобы видеть только одно: охраняющую их силу Божию. Защищая и охраняя свои чувства, такие люди лишь настроение считают христианством. Христианство для них лишь затычка в душевные пробоины. Они никогда не узнают в страннике Господа и в юродствующем праведника. Вследствие этого <го> такие люди как бы слепнут духовно и с ними случается описанное во 2 Пет. 1,9: об очищении прежних грехов. Они теряют духовную прозорливость, потому что утратили то, о чём говорил апостол Пётр (первую любовь).

Дорогая Надежда Фёдоровна, драгоценное дитя Божие, Вы, осмыслив меня как личность, — чаще принимаете за меня подлинного лишь моё отражение в искушениях, которыми я, как никто, бываю окружён. Поясню это примером. В тихой поверхности реки ясно отражается растущее на берегу дерево. Бросим камень в воду: она заволнуется и исказится, и исчез-

нет в ней чистое отражение дерева. Но ведь это обман. Скоро успокоится вода. Ничего опасного не произошло. И не надо стара<ться> доставать из-под воды упавший на дно камень: этим только сильно замутишь воду. Умоляю Вас не заниматься этим. Прикосновение к нам раскалённых стрел сатаны не есть ещё бездна и грех (Еф. VI, 16). Хотя они будут обжигать душу нашу и лишать нас покоя, вызывая те или иные мысли и сомнения, но если мы будем только спокойно наблюдать это, — стрелы улетят обратно так же скоро, как прилетели. Наоборот, если мы углубимся в эти мысли, будем стараться понять, откуда они явились, — тогда горе нам. Только щитом веры отражаются все раскалённые стрелы врага. Вспомните моё спокойствие в молитве и при встрече с искушениями. Только слепой сердцем может моё спокойствие при встрече с грехом объяснить *моим участием* во грехе. Ведь Христос — мир наш (Еф. II, 14). Если какое-либо сомнение закрадётся в сердце Ваше, читая это письмо, не старайтесь понять его причины. Предайте сомнение Ваше Христу и пребудьте в мире. Тогда исчезнет и смущение Ваше. «Что скажет Он Вам, то и сделайте (Иоан. II, 5). Не старайтесь всё понять, но действуйте, ожидая всякий день избавления от греха. Так поступаю Я. «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали» (1 Иоан. II, 1). Не смотрите на свою или чужую немощь, но взирайте на могущество Божие.

Не смотрите на свою склонность ко греху, это дрожжи Адамовы, но всегда помните силу Христа, тогда Он и сохранит Вас. Так поступаю я — один из грешников, ради которых и пришёл Свет в мир.

Томск, 1934 г. 30 апреля.

Мир Клюева

(Послесловие)

Большой крест над обрывом — память о расстрелянных здесь в годы государственного террора. Имён на плите нет, но одно мы знаем твёрдо: Николай Клюев — жертва политики раскрестьянивания. «Какой же слиток таланта метнул Творец сюда!..» — так воскликнул Солженицын на родине Есенина. Здесь, у покаянного креста, слова эти вспоминаются как-то сами собой. И стучится в память: «Ах, заколот вещей лебедь На обед вороньей стае, И хвостом ослиным в небе Дьявол звёзды выметает!».

Тяжёлая судьба поэта не новость для России, но участь Клюева из самых тяжких. Мало того, что обвинён облыжно и казнён бессудно, — уничтожено, может быть, самое зрелое, написанное в трагические последние годы жизни. В письме из Томска он сообщил, что написал здесь несколько поэм и тетрадь стихотворений. Всё было отнято и кануло в тёмный лабиринт. Но поэт верил: «В девяноста девятое лето заскрипит заклятый замок, И взыграют рекой самоцветы Огнедышащих вещей строк». Так и случилось: второе открытие Клюева пришлось на конец XX века. Из залежей НКВД извлечена самая большая и лучшая его поэма — «Песнь о великой матери». Это одна из вершин русского стихотворного эпоса. Рано или поздно она будет признана последней из великих русских поэм.

Все ли понимают, кто зарыт здесь без гроба и без имени? В пору коллективизации голосом Клюева говорила глубинная Россия, сломленная, но не полностью сдавшаяся. Есть и такое мнение: именно Клюев завершает символизм. Но чувствуют ли масштаб его хотя бы учителя? Клюева «заморозили» в Серебряном веке, школьный курс вершиной его творчества называет «Избьяные песни». Но он писал после него ещё двадцать лет. Даже те, кто любит его, не видят завершения пути поэта. А литературное краеведение тем более не даст приблизиться к теме «Клюев и Россия».

В предреволюционные годы поэт узнал взлёт славы, а в советские — крайнее поношение и унижение. Взгляд из XXI века: Клюев — между Блоком и Есениным. Он сформировал особое течение — крестьянский символизм, соединил низовую культуру с утончённой символистской. Мир Клюева полон парадоксов: консерватор вдруг обольстился революцией. Но его революция — полное преобразование человека, «когда колдунью-Страсть с владыкою-Блудом Мы в воз потерь и бед одрами запряжём, чтоб время-ломовик об них сломало кнут». И «нашла коса на камень»: столкнулись две утопии — коренная крестьянская и западная, марксистская. Ведь уничтожен был Клюев как идеолог национализма и монархического возрождения России. Вот чего большевики, как огня, боялись.

А что, собственно, скрывается под клише «кулацкая литература»? «Литературная энциклопедия» начала 30-х годов (ещё до ареста поэта) припечатала: «Клюев является одним из виднейших представителей кулацкого стиля в русской литературе», а суть этого стиля — «византийски-церковное искажение лица революции». Но вот прошёл XX век, и стало видно: Клюев не искажил, а глубже многих понял суть национальной катастрофы: «Мы тонули в крови по пузо, в огонь бросали детей...». Поэт нашёл стилевую опору в народных причитаниях. «Деревня» оказалась последней из поэм, опубликованных при жизни автора. В ней появился образ подменной матери: *«Расся-тёща, насолила ты зятю во щи, намаслила кровушкой кашу»*. Исход XX века резко заострил вопрос: что есть русская революция — самоликвидация или временное заблуждение народа? Вот об этом «Песнь о великой матери».

Литературным завещанием поэта надо считать законченное стихотворение «Есть две страны...» и незавершённую «Песнь о великой матери». Создавались они явно без надежды на прижизненную публикацию. Через головы поколений поэт обратился в них к потомкам. В письме из Томска ссыльнопоселенец Клюев жалуется: «Пронзает моё сердце судьба моей поэмы “Песнь о Великой Матери”. Создавал я её шесть лет. Сбирал по зёрнышку русские тайны... Нестерпимо жалко». Можно гадать с разной степенью «научности», что изъято и уничтожено, но, скорее всего, в Томске поэт восстанавливал и дорабатывал главную свою «песнь». Р. Иванов-Разумник, идеолог «скифства», был, кажется, единственным, кто помнил

о поэме в эмиграции после войны: «Лучшую и крупнейшую свою вещь, поэму “Песнь о Великой Матери” в трёх частях, Клюев дописывал в ссылке». Это всего лишь предположение, но догадка более чем вероятная. Подтверждение — в воспоминаниях Веры Ильиной: «В то время он работал над поэмами “О матери” и “Беломорканал”».

«Песнь» задаёт вопрос о религиозном смысле российской катастрофы. На пути понимания стоит неодолимый барьер — нынешняя эпоха, далёкая и от фольклора, и от литературной классики. Есть в поэме и предвидение личной судьбы:

Он будет нищ и светел —
Во мраке вещей петел —
Трубить в дозорный рог,
Но бесы гнусной грудой
Славянской песни чудо
Повергнут у дорог.

Зачин её — в интонации «Калевалы». Автор восстанавливает национальный образ мира, отвергаемый, исковерканный. А ещё Клюев назвал себя «олонецким Лонгфелло» — указал на «Песнь о Гайавате», на опыт восстановления эпоса народа, подвергнутого геноциду. Здесь материнский образ — реакция на отлучение от рода-племени, несогласие с тем, что родное превращают в чуждое.

«О, Боже сладостный, ужель я в малый миг Родимой речи таинство постиг, Прозрел, что в языке поруганном моём Живёт Синайский глас и вышний трубный гром?...». Эти мессианские мотивы исторически содержательны, когда связаны с идеей преображения России. Клюев долгое время творил культ поэта — творца небывалого мира. Конец пути — преодоление творческого своеволия, которое было символом веры фигурантов Серебряного века.

Для нас важнейший вопрос: каков финал пути Клюева? Покаяние и очищение — таким видится конец пути поэта, возвращение блудного сына. До середины 20-х годов стихотворения его бестрагедийны. Благополучный финал истории казался несомненным. «Но сон угас, как зори мая...», пришло понимание тяжких итогов пролетарской революции в крестьянской стране. «Плач о Сергее Есенине» обозначил отход от революционной одержимости. Это покаяние:

Для того ли, золотой мой братец,
Мы забыли старые поверья, —
Что в плену у жаб и каракатиц
Сердце-лебедь растеряет перья?..

Эти «жабы и каракатицы» стали эмоциональным фоном стихотворения «Клеветникам искусства» и цикла «Разруха».

Герой ранней лирики Клюева — искатель «поддонной» Руси, поздней — изгой в отечестве, он ищет родное пепелище. Образ родины теперь — «неутешимая вдова», сидит она на гноище, «скобля осколком по коростам...». Изменился и образ поэта: он уже не гордится тем, что «как баржа пшеницей, нагружен народным словесным бисером», он осознал, что избран на мученичество:

А я, как ива при дороге, —
Телегами разбиты ноги
И кожа содрана на верши.
Листвой дырявой и померкшей
Напрасно бормочу прохожим:
— Я, златоустый и пригожий...

«Пегасу русскому в каменоломню...» — таков был приговор за «акафист о былом», когда все орали о грядущем. Однако тема высочайшего избранничества поэта не исчезает. Теперь преобладает мотив причастности к тяжкой судьбе родины: «*Поречный, хвойный, избяной, Я повстречался въявь с судьбой России — матери матёрой, И слёзы застлали взоры*». В поэме-завещании Клюева доминирует мотив покаяния осквернённой «Рассеи» и ожидание Руси китежской, очищенной. А в целом пафос позднего Клюева — вразумление одержимых: «*К нам вести чёрные пришли, Что больше нет родной земли...*» В 30-е годы поэт призвал народ к покаянию. «Очищение сердца» — это программа последних лет жизни Клюева.

Мотив избранничества отделяется от величального пафоса: это избранничество на страдание. Силы ада вышли из тьмы и попирают родину, но душа у земледельческой страны христианская, тайну её хранит Христос до дня разрешения всех бед и противоречий. Даже тёмная *Рассея* — «страна грачиных озимей». В последнем стихотворении (Томск, 1937 год) создан образ чаши-песни. Вначале это глиняный кув-

шин, далее сосуд райской радости, затем — окончательное осознание — сосуд, сохраняемый до дня всеобщего преобразования.

И первой песенкой моей,
Где, брачной чашею лилея,
Была: «Люблю тебя, Рассея,
Страна грачиных озимей!».

«Гробовщик» уверен в ненужности песни-озарения: *«Весна погибла»*. Революционные ожидания, восторженная одержимость — всё это позади, наступило резкое похолодание. *«Будь проклят, полуночный пёс! Куда ты в глиняном сосуде Несёшь зарю апрельских роз?!»* — вот последний голос «хулителя искусства». В смертном видении поэт вырвался из тёмной страны, в которой подлинное искусство немислимо. Отметим кстати: *«В розовом апреле Оборван твой предсмертный плач!»*. Значит, апрель позади, на дворе поздняя осень, зазимок. Предчувствие не обмануло поэта.

Путник уходит в инобытие под «хрип волчицной трубы» — вести о смерти. Этот образ тёмной судьбы расшифровывается через повторения: *«Октябрь — поджарая волчица»* («Погорельщина»), *«Дудя на волчьих свирелях, закружились бесы в метелях»* («Песнь о великой матери»). «Заря апрельских роз» получает высочайшее благословение, и этим завершается раздумье о предназначении народного поэта:

И ангел вторил: «Буди, буди!
Благословен родной овсень!
Его, как розаны в сосуде,
Блюдёт Христос на Оный День!».

Последнее стихотворение читается как вариация на тему «Памятника» (от Горация до Пушкина). Преобладает в нём не забота о земной славе, признании потомков, а мысль об оправдании поэта в вечности. Нет ни отчаяния, ни отвращения, есть отрешённое просветленье. И никаких признаков духовной смерти России.

Крестьянские поэты остро пережили ломку национальной культуры. Родное на глазах превращалось в чуждое: «Ворон, пёс ли — всяк тебя облает: “В октябре родилось чучело,

не в мае"...». В «Песни о великой матери» есть устрашающий гротеск: гоголевская Русь-тройка предстала как возок, влекомый бесами (*«Стада ночных нетопырей запряжены в кибитку нашу... Близки, знать, адские врата»*).

С таким вот ощущением момента, с такой историософией прибыл поэт в ссылку. Ранние его письма к Блоку изучены лучше, чем сибирские, хотя рскрывающаяся в них трагедия ни с чем не сравнима. Это часть общей русской трагедии. Наследие Клюева возвращает нам память и даёт иммунитет, просветление в трагедии. Предназначение поэта — *«В последний раз отведасть мёд От сладких насекомых Византии»* — принадлежит к высшему плану бытия.

Какое мироощущение, какую фазу истории своего народа — восходящую или нисходящую — отразил Клюев? Одним полушарием он в русском средневековье, другим — в модернизме. Совмещение этих комплексов и дало причудливый, барочный образ мира. С конца 20-х годов его лирический герой — это блудный сын на пути возврата. Задача историков — найти место поэта «на шкале этногенеза» (Лев Гумилёв).

Путь Клюева — зигзаг общего русского пути: от простоты к избыточной сложности и вновь к народной традиции. Зигзагов и уклонов можно насчитать немало, но всё покрывает трагический финал. Поэмы Клюева — несомненный вклад в историю литературы. Они разные, есть среди них и две маргинальные — «Повесть скорби» и «Кремль». Они резко отличаются от основных его поэм, хотя стилистически на высоком уровне. От ересей и отклонений поэт шёл к христианскому покаянию, а эти две поэмы в общую схему пути не вписываются.

В жизни Клюева отмечено несколько творческих подъёмов, а признаков спада нет. Нам надо понять драму самоопределения в тяжкую эпоху и прежде всего завершение пути поэта. Звание религиозного поэта прочно закрепилось за ним. Религиозно-философская лирика — его область-вотчина. Диапазон религиозных исканий Клюева чрезмерно широк, но в пространство богоборчества он всё-таки не заходит. «Загуменный Христос» — ложная святыня, но всё-таки не анти-Христос. Россия у него в сшибке Божеских сил с сатанинскими. Лидер крестьянских поэтов острее других выразил чувство тяжкого надлома, конца «народного златоцвета». Крестьянский символизм остро реагирует на эпохальные утопии и вы-

зовы, а потому притягателен поныне. Это и задаёт масштаб оценок.

Обречённый оставил отповедь творцам геноцида: *«Я из ста миллионов первый Гуртовщик златорогих слов. Похоронят меня не стервы, А лопаты глухих веков»*. Имя национального поэта может быть похоронено только вместе с его народом. Наследие Клюева возвращает нам память и тем даёт иммунитет. Он помогает нам видеть знаки катарсиса — просветление в трагедии. Выразитель национального образа мира, он и стал заложником русской идеи.

А. Казаркин

Содержание

Стихотворения 5

Поэмы

Четвёртый Рим 83
Мать-Суббота 88
Плач о Сергее Есенине 95
Деревня 102
Погорельщина 106
Песнь о великой матери 125
Кремль 215

Проза

Гагарья судьбина 241
Праотцы 252
Огненная грамота 254
Сновидения 257

Письма из ссылки 269

А. Казаркин. Мир Клюева (Послесловие) 339

«Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал или написаны в Томске; имеют художественную и общественную ценность; известны за границами области.

1. И. А. Куцевский. Николай Негорев, или Благополучный россиянин.

2. Н. И. Наумов. Избранное.

3. Г. Д. Гребенщиков. Избранное.

4. В. Я. Шишков. Избранное.

5. Г. М. Марков. Строговы.

6. М. Л. Халфина. Избранное.

7. В. В. Липатов. Избранное.

8. Вл. А. Колыхалов. Дикие побеги.

9. В. Д. Колупаев. Избранное.

10. К. М. Станюкович. Избранное. Константин Михайлович Станюкович (1843, Севастополь, — 1903, Неаполь) — русский писатель, известен произведениями на темы из жизни военно-морского флота. За три года жизни в Томске написано: роман и многочисленные рассказы. Здесь, в ссылке, за тысячи километров от морей и океанов, Станюкович создавал те произведения о русских моряках, которые в итоге и принесли ему мировую славу.

11. В. А. Обручев. Избранное. Владимир Афанасьевич Обручев (1863 г., Ржев — 1956 г., Москва) — русский геолог, палеонтолог, геоморфолог, географ, писатель-фантаст, академик АН СССР. После революции 1905 Обручев состоял в Конституционно-демократической партии, возглавляя её томский комитет. С 1901 по 1912 преподавал в Томском технологическом институте и был организатором его горного отделения.

12. Н. А. Клюев. Избранное. Николай Алексеевич Клюев (1884, деревня Коштуги, Олонецкая губерния, — 1937, Томск. Расстрелян) — русский поэт, лидер так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии XX века.

13. Ф. И. Тихменёв. Избранное. Фёдор Иванович Тихменёв (1890 г., с. Шерагул, Нижнеудинский уезд, Иркутская губ. — 1982 г., Томск) — один из организаторов в 1932 году литературного объединения в Томске.

14. Б. Н. Климычев. Избранное. Борис Николаевич Климычев (1930, Томск — 2013, Томск) — прозаик и поэт, журналист. Почётный гражданин г. Томска.

Литературно-художественное издание
Николай Алексеевич Клюев
Избранное

Редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*
Редактор-составитель тома *А. П. Казаркин*
Технический редактор *А. Р. Рубан*
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».
Подписано в печать 30.04.2015 г. Печать офсетная.
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.
Усл. печ. л 21,65. Уч.-изд. л. 11,95. Тираж 1 000 экз.



ТОУНБ имени А.С.Пушкина



13822000358628